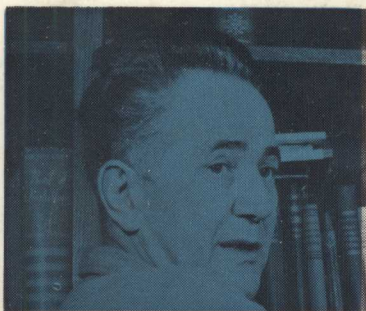


КОНТИНЕНТ 1

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT KONTINENT
CONTINENT KONTINENT КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT · KONTINENT

«Интеллигенция Восточной Европы говорит слитным голосом страдания и знания. Почет Континенту, если он сумеет этот голос внушительно выразить. Горе (и близкое) Западной Европе, если слух ее останется равнодушен. Пожелания нередко превосходят то, что сбывается потом на самом деле. Пусть в этом случае произойдет иначе.»

А. Солженицын



«Но думается, что этот человек, одинаково познавший и деятельную жизнь, и созерцание, далеко еще не произнес своего последнего слова. Из жестокости и скудости Балкан, из смуты гражданской войны вырос человек, распространяющий вокруг себя мудрость и доброту. За одно то, что он показал ему такой пример, мир должен быть благодарен Миловану Джиласу.»

К. Штрэм

«Церковь не испрашивает для себя защиты светских сил, ибо ее прибежище — под крылами Божьими». Запрестольный образ церкви в Папе изображает побиение камнями Святого Стефана. Я указал на этот образ и призвал венгров не побивать друг друга камнями, а подражать добродетелям этого Первоученика святой Церкви...»

Кардинал Миндсенти



Редакционная коллегия

Главный редактор — Владимир Максимов

Ответственный секретарь — Игорь Голомшток

При сотрудничестве:

Дж. Бейли · А. Галич · Е. Гедройц

Г. Герлинг-Грудзинский · М. Джилас

В. Зидлер · Э. Ионеско · Н. Коржавин

Р. Конквист · Л. Пахман · А. Сахаров

И. Силоне · А. Синявский

Странник (архиеп. Иоанн Сан-Францисский)

И. Чапский · З. Шаховская

А. Шмеман · К.-Г. Штрем



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

1

**Издательство «Континент»
1974**

ФОНД ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»

Основан фонд журнала «Континент». Средства этого фонда будут использоваться в соответствии с целями и практикой, провозглашенными в редакционной декларации в первом номере настоящего периодического издания, т. е. на продолжение его дальнейшего финансирования, пропаганды его идей, а также в целях оказания материальной помощи деятелям культуры России и стран Восточной Европы.

В Правление Фонда вошли:

М. Джилас · В. Зидлер · Э. Ионеско · Р. Конквист · В. Максимов · Л. Пахман · А. Сахаров
А. Синявский · Архиеп. Сан-Францисский Иоанн · И. Чапский

Взносы направлять по адресу:

A/C 91021281, Midland Bank, 154 Fleet Street,
LONDON EC-4, ENGLAND

Правление фонда журнала «Континент»

ОТ РЕДАКЦИИ

Рождение нового журнала — событие одновременно радостное и мучительное. Радостное, потому что открывает *новые* перспективы, вселяет *новые* надежды, создает *новую* общественно-историческую ситуацию. Мучительное же, в силу множества сомнений, возникающих в процессе своего идейного и творческого оформления, тревожных предчувствий предстоящей борьбы, той высокой ответственности, которую берут на себя основатели такого издания.

В подобных случаях, как правило, проводится обычно параллель с «Колоколом». К сожалению, в нынешних условиях она — эта параллель — едва ли правомерна. Журнал Герцена был чисто *политическим*, а не литературным изданием по той простой причине, что в «темные времена реакционного царизма» в России родилась и беспрепятственно развивалась одна из лучших литератур человечества. В ту «рабскую» пору никому, начиная от Пушкина и Гоголя, кончая Толстым и Достоевским, не приходилось искать себе издателя за рубежом. Все сколько-нибудь заметные отечественные писатели, мы подчеркиваем, все печатались у себя на родине.

Впервые в истории на земле возникла ситуация, когда во всех странах «победившего социализма» от Китая до Кубы, где наконец-то восторжеств-

вовали «свобода, равенство, братство», *художественная литература*, идущая вразрез с идеологическими установками правящего аппарата, преследуется, как уголовное преступление. Книга становится здесь уликой, доказательством вины, криминалом и причиной для наказания. За *книгу* ссылают, как Иосифа Бродского, за *книгу* годами гноят в лагерях, как Андрея Синявского, за *книгу* запирают в сумасшедший дом, как Михаила Нарицу. Ни один из существующих ныне диктаторских режимов на Западе не может похвастаться тем, что сумел на протяжении своей истории физически уничтожить, затравить до смерти, довести до сумасшествия и нищеты, отправить в изгнание стольких блистательнейших представителей своей литературы, включая сюда и двух Нобелевских лауреатов, сколько числится их в мартирологах стран с самым «революционным» и «прогрессивным» строем.

Именно поэтому мы видим задачу нашего журнала не только в политической полемике с тоталитаризмом, но прежде всего в том, чтобы противопоставить ему — этому воинствующему тоталитаризму — объединенную творческую силу художественной литературы и духовной мысли Восточной Европы, обогащенных горчайшим личным опытом и вытекающим из него видением новой исторической перспективы.

Каковы же цели и принципы нашего журнала, в чем его пафос и чем он руководствуется в своей повседневной практике?

Мы формулируем их для себя следующим образом:

1. БЕЗУСЛОВНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ ИДЕАЛИЗМ,

то есть, при главенствующей христианской тенденции, постоянный духовный союз с представителями других вероисповеданий.

2. БЕЗУСЛОВНЫЙ АНТИТОТАЛИТАРИЗМ,
то есть борьба против любой разновидности тоталитаризма: марксистского, национального, религиозного.

3. БЕЗУСЛОВНЫЙ ДЕМОКРАТИЗМ,
то есть принципиальная поддержка всех демократических институтов и тенденций в современном обществе.

4. БЕЗУСЛОВНАЯ БЕСПАРТИЙНОСТЬ,
то есть категорический отказ от выражения интересов какой-либо из существующих политических группировок.

Нам думается, что эти четыре, так сказать, символа веры могут стать достаточно широкой, но в то же время и принципиальной основой для объединения и сотрудничества всех антитоталитаристических сил Восточной Европы в их диалоге с Западом.

Возникает естественный вопрос: почему именно «Континент»? Прежде всего нас привлекла смысловая емкость этого названия. Мы говорим от имени целого континента культуры стран Восточной Европы. За нашей спиной раскинулся огромный континент, где господствует тоталитаризм с бескрайним архипелагом жестокости и насилия на всем своем протяжении. И, наконец, мы стремимся создать вокруг себя объединенный континент всех сил антитоталита-

ризма в духовной борьбе за свободу и достоинство Человека. К тому же мы, Восточная и Западная Европа, есть две половины одного континента, и нам надо услышать и понять друг друга, пока не поздно.

Имеющий уши да слышит!

СЛОВО К ЖУРНАЛУ



Александр С о л ж е н и ц ы н

Появление нового журнала «Континент» вызывает и новые надежды. С тех пор, как в СССР были в зародыше подавлены попытки выпускать самиздатские журналы, никак не подчиненные и не согласованные с официальной идеологией, и был разгромлен единственный честный и глубокий журнал «Новый мир», — русская интеллигенция в первый раз пытается объединить свои мысли и произведения, пренебрегая и волею официальных лиц и своей разделенностью государственными границами. Не лучшая форма и не лучшая территория для появления свободного русского журнала, куда б на сердце было светлей, если бы и все авторы и само издательство располагались на коренной русской территории. Но по нынешним условиям, очевидно, это невозможно.

Однако, проспект журнала открывает нам и новую сторону его задачи: *для начала* он будет выходить на русском и немецком языках, очевидно, можно ожидать прибавления и других европейских. Так наша стесненность и разбросанность обрачиваются новою надеждой: журнал хотел бы стать международным, объединить усилия писателей не только русских и внимание не только русских. Сегодня, когда все общественные опасности и задачи не умещаются в национальных границах, такое направление естественно и плодотворно.

Вчитываясь же в проект еще внимательнее, мы видим там весьма почтенные и широко извест-

ные имена из Восточной Европы, так что по составу почетных членов или редакционного совета можно ожидать перевеса голосов и мнений из Восточной Европы. Это открывает нам еще более интересную перспективу журнала: он, может быть, станет истинным голосом Восточной Европы, обращенным к тем ушам Западной, которые не заткнуты от правды и хотят воспринять ее. Еще 40 лет назад было бы невозможно представить, что русские, польские, венгерские, чешские, румынские, немецкие, литовские писатели имеют сходный жизненный опыт, сходные горькие выводы из него и почти единые желания о будущем. Сегодня это чудо, столь дорого нам обошедшееся, свершилось. Интеллигенция Восточной Европы говорит слитным голосом страдания и знания. Почет «Континенту», если он сумеет этот голос внушительно выразить. Горе (и близкое) Западной Европе, если слух ее останется равнодушен.

Пожелания нередко превосходят то, что сбывается потом на самом деле. Пусть в этом случае произойдет иначе.

Июнь 1974 года

Александр Солженицын

✱

Эжен Ионеско

Дорогой Максимов,
приветствую Вас. Для меня является большой честью быть в числе Ваших сотрудников, рядом с великим Солженицыным и другими.

Действительно, дело заключается в том, чтобы найти новые основы, на которых можно было бы

строить общество, более приемлемое, чем те, которые создавались до сих пор. Мы очень хорошо знаем, что общество выгоды осуждается и осуждено. Мы знаем, что общества, называемые «социалистическими», хуже обществ, называемых «либеральными»: во имя справедливости и свободы власть забрали тирания, коррупция, произвол, несправедливость, цензура, преступление.

Начинают об этом знать. Но интеллектуалы западных стран, или многие из них, не хотят это признавать.

Во Франции часть интеллектуалов — «левая». Другая часть — «правая» или «центристская». Это означает, что страна потенциально находится в состоянии гражданской войны. Мы зависим от какого-нибудь экономического кризиса — и все может опрокинуться. Между тем, «левые» буржуа настолько ненавидят «правых» буржуа, что они хотели бы покончить с этими последними. После этого все может случиться — им это все равно: диктатура, тюрьмы, репрессии, удушение всех свобод и даже — тем хуже — коллективное уничтожение.

В действительности ясно, что каждый человек ненавидит самого себя в другом. Конечно, в наше время человек не очень красив духовно, и для того, чтобы не ненавидеть самих себя, нам нужно сделать большое усилие преодоления и мужества.

То, чего нам недостает, так это новой доктрины, левой немарксистской (как этого хотели Эммануэль Мунье и Дени де Ружемон, как того еще хотят участники журнала «Эспри» вокруг Доменাকা). Эта религия могла бы быть основана на любви или дружбе — Эрос, а не Танатос.

Мне пришлось преодолеть самоцензуру, чтобы написать слово «любовь». Говорить о любви и дружбе во Франции, так же как о религии или гуманизме, значит вызвать насмешку, издевательства. И правда, эти слова настолько обесценены, что никто не знает, что они обозначают, что хотят ими сказать, или разоблачают «лицемера», который их произносит.

Если не говорят о «любви», то о «справедливости» говорят в наши дни. На самом же деле, то, что люди понимают под этим словом, это не справедливость, а взыскание, наказание, каторга, гильотина. Как только одна революция захватывает власть, как было во все времена от 1789 до Сталина, тут же вместе с ней идут трибуналы.

Что мы можем делать, если все провалилось? Себя мы не очень любим. Любить другого, как самого себя, это значит его ненавидеть. Возможно ли еще возрождение тогда, когда мы чувствуем себя так близко от апокалипсической катастрофы?

Такие, как Солженицын, Буковский, Амальрик, как Вы сами, как те сотни тысяч героев, мучеников, может быть, святых, которые погибают в большевистских тюрьмах, только вы и они могут еще что-то сделать для этого мира. Мы же — я хочу сказать, те из нас, которые открыты вашему обращению — которые жили в условиях свободы и удобства, пока вы умирали и воскресали поминутно, чтобы снова умереть, мы не имеем ни вашего опыта, ни вашего авторитета. И кто знает, окажись мы на вашем месте, не сдались бы мы страху, боли, соблазну жить удобно и безопасно в

вашей стране, которая так дорого платит людям, готовым послушно служить режиму?

Да, именно вам следует нас просвещать, только вы еще можете это делать.

29 июля 1974 года

Эжен Ионеско

✱

Андрей Сахаров

Создание нового литературно-общественного журнала кажется мне очень нужным и своевременным. Его задача сейчас дать как можно больше фактической информации о социалистических странах и обо всем мире.

От литературной и литературно-критической части «Континента» я жду освещения более глубоких сторон жизни, доступных интуитивному видению искусства. Я уверен, что журнал внесет свой вклад в важнейший общечеловеческий процесс формирования и воссоздания философских, моральных и этических ценностей, которых так недостает современному человечеству, озабоченному сегодняшним днем и разочарованному.

Я надеюсь, что все разделы нового печатного органа будут интересны, талантливы, разнообразны по жанру и содержанию и принесут читателю не только знание, но и непосредственную радость.

У «Континента» есть одна особенность, о которой мне хочется сказать несколько слов. В нем принимают участие люди, значительная часть жизни которых прошла в социалистических странах. Действительность этих стран — это историче-

ский феномен, очень плохо понимаемый на Западе. Его социальные, экономические и духовные черты нельзя постигнуть из окна туристского автобуса или из официальной социалистической прессы. Поэтому этим людям есть что сказать миру и эту возможность трудно переоценить.

Я надеюсь, что родившийся в трудных условиях новый журнал найдет своего читателя, поможет людям и будет любим ими.

К сожалению, я могу только мечтать, чтобы этот журнал был доступен не только на Западе, но и многим людям на Востоке. Но все же будем надеяться!

1 сентября 1974 года
Москва

Стихотворения

Иосиф Бродский

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
Блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
Как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
В землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! Поглотит алчная Лета
Эти слова и твои прахоря.
Все же прими — жалкая лепта
Родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
Громко свисти на манер снегиря.

1974

Лондон

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ

Потому что искусство поэзии требует слов,
я, один из глухих, облысевших, утрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой,
не желая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый
накал
в этих грустных краях, чей эпиграф «победа
зеркал»,
при содействии луж порождает эффект
изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя —
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто, туалеты невест — белизны
новогодней, секундные стрелки,
воробьиные кофты и грязь по числу щелочей,
пуританские нравы, белье; и в руках скрипачей
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и
казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь;
даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе, но их
немота вынуждает нас как бы к созданию своих
этикеток и касс. И пространство торчит
прейскурантом.

Время создано смертью; нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах,
кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платью задрать,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и
тут —
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека; то ли некая добрая фея

надо мной ворожит, — но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу —
да чешу котофея.

То ли пулю в висок, точно в место ошибки —
перстом.

То ли дернуть отсюда по морю новым Христом.
Да и как не смешать, с пьяных глаз, обалдев
от мороза,
паровоз с кораблем? Все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза.

Что же пишут в газете в разделе «из зала суда»?
Приговор приведен в исполнение. Взглянувши
сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной
оправе,
как лежит человек, вниз лицом, у кирпичной стены,
но не спит, ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличить выпадавших из люлек от выпавших
люлек.
Белоглазая чужд дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола
вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен — это зоркость к вещам
тупика.

Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевкам на стене, и не князя будить:
динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

1969
Ленинград

В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздывают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации — в быту
профессор красноречия — я жил
в колледже возле Главного из Пресных,
где занят был из недорослей местных
по вторникам вытягиваньем жил.

Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью

отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгорания,
сбегала на подушку по щеке
быстрее, чем я загадывал желанья.

1972

Анн Арбор, Мичиган

В л. К о р н и л о в

БЕЗ РУК, БЕЗ НОГ

Повесть

1

Нефедовы — лучшие люди в Москве. Я, когда приехал из Сибири, сразу их полюбил — тетку Александру Алексеевну, материнскую близняшку, и мужа ее, агронома, старика Нефедова. Он со Шмидтом когда-то работал, с Маяковским встречался. Маяковского, правда, не любит. Горлодрал, говорит, ни ладу, ни складу. Я сейчас малость пообтерся, привык и держу себя с дядькой Егором Никитичем запросто. А поначалу дышать рядом боялся. Было чувство, будто попал в старую Москву: конка звенит по бульвару или толпа идет за гробом Баумана. Казалось, скажи неосторожно слово, и дядька, как сон, рассыпется.

Даже вид у него был чудной — борода серая, клином; ею кончалось худое треугольное лицо. А глаза врезаны косо, от висков вверх к переносице, и когда дядька на меня глядел, казалось, что я ему давно надоел и потому он смотрит мимо.

Вот так он глянул на меня в первый раз в августе сорок третьего.

— Это Гапин сын, — сказала тетка Александра Алексеевна.

— Садись, Гапин сын, — вздохнул Егор Никитич, пододвинул мне рюмку и налил до половины. Мол, раз гость, так пей, а больше в тебе ничего интересного нет и, честно говоря, даже водки на тебя жалко.

С тех пор с ним выпивал, чтобы не соврать, раз двадцать, но все равно знаю, что ему со мной скучно. Спорить — почти не спорит, даже поддакивает, но это только так, поверху. А внутри у него что-то свое, может, вправду конка звенит или хоронят Баумана. И не то, чтоб он все хаял кругом — нет. Даже газеты читает, но как-то это все опять поверху. Словно говорит: у вас все свое, а у меня свое. Конечно, ему повезло, он еще до революции Тимирязевку кончил. После, как сына попа, не приняли б. И так перед войной чуть не арестовали, хорошо успел уехать на Кубань и там два года сидел в колхозе у знакомого председателя. А вообще старик шебутной, волосы у него хоть и сивые, а густые и выются, как у молодого. Наверно, к нему здорово шла студенческая тужурка. Женщин, наверно, с ума сводил. Ко всему еще, старовер. Правда, не настоящий. У староверов можно жениться два раза, а материнская сестра у него третья жена. Две первые умерли. Потому один его приятель дразнит дядьку «синяя борода».

А материнская сестра Александра — романтическая женщина. Радиоинженер в Главсевморпути. Их станция с антеннами за Москвой, в Теплом Стане, в полкилометре от Воронцовского имения, где наш семейный огород и где Егор Никитич — главный агроном. Через два дня на третий тетка Александра ездит в Теплый Стан служебной машиной (студер с будкой!). Поэтому свободного вре-

мени у нее хватает и она еще в свои тридцать шесть лет балуется стихами на каком-то заочном писательском факультете или даже институте. Про это распространяться не любит, и я до сих пор не могу понять, как это можно учиться на писателя.

— Пожалуй, пойду к Нефедовым, — подумал я, — а то время еле тянется.

И вправду, за окном на Главном почтамте стрелки почти не двигались. Глядеть на них сквозь дождь было еще скучнее, чем на формулы, которые царапал на доске химик. Голос у химика был шершавый, как мел, да и сам он был невидный. В общем, далеко не Константин Симонов. Фронта, наверно, вообще не нюхал, а всю войну за литер «Б» сидел в наркомате, а за «Умрешь днем позже»* на наших подготовительных курсах с зимы бубнит:

— Ацетилен, двууглекислая... — и лепит свои формулы — от центра какие-то линии (как по конституции — административное деление), а на концах CO_2 и прочая чепуха.

Вообще-то я на химии никогда не сижу, но сегодня остался: думал увидеть Ритку. И еще мне как-то надо было убить время. Вечером мать улетала в Берлин на демонтаж, и не хотелось торчать на сборах. Лишние пересуды, лишние ссоры, а то и слезы... Последнее время она совсем никуда стала... Нервы. Если из-за дождя отменят вылет, опять не миновать скандала. Интересно, поднимается ли «Дуглас» в такой противный дождичек? В

* УДП (усиленное дополнительное питание) — продовольственная карточка.

войну наверняка поднимался. Но уже больше двух месяцев, как не война...

— Ты чего размечтался? — толкнул меня Додик Фишман. Он слушал химика в одно ухо. Другого у него не выросло.

— Влюбленный, — обернулась Светка Полякова.

Я глянул в ее большое рябоватое лицо с выщипанными бровями и буркнул:

— Выдчипысь!

— Влюбленный, — пропела она. — Влюбленный антропос! Вчера Ритку караулил. Ну, как, накараулился? Эх, Валерочка, никакой у тебя гордости...

У меня по щекам разлилась марганцовка. Проворонил Марго. Она прискакала за стипендией, а я не уследил. И еще растрепаться успела... Хотя хуже, чем вышло, не развонишь. Олух я! Вчера, когда шел домой, свернул в Риткин Трубниковский переулок с надеждой: вдруг встречу... И встретил! Они шли вчетвером: парень, Ритка, какая-то девка и еще парень. Места свободного на тротуаре не оставалось. Шли, словно никого на свете кроме них нету. Все равно, как Атос, Портос и еще эти два друга после дуэли с гвардейцами кардинала. Я врос столбом, а Марго головы не повернула.словно, вправду — столб. И одет вроде был ничего — в темно-вишневой безрукавке, в голубой рубаше и гольфах, заправленных в сапоги. Правда, прохлята, хоть и хромовые, но не чищены. И сумка подгуляла. У меня была кожаная, довоенная, но отец в феврале забрал, и таскаю фрицевскую из эрзаца да вдобавок облезлую.

— Отстань, — сказал я Светке, — без тебя тошно.

— Молодому и красивому?

Это у нее такая манера издеваться.

— Молодому, красивому и небритому? — ...и она потянула ручищу к моей щетине.

— Отвернись, — сказал я.

Додик — мировой парень. А что до уха — так каждый может таким вылупиться. Его даже в армию не взяли. Прошлый год, говорит, четыре месяца держали в казарме, а потом все-таки отпустили. А Светка — девка всякая. Правда, жалко ее: двадцать лет, а вдова. Муж был майор, начальник дивизионной разведки. И еще мне перед ней стыдно — вспоминать неохота.

2

В конце-концов я сказал химику, что у меня улетает мать. Собрал сумку, послал общий привет, съехал по перилам, свернул с Кировской к родичам в Бобров переулок — и тут только сообразил, что идти туда как раз и не надо было. Это — из-за Климки и его матери.

Когда я в позапрошлом августе появился в Москве, Климки еще не было, и у Егора Никитича я был за главного племянника. Жил у него в Воронцовском, любил его, как дворняга. Словно кость, каждое слово ловил. Старику нравилось. Хотя любовью он как раз не обижен. Вся Москва его на руках носит, особенно с осени, когда поспевают картошка. Артисты, живописцы, всякая шантрапа от искусства, шатаются в гости с рюкзаками и уходят груженные. А весной Нефедовы сидят пустые.

Весной на рынке к картошке не приценишься. Анастасия Никитична, Климкина мать, сестра старика, скрип разводит. Но на чужих не больно разойдешься. Они «мешочек» на плечико и пишите письма... А я — вроде свой...

Анастасия меня сразу не взлюбила. Еще на Казанском вокзале, когда они с Климкой вернулись из Куйбышева. Там Климка, хромой и глухой, чинил в Совнаркомте телефоны, когда все, кроме Сталина, из Москвы выехали. Анастасия сунула мне на вокзале два не то баула, не то мешка — тяжелые, руки оторвешь!

— Тут керосинки, кастрюли, — говорит. — Пропадет — не так страшно...

И всю дорогу выспрашивала: часто ли езжу в Воронцовское, и много ли картошки уродилось, и сколько за раз уношу. С тех пор и повело... В молодости она, может, считалась красавицей, но жизнь тяжелая: муж пропал по Промпартии, сын убогий, своего угла нет — и от красоты ничего не осталось. А меня увидит — просто чернеет, как последний блин на сковородке, на который жиров не хватило:

— А мы уже обедали!

Или:

— А мы сегодня без обеда.

Александра Алексеевна сто раз ее обрывала. Но для Анастасии она — молодежь... А дядька смеется:

— Не слушай. Сестра шутит.

Ничего себе шутки. Климка всю сковородку зачищает, а я с тарелки осторожно ем. У него или брюхо без дна, или просто не слышит, что надо жевать аккуратней. Но еда — что... А вот месяца

полтора назад заварилась такая каша, что Бобров переулочек для меня заминировали.

У тетки был Шекспир — томов пять, академическое издание. Я перелистывал, перелистывал — скука. Стихи без рифм. Правда, где прозой — пошлостей. И то не очень. Но все равно — Шекспир! Я спросил тетку, говорит:

— Бери!

Но не решил, какой том брать: все сразу — не утащишь. А через неделю Шекспир испарился. Тетка Александра спрашивает:

— Ты сколько томов брал?

— Ни одного.

Тут и Анастасия пристала. Тогда я развинутил — и пустил лишнего пару:

— Да, может, это ваш Климентус увязал веревочкой и на Сретенке толкнул букинисту...

Ну, взвилась Анастасия!

Словом, зарекся я сюда ходить, хотя всех Нефедовых люблю. Да, по-моему, они поняли, что это — Климка. Просто сердились, что я прямо бухнул. Южная у меня манера. На севере народ воспитанней.

Зарекся — ...а вот сейчас свернул из переулка во второй двор и петлей по нему в тупичок, где их квартира — две комнаты и кухня, сырые, как овощехранилище.

Дверь была чуть прикрыта и в темном тамбурке я с налету толкнул тетку Александру. Она повернулась, и лицо у нее было какое-то чужое, пришибленное.

— А, Валерий... — бормотнула, как от слепня отмахиваясь. — Пришел? У нас тут такое... Мы с кладбища. Анастасию Никитичну наш грузовик задавил.

Чего говорить? Я прямо очумел. С кладбища!.. А ведь верно, есть Рогожское кладбище. Старообрядческое. Вот, значит, где Анастасию закопали. Ничего себе — история с географией! Я тоже как-то закапывал... Давно. Еще в эвакуации. Там, в Сибири, кладбище было неуютное, без забора, без крестов. Поле, а не кладбище. Ветер был с морозикой, а снега никакого. У меня руки болели от лома, а я все ковырялся в яме. Два нанятых старика водку выдули и, не докопав, ушли греться в сторожку. Мой однорукий дядька Федор, брат отца, стоял у края могилы и все норовил схватить лопату, а Берта, его жена, — моя главная тетка, у которой я с детства жил, выдирала эту лопату и тут же плакала над незаколотченным гробом:

— Папа, папа!.. И ты будешь тут лежать, папочка?.. Папа...

Она не могла поплакать, как следует. Было очень холодно. И потом она все время жалела меня. Наклонялась над ямой и спрашивала:

— Сынуля, а может, уже хватит?

И тут же выдирала лопату у Федора. У того накануне был приступ язвы. Федор стоял понурый. Наверно, стыдился, что он, бывшее начальство, сейчас такой никчемный.

Брат Берты, Иосиф, сидел рядом на корточках, с головой завернувшись в шубу своего отца. Он только месяц как выбрался из ленинградской блокады. Больше никого не было.

— Папа, — повторяла Берта. — И ты будешь тут лежать? Какое ужасное кладбище. Ты будешь лежать на таком морозе? Папа... папочка... — Она уже рыдала громче, словно ей удалось сосредото-

читься. — Папа!.. Отдельно от всех?!. Отдельно от всех наших?!

И снова глядела в яму и не то уговаривала меня, не то спрашивала:

— Валерик, а, может быть, уже глубоко? Ты не отморозишься? Маленький мой, любимый сынуля! Тебе одному все достается.

— Федор, брось лопату, — кричала дядьке. — Не хватало еще Валерочке тебя закапывать!

А Иосиф сидел, не подымая головы. Он еле сюда доплелся. Тощий, несчастный, никому не нужный виолончелист-раззява. Берта мне по секрету рассказала, что он даже салазок не смог раздобыть, чтобы схоронить жену. Оставил ее в пустой комнате, а сам перебрался через площадку к скрипачу, такому же рохле. Там их двоих отыскал завхоз оркестра.

...Потом, когда старики, согревшись, опускали гроб на веревках, я отшвырнул лом, прижался к Берте и разревелся. Я рыдал, а внутри меня крутилось, как на патефонной пластинке:

Без церковного пенья, без ладана,

Без всего, чем могила крепка...

Так хорошо, чисто пелось — и я, может, больше плакал от песни, чем по деду. Но дед тоже был хороший. Меня любил почти как Сережку, который ему внук. А я ведь не внук, а так, сбоку... Дед был добрый, не злой на советскую власть, которая отобрала у него мыловарню. Только долгое время цеплялся, что в магазинах того нет, другого. И все шпынял Федора:

— Куда исчезло сливочное масло?

И когда герой гражданской войны и коллективизации, большевик Федор успокаивал деда:

— Ну, что вы, маленький, Наум Аронович? Ну, нет — так будет... — дед ударял кулаком по столу — суп плескался в тарелках! — и радостно кричал:

— Не будет! Ничего не будет, Федя. Все ваше масло растаяло под сталинским солнцем.

— Ну, сколько можно, — сердился Федор. Но до ссоры никогда не доходило. У отцовского брата была выдержка старого чекиста.

Без попов. Только солнышко знойное
Вместо ярого воску свечи
На лицо непробудно спокойное
Торопливо роняло лучи.

Пелось и плакалось. Хотя какое солнце?.. Почти темно было. И какие попы — еврею? А раввина в этом новом городе не было сроду.

Дед был ничего. Веснущатый, с животиком, как ребенок. Когда он, коротышка, после фабрики — там в конторе на счетах щелкал — вытягивался на большой, с обеденный стол, кровати, я, как телок, ластился к нему, гладил по лысине и спрашивал:

— Дедушка, а вы не глотали глобуса?

Он кипятился, но всего на минуту. Чудной, бестолковый старик. И захоронили бестолково. Его жену (я ее не застал) зарыли, как полагается — в родном городе, на кладбище с каменным забором, где лежат все родичи. Снизу — те, что сами умерли, а поверх — те, которых немцы положили из автоматов. А его закопали одного — в поле без всякого укрытия.

Я все еще стоял в дверях и оторопело глядел на тетку.

— Проходи, — сказала Александра Алексеевна. — У нас владыка.

Я подумал, что это название поминок.

В комнате за накрытым столом сидели два живых попа. Один сморщенный, седой, в бордовой рясе. Ветхий, как старушенция-библиотекарша. Второй был помоложе. В синем платье, чернявый, цыганистый, с виду даже малость жуликоватый. Остальные были свои: Климка, дядька Егор Никитич, друг дядьки усатый холостяк Леон Яковлевич (тот, что окрестил дядьку «синей бородой») и Козлов, мой любимый враг Козлов, который, я думал, все еще загорает в психолечебнице.

— Иди, — поманил меня Козлов, мотнув шей в свободном воротнике гимнастерки. Он один мне обрадовался. Другие не обратили внимания: слушали попа.

— ...Вызвал нас князь Львов Георгий Евгеньевич, — рассказывал бордовый старикашка.

Я даже вздрогнул — до того он обыкновенно говорил. Мне казалось, что если поп, так непременно должен басом и по-старославянски. А тут были ряса, крест на груди, а разговор самый нормальный.

— ...Прибываем в Таврический дворец, а там уже все священнослужители собрались. Ну, прямо все, какие есть вероисповедания.

— Как в Ноевом ковчеге? — спросил Леон.

— Истинно, — кивнул старикашка. — А вы шутник. Что ж, это не плохо. Веселый человек — это хорошо.

Козлов тоже хотел чего-то брякнуть, но сдержался. Только лицо покраснело и волосы от этого стали совсем белые. У него седина страшная, сплошная. Лучше бы лысым был. Он, конечно, псих, но не абсолютный. У него мании нет — просто недержание речи. Такое несет!.. Другим слова сказать не даст. Оратор! Но сейчас, возможно, попов стеснялся.

Я протиснулся в комнату и сел рядом с ним. Климка протянул мне рюмку. Он тут заведывал у бутылок. Бордовому старику и дядьке подливал кагор, остальным — белую, по четвертому талону. Вид у Климки был гордый. Пришли два попа и он пьет с ними в равную. Кто знает, может, успел на кладбище выплакаться. Теперь сидел между попами, половины, небось, не слышал, а улыбался.

Старый поп заливал по князя Львова, а цыганистый слушал, как политинформацию. Наверно, уже знал наизусть. Дядька сидел какой-то вялый, с лицом серым, как борода. Только губы синели. Тосковал по сестре или опять ночью у него был приступ? Уже полгода мучался сердцем.

— Подходит князь Львов к католическим священнослужителям — архиепископу Цепляку Яну и прелату Буткевичу — и говорит им: «Хорошая у вас религия, но горды вы сверх меры и догматов своих держитесь. Служба у вас чересчур пышная. И к делам земным вы равнодушны. Вот что у вас неладно». Подходит к лютеранинам Виллегероде и Темину, и этим все, что положено, говорит Георгий Евгеньевич. И дошла очередь до коллег наших православных... Эх, запомятовал имена!..

— Патриарха Тихона? — не выдержал Козлов.

— Нет, Белавина не было, — снизошел до Козлова бордовый старикашка. — Был Таврический архиепископ Димитрий, потом этот — с Камчатки — Нестор и еще — не то Уткин, не то Юдин. И им тоже говорит умница-князь: «Спорить не буду. Очень хороша ваша вера. Всем хороша. Но сами вы зазнались. Нет в вас высокого подвига, зато много интереса к делам мирским и казенным. А вот поглядите на них... — и показывает на владыку нашего Камарницкого, на вашего родителя, Егор Никитич, и на меня. — Вот у них впрямь ладно. И добры, и от сердца у них все. О душах людских мыслят, по чинам не тоскуют...» Вот как оно было, молодой человек, — обиженно сказал старичок Леону, которому почти перевалило за шестьдесят.

Я под столом сжал Козлову руку. Была холодная, дрожала, словно чего-то отбивал на невидимом пианино.

— Старик насиделся в Соловках, — шепнул Козлов.

— Да, хорошая религия, — вздохнул Леон. — Главное, курить запрещает. Вот Егор Никитич, молодец, только водочкой балуется. А я, грешник, по утрам не прокашляюсь.

— Все шутите, — сказал молодой поп.

— Веселый человек, — промурлыкал старый. — Люблю веселых. У них сердце доброе. Веселье — от чистой души, насмешка — та от крученой.

— Все мы крученые, — сказал Леон.

— Да, — рыкнул чернявый поп. — Только одни сами крутились, а других скручивали. Пойдемте, владыка.

— Сейчас, — сказал старый. — Помянем только напоследок рабу Анастасию. Достойная женщина была. Достойная прихожанка. Я ее больше по Питеру помню. Отроковицей. Когда захаживал еще к вашему, Егор Никитич, родителю, Царствие ему небесное, чай пить. А в Москве что ж... только последний год... — Он развел под столом маленькими ладошками в бордовых рукавах. Видимо, намекал на то, о чем шепнул Козлов. — Да, в Москве... Трамваи полные и далеко ей, а все равно редко-редко службу пропускала. Придет, скромно бочком пройдет, в сторонке станет. Жалко ее. А ведь не жаловалась. Судьба досталась какая... а несла светло. Сына вела. Вон какой вымахал! — он потрепал Климку по плечу и поднялся. Был невысокий, на полметра ниже цыганистого. Мы все тоже встали. Климка пошел их провожать.

Я глянул в окно — попы шли по двору в плащах, словно стыдились ряс. У синего из-под брезентового балахона светились яловые надраенные сапоги, чуть заляпанные глиной.

Я налил водки и подсел к Егору Никитичу. Леон тоже поднял свою рюмку. Мы выпили. Я подцепил вилкой кусок сельди и спросил:

— А чего Временное правительство так расхваливало староверов? Или владыка путает?

— А бес его знает, — отмахнулся Егор Никитич.

— Может, и не врет, — сказал Леон. — Эта временная шантрапа с кем не заигрывала. И твоими, Жорж, аввакумами не погребуешь, когда казакки нужны.

— Ты циник, Леон, — вяло сказал дядька.

Козлов сидел на другом краю стола, тихий, но дрожал от нетерпения. Я это спиной чуял, но все-таки еще спросил:

— А давно выпустили владыку?

— Года два будет, — ответил дядька.

— Тоже потребовался, — съехидничал Леон.

Я поднялся. Козлов — тот аж вскочил. Чудак, такой был нетерпеливый, еще хуже меня. Все-таки смешно, старше на тридцать лет, знает все европейские языки, кроме венгерского, а лезет к такому неучу, как я. Конечно, гордость меня распира-ла, хотя понимал, что хвалиться в общем-то нечем. Надоел всем Павел Ильич Козлов, никто его всерьез не принимает.

— Так я поеду, — сказал он дядьке.

— Да, поезжайте. Поезжайте, голубчик. Покомандуйте там.

— Все будет — ол райт! Все будет, как в сытинском имении. Я им накручу хвосты.

Сытинское имение в семье Нефедовых — образец порядка. Первая служба Егора Никитича. Одно лето он даже там принимал Максима Горького, кормил его парниковыми огурцами. Но потом Горький и Сытин не ладили из-за гонорара.

— Накрутите, милый. И про патиссоны на-помните. Александра как раз завтра едет. Так что милости прошу к ее лимузину...

Старик улыбнулся, но тут же его лицо пере-косилось, словно он выматерился про себя. Как-никак этот «лимузин» задавил его родную сестру.

— Передайте, прибуду на той неделе, — до-бавил, отдышавшись.

— Ничего не передавайте, Павел Ильич, — рассердилась тетка.

После ухода попов она незаметно вошла в столовую.

— Лежи, Аника. На него не рассчитывайте, Павел Ильич, — сказала Козлову.

— Хорошо, — кивнул тот. Прямо-таки неприлично торопился.

— Ты что, тоже уходишь? — спросила меня тетка. — Погоди. Как Гапа?

— Зи флигт гойте нах Дойчлянд, — сказал я, выламываясь перед Козловым, который ждал в дверях. Эту фразу я весь день разучивал.

— Сегодня?! — вскрикнула тетка Александра. — Сегодня?! Как же это сегодня? У нас в девять семинар. Какая жалость. Ну, ничего, опоздаю. Подожди.

«Только этого не хватало!» — подумал я.

— Пойдемте, — сказал вслух. — Только она, может, еще и не улетит. Вчера была плохая погода. И сейчас тучи...

Погода вчера и вправду была никудышная, но я не добавил, что вчера мамашина команда улетать не собиралась.

— Нет, не могу... — шепнула вдруг. — Не могу сегодня его оставить.

«Пронесло», — подумал я.

— А ты, Валерий, езжай домой. — Она сказала нарочно всем голосом, чтобы Козлов слышал. — И не вздумай куда-нибудь забрести. А то с тебя станет. Гапа, наверно, перед отъездом сама не своя.

Я нагнал Козлова в переулке. Он, понятно, обиделся, но виду не показывал.

— Жаль старика, — сказал для начала. — Не выпутается. Мотор уже еле тянет. И еще эта подлость с автомобилем.

— Да, кивнул я. — Злая была старуха, на меня крысилась, а все равно жалко. Такое чувство, будто этот драндулет я у Бога выпыганил.

— Брось, — отмахнулся Козлов. — Бога нет.

Ему не терпелось поговорить о другом. Бог — не по его ведомству.

— Чего делал? Давно не виделись!..

— По вас скучал!.. Нет, кроме шуток — скучал!

— А чего ж не приезжал?

Я покраснел. Что ж, вопрос был в лоб. Как объяснишь, почему не ездил в Кащенко? Туда трамвай ходит.

— Ладно, — усмехнулся Павел Ильич. — Вопросы не имею. Только зря боялся. Я уже больше месяца оттуда. Здоровым признали.

Господи, меня передернуло, словно сунул пальцы в электрическую розетку. Козлов не обратил внимания.

— Сначала, знаешь, даже жалел, что признали. Там хорошо было.

— Работал?

— Думал.

Я глянул на него. Ростом он мне был до уха, но зато ладный, сбит удачно, плечи широкие. Такой аккуратный. В допотопной гимнастерке с ши-

роким ремнем. Социолог Козлов. Полиглот. Но языки, говорит, почти позабыл после контузии.

— Ты что — домой торопишься? — спросил.

— Да нет, наоборот. Время потянуть хочу: лишние проводы — лишние ссоры.

— Все не ладите?

— Да, как сказать... Она очень нервная.

— На меня не злится?

— Нет, не до того ей...

— Забыла? Думала, не выйду?

— Что вы! Она вас жалела...

— Жалела, — присвистнул Козлов. — Поблагодари ее. Только Агриппину Алексеевну с ее сестрицей тоже пожалеть можно. За то, что всего боится и ничего не смыслит.

Я поежился. Все-таки ругали мать.

— Ладно, не буду, — проявил Козлов неожиданную деликатность. Может, боялся что уйду.

— За психушку жалеть нечего. Я снова бы туда пошел, если б жениться не надумал.

— На ком?! — обрадовался я.

— Есть в квартире одна гражданка.

— Это такая завитая, длинная?

— Да нет. Ты не знаешь. Я теперь на Мархлевского переехал. Пойдем, тут близко.

Мы пошли переулком. Вот какие Козлов номера откалывал.

— Невеста молодая? — спросил я.

— Для кого как. Мне в дочери годится.

Все равно хорошо, что женится, — подумал. — Может, из него вся эта ахинея выйдет. А то он почти два года мне одно и то же поет. С того первого дня, как я попал к дядьке в Воронцовское имение. Козлов там при Егоре Никитиче кормится, вроде

младшего агронома. Образование у него, конечно, никакого не сельскохозяйственное, но просто он — то ли брат, то ли свояк того кубанского предколхоза, у которого старик прятался перед войной. В общем, когда в сорок втором был голод, Егор Никитич подобрал Козлова. Пользы от него, ясно, не много, но земля, как говорит дядька, всех накормит.

Помню, в первый раз возвращались мы по шоссе. На мне рюкзак был здоровенный, а я все оглядывался. Козлов такое плел, что прямо подгоняй «черный ворон».

И вдруг ляпнул, да так просто, будто спички возвращал:

— Жену свою — и ту не пожалел.

Меня всего потом прошибло и спине холодно стало.

— Врете, — выдохнул я. — Нету у него жены.

— Потому и нету, — ответил Козлов.

Ну, а про деревню чего он врал, передать невозможно. Но про это все язык распускали. Генка Вячин, мой кореш по девятому классу, тогда вернулся из-под Смоленска. Летом у отца на командных курсах служил пожарником. Рассказывал: — Как освободят село, у баб первый вопрос.

С Генкой спорить я не стал. Просто скоро пришли праздники и я подвел его к газетному стенду. Висела речь Сталина, та, где про пироги и пышки. И в ней было черным по белому: «Все наши победы достигнуты благодаря колхозному строю». Вячин, понятно, заткнулся.

А вот Козлова не переспоришь. Он кого хочешь за пояс заткнет, за свой командирский ре-

мень. Его пирогами не корми — дай только доказать какую-нибудь ересь.

Это «жену не пожалел» долго не выходило у меня из головы. Наконец, я под большим секретом спросил у тетки. Сказала:

— Неправда. Она сама отравилась. И вообще нечего тебе водиться с Козловым. Лучше интересуйся техникой.

Тогда я спросил ее, почему она сама, даром, что радиоинженер, не налегает на технику, а балуется стихами.

— Стихи — не политика! — ответила тетка.

— Тем хуже, — сказал я. — Про любовь и природу и без стихов все знают.

— Все равно твоему Козлову место в пандемониуме!* — обозлилась тетка Александра.

Вот какой был Павел Ильич. А сейчас мы шли с ним по переулку, дождь накрапывал, и я вправду радовался, что Козлов женится. Его еще до войны жена бросила. Может, поэтому он такой недовольный.

— Все-таки хорошо, что вернулись, — сказал вслух.

— Может быть, — кивнул он. — Но там тоже хорошо было. Знаешь, это только так считают — психушка! психиатричка! А на самом деле порядочному человеку там самое место.

— Так не могут же все туда сесть! — засмеялся я.

— А по мне, давно сидят.

— Так что — все сумасшедшие?

— А ты думал?

*. Сумасшедший дом.

— Вранье!

Господи, и мы это ляпали на улице! Вот как он меня злил, но я все равно к нему шел. Домой возвращаться было рано, да и, честно говоря, схватываться с Козловым нравилось. В свою дурь он меня не обращал, но мозги оттачивал.

Мы вошли во двор напротив кирхи, где шахматный клуб, и поднялись по черному ходу на четвертый этаж.

— У вас опять угол? — спросил я.

— Бери выше — комната! Старухе какой-то, спасибо ей, грешной, жить надоело и мне, герою войны, выделили.

Фатера была сразу за кухней. Даже чудно показалось: за дверью раковина, примуса, керосинки, помойные ведра, а тут выбеленная комнатенка, чистая, как палата в госпитале. Стол, топчан, полка книг. Аккуратно все, как в казарме.

— Здорово у вас! — сказал я.

— Ну, давай... защищай, — прямо-таки вспыхнул Козлов. — Защищай, защищай, а то моя мадам сюда заглянет, она этих разговоров не любит.

— Не привыкла?

— Женщинам это ни к чему! Ну, давай защищай державу, Валерий Иванович. Не бойся. Соседей нету, на дачах живут.

— А чего защищать, — сказал я. — Она сама себя защитила.

— Конечно! Шлиссельбургская крепость: изнутри не возьмешь и снаружи — тоже.

— Никакая не крепость...

— А что?

— Сами знаете. Не люблю я этих терминологий. Скажу — издеваться начнете.

— Не начну, не начну. Ну, так что, что, Валерий Иванович, товарищ Коромыслов?

— Победа! — вдруг выпалил я. Нашелся ведь. — По-бе-да! Гитлера разбили! И представьте — один на один.

— Да, орешек ты! — вздохнул Козлов. — Фруктик. Извини, я прилягу, голова трещит.

Он стянул с себя гимнастерку и хромачи. Руки у него дрожали. Я никак не мог понять, как он такой нервный — такой чистюля. Портянки у него были белые, прямо как салфетки в ресторане «Москва». (Я там прошлый год наворачивал коммерческие обеды — по 22 рубля штука.) Из-под синих галифе выглядывали кальсоны с завязочками, тоже белые, даже голубоватые от синьки. И нижняя рубаша была, как только что выданная. Сам, небось, стирал. Он и в прошлом и позапрошлом году был стираный. Жалость брала, когда глядел на его аккуратность.

— Значит — победа?! Значит — один на один?! Что ж — победа. Правильно. А вот один на один, так это ты по грязи топай под Волоколамск или даже ближе. Там 16 октября было один на один.

— До прошлого года было, — сказал я.

— А как было? — взвился Козлов. — «Ни шагу назад!», заградотряды, «Смерш»! Коминтерн закрыли — синод открыли.

— Параша, — сказал я.

— Параша, параша, — передразнил Козлов. — Одно у тебя на губах — параша! А ты ее видел? Поспи рядом, не то запоешь.

— Ну, и вы не спали, — сказал я.

— Типун тебе на язык, — скривился он. — Накаркаешь еще...

— Да сами нарывааетесь... Его все любят, а вы поливаете.

Козлов сел на топчане, ноги скрестил, как ту-рок.

— Поливаю? Тоже слово. А ты уши продуй. Я тебе дело говорю, а ты сигнатурки клеишь. Сам говоришь — терминология, и сам же бирки нашла-пываешь. Любит... А что есть любовь? Да кто он, чтобы его любить?

Я ответил.

— Кгм... А кто выбирал?

— А вождей не выбирают! — снова нашелся я.

— Тогда говори... — он добавил по-немецки.

— Нет, — разозлился я. — Его любят! А если поливаете, так это ваше дело. Можете нос задирать, сколько влезет. Только выше уж некуда.

— Значит, доносить не пойдешь?

— Я не падло.

— А если бы донес — посадили б?..

— А то нет!..

— Где ж тут любовь? — подловил он меня. — Выходит, Валерий Иваныч, любви — нет. Выходит, дорогой мой, либо люби, либо сиди. Но это уже не любовь, а чистое изнасилование.

— Не знаю, — уперся я. — Его любят.

— Любят?! — присвистнул он. — Ну, хорошо, откинем всех. Ты вот — любишь?

— Люблю.

— А вот и врешь?!

— Откуда вы знаете! Ничего вы про меня не знаете. Сказал — люблю! — а там, как хотите.

— Ладно, молчи. Слушай и докажу тебе, что ни черта не любишь. Отвечай, ты честный человек?

— Нечестный.

— Я серьезно.

— Да ну вас. Скажешь — честный, а выведете, что подлец.

— погоди, я тебе одну теорему докажу. Поймешь — умным станешь. Итак договорились: ты — честный человек. Второе — честный человек желает себя уважать. Так ведь?

— Ну, так...

— А ты себя уважаешь?

— Да что вы пристали, как пьяный? Вы ж не пили почти.

— Не отвлекайся...

Он опять стал дрожать, и я уже вправду побаивался. Черт их разберет, этих психов.

— Отвечай, уважаешь себя? Хочешь уважать?

— Хочу, но не уважаю.

— И то хорошо, — сказал он спокойней. — Человеку надо себя уважать, это, как второй закон Ньютона. Каждое тело стремится к покою или равномерному прямолинейному движению. Теперь смотри, что получается. Человек желает себя уважать, быть сильным, вольным, таким независимым, чтоб девушки любили, жена не пилила, друзья за полдлитровкой почет оказывали. Желает звучать гордо, как мечтали на Хитрованке! — тут он даже ощерился от удовольствия. Зубы у него были свои, только одна золотая коронка.

— А его, Валерий Иванович, человека, загоняют чёрт-те куда. То делай, велют, того не делай. А чуть упомянут имя — вскакивай и стой. Это уже — три. А все меню если перечислять, сам знаешь, к утру не кончим. Но почему ты, я, рязанский лаптежник, еврейский парикмахер, когда вылазим на

бруствер, кричим? Почему?.. За Родину — ладно. За Москву, Рязань, Бобруйск — пожалста. Понятно. За детей, за жену, отца, за родную мать — никто спорить не станет. Но за него — почему?

— Потому что любят...

— Вот! В самую точку попал. То есть в запятую, но попал. Не любят, Валерий Иванович, а поверили, что любят. Так тебе, мне, еврейчику, лаптежнику — удобней. Представь на минуту, что не любят. Представь на секунду вместо...

— Опять поливать начали...

— Хорошо, просто Иванова, Петрова, Савонаролу — кого хочешь. Просто кого-то другого. И этот другой...

Тут он начал врать на всю катушку. Даже вспоминать неохота.

Лоб пригнул, как баран, чуть меня не достал.

— Лаптежник, трудяга, брадобрей и все другие, Валерий Иваныч, должны ненавидеть этого типа. Потому что это враг, ирод, душегуб. Но все дело в том, что тут не кто-то, не враг, не душегуб, а отец, учитель и еще великий полководец. (Про полководца мы, правда, еще зимой договорились. Ты сам сказал, что полководца не получилось!..).

— Будет вам, — покраснел я.

— Хорошо. Вопрос о полководце снимаем. Просто любимый и прочее. Вдумайся, Валерка. Если нелюбимый — надо гнать его, как Бонапарта. Потому что мы честные, благородные, свободные люди и требуем к себе уважения. Но если л ю б и м ы й — то все в порядке. Мы — верноподданные добровольцы. Мы добровольно отдаем своя нашей любви. Тьфу!.. даже красиво получается. Но вся штука в том, дорогой мой товарищ Коромыслов,

что при этой любви совесть наша чиста и гордость спокойна. Любовь — все списывает. Рабство при любви — равенство, а неволя — свобода. Вот так, Валерий Иванович.

Он даже вспотел. Ловко у него получилось. Сам, видно, радовался. Для этого, наверно, и меня зазвал.

Раньше только ругань разводил, а теперь доказывать взялся. Видно, не зря загорал у Кащенко.

— Дайте подумать, — сказал я. — Может, вы где сжулили. Может, вы не с тем знаком извлекли. Есть такой фокус, когда про минус забывают и доказывают, что дважды два пять.

Но тут как раз распахнулась дверь и — мать моя! — у притолоки выросла Светка Полякова в каком-то дурацком шелковом халате до пят.

— Светик-приветик! — только и свистнул я.

Если начистоту, то я был перед ней виноват. Стыдился. И она задиралась. Однажды даже ляпнула при всех:

— Ты бы, Коромыслов, уши вымыл.

У меня, наверно, кисель по щекам поплыл. На перерыве потащил Додика Фишмана к окну. Он глянул в мои уловители.

— Чистые, — говорит. — Ну, не белоснежные, но вполне в норме.

— Смотри лучше, — настаивал. — Я же не всегда драю.

— Нет, — говорит, — чистые. Она тебя на пушку взяла.

Такая вот Светка. А все оттого, что я пентюх, девственник несчастный.

...В начале года нас всех заставляли ночью дежурить в директорском кабинете. Для чего — до сих пор не докопаюсь. Может, звонок какой мог быть из правительства или пожар. Короче, из нашей группы — попали я и один чужак лет двадцати с гаком. Здоровенный лоб, на военном заводе вкалывал. Мог бы отвертеться от дежурства, но к нам на пару из другой группы назначили девок. Сейчас, когда половина народу дала деру, четыре группы слили в две. А теперь, в январе, Светка Полякова и вторая девчонка, Людка (она тоже смылась!) учились не с нами, а в параллельной. Людка была ничего, худенькая такая, хоть и 20-го года рождения. Лицо девчачье-девчачье, никак ей ее лет не дашь. А Светка — корова. Тридцать отвалить можно.

Этот лоб долго не думал.

— Мне, — сказал, — та, черненькая. Ты уже баб пробовал?

Я чего-то хмыкнул. Роста я порядочного, а у отцовского зимнего пальто плечи — во! Этот фитиль поверил.

— Хорошо, — говорит. — А то для первого раза неплохо бы четверку раздавить.

— Так сойдет, — сказал я.

Мне тогда море по колено было: еще не влюбился в Марго. Этот чужак стал клеить Людку. Только не больно у него выходило. Может, она меня стеснялась, а может, он ей не показался. Даже жалко его, дылду, стало. Она его руку все время со своего плеча скидывала. Он только прилепит своего здоровенного «петуха» к ее воротнику, а она возьмет и отдерет. Возьмет и отдерет. Он уже нервничать стал:

— Скучно с вами, девчата. Может, потанцуем. Ты, малый, посвисти нам танго.

— Сам свисти, — сказал я.

Тут Светка вышла в секретарскую, вроде звонить по телефону. Наверно, надоело ей глядеть на них или злилась, что этот хамло пристаёт не к ней, а к Людке. Я вышел следом. Из мужской солидарности. Уж слишком он губами мне на дверь показывал.

В секретарской Светка стояла у стола, но не звонила, а только раскручивала телефонный провод. Жалко было ее, такую некрасивую. Я подошел к ней и так ни от чего погладил по голове. Она повернулась, удивилась, пальто у нее было расстегнуто и я, — уж сам не знаю как, — просунул под него руки, прилип к ней, прижался, а она шепчет:

— Глупый... глупый... — и сама гладит меня по загривку и вместе со мной к дивану тащится, словно мы с ней дремлем в танго или мешок перетаскиваем. Я уже ничего не помню, только слышу, как эти там, в кабинете, переругиваются.

Она:

— Отстань. Скучно.

Он:

— Да хватит тебе. Мы же не в детском садике.

А я Светке в грудь башкой толкаюсь. Она у нее мягкая-мягкая, даже странно. А руками трогаю чулки. Ноги у нее толстые, тоже рыхлые и чулки повыше, у самых застежек какие-то влажные. Мне даже неприятно стало. И она это поняла и меня оттолкнула. Так мы сидели на двух концах дивана, пока я не догадался хотя бы поцеловать ее. А она — ни в какую.

— Уйди, — говорит. — Я думала — ты взрослый. А тебе в дочки-матери играть.

Я промолчал. Может, она не поняла, а может, нарочно меня задирала. У меня ведь совсем не то получалось. Просто она мне тогда разонравилась.

И вот эта самая Светка стояла в дверях козловской клетушки. Невеста! А Козлов?! Козлов! Чудак мой любимый, идиот проклятый! Для него, думал, и моя Марго была бы нехороша, а он, оказывается, на Светке женится. Я опять вспомнил ее чулки. А ведь не брезгливый. Хлеб с пола ем, пусть даже подмок. Морковку прямо с грядки. Рюмку могу чужую допить, если водка. Если портвейн или кагор — не могу. Они липкие. А тут Козлов!.. Хотя, какая нормальная женщина за психа пойдет, даже если мужчин полная недостача.

А Козлов сидел на койке, нетерпеливый, как кот перед крынкой. Видно не только с политикой у него так. Даже не спросил, откуда Светку знаю.

...До войны у нас в пионерском лагере однажды на глазах у всех кошки возню затеяли. Один верзила из пятого отряда запустил в них камнем, а потом повернулся к парню и девчонке из того же отряда, красивым, как не придумаешь! — и гаркнул на всю столовку:

— И вас так буду!..

Смех поднялся, а влюбленные даже не обиделись. Их обидеть нельзя было — такие они были красивые, загорелые. Она с черными волосами, высокая и тонкая. В волейбол классно подавала. Я ради нее всегда за мячом бегал. А он был, как Одиссей.

Вот у таких, наверно, все было красиво. А в этой козловской комнатенке я уже минуты усидеть

не мог — так мне их было жалко. Сразу ушел. Мне показалось, что задержись я немного, они, чего доброго, при мне начнут.

6

Все еще накрапывало. Можно было сесть у Лубянского пассажа на пятый троллейбус — 60 копеек до Зоопарка и вся любовь. Но я поплелся пешком через центр до Арбатской площади. В «Художественном» шло «Это было в Донбассе». Билетов в кассе не было, но шныряли инвалиды и за червонец-полтора чего-нибудь бы достал. У меня сегодня было ровно 150 эрбэ, пять красных тридцаток. В другое время, не думая, разменял бы одну. Но сегодня стоило принести полную стипендию. Дело не в сумме — толкни один стограммовый талончик и оправдаешь билет. Дело в принципе. Мамаша должна знать, что я не транжира. Трачу только на самое необходимое и строго отчетно. Смех берет от этой отчетности. Уж цены как-никак знаю не хуже ее: рынок под боком. Хоть сейчас на год вперед распишу расходы со всеми сезонными колебаниями. Когда надо, можно попоститься, хотя наворачиваю — будь здоров! Говорят, семнадцать лет — ответственный возраст, растешь! Но во мне и так сто семьдесят восемь.

Короче, пошел я мимо кино вверх по Воровского. Два часа все-таки мать заслужила. Последнее время, после отъезда родителя, она сама не своя. Отец приезжал на семь дней в феврале. Говорил, был выбор: либо орден, либо отпуск, и он, мол, выбрал отпуск. По-моему, не совсем так. Я бы и то взял орден, а он еще тщеславней. Тогда, зи-

мой, мать в него прямо клещами вцепилась. Доставала какие-то липовые справки, и он просидел в Москве сверх семи положенных еще дней десять. Потом мутер гордилась, что каждый такой день стоил ей больше тыщи рублей. Для отца ей ничего не жалко, а так она не то, чтобы скупа, но, говорит, любит порядок. Хотя порядка у нее как раз не получается. Но ради отца она в лепешку расшибется. До сих пор поет, что если б родитель тогда согласился, перетасила бы его с фронта в Москву, в Главное Инженерное Управление РККА, но ему, видите ли, надо было проститься с полевой женой. По-моему, опять не то... Просто он хотел получить орден. Да и глупо уходить на гражданку с одной «ЗБЗ» и значком «Отличный железнодорожник».

Я шел по Воровского и радовался: остаюсь один! До аттестата — еще целых одиннадцать дней. Будет день — поедим. И одному дню хватает своей заботы, как приговаривает Егор Никитич. Лишь бы мать улетела!.. А то совсем никуда стала. Всю войну у нее не кончались неприятности. То один завод взрывался, то другой не так работал. А тут еще отец перестал писать. Он и раньше ее бросал, но все как-то не окончательно. Я жил с Федором и Бертой на Украине и не слишком разбирался в их неладах. Но теперь отец бросил ее на всю войну — и даже хотел бы вернуться — все равно бы не мог. Да и ту бабу из армии не выгонишь. Второй Украинский наступал на юге, и инженер-капитан (после — майор!) Коромыслов разминировал дороги, наводил мосты, стоял на них навьютяжку перед раздраженными генералами, а его жена, моя мать, Агриппина Алексеевна Антонова, раз в неделю

притаскивалась на прием к следователю (все еще тянулось дело из-за взрыва цеха с водородными установками), а остальные пять дней моталась из наркомата на заводы, с заводов в НИИ, в СНК, в ГКО, во всякие военные управления, а потом притаскивалась домой и грохалась на пол. Я даже обливал ее из чайника, чтобы очнулась. Совсем никуда стала моя мать.

Уже зажгли фонари и мне жутко захотелось позвонить Марго. В сумерках есть что-то такое — сразу не объяснишь. Вдруг становится одиноко, даже не одиноко, а пусто. Ты все тот же, но вокруг тебя пусто, вакуум что ли, и грудная клетка вздувается, как кожа под банками. Не удержишься — даже без гривенника полезешь в автоматную будку. А у меня абсолютное безволие. Вот и сейчас — знал, что надо провожать мамашу, а набрал этот проклятый К-О- и т. д. Ответили:

— А Рита только вышла.

Не везет мне. Только, будь Ритка дома, ничего бы не изменилось. Нужна сверхскука, тоска какая-нибудь невозможная или обыкновенный домашний скандал, чтобы Марго вылезла пройтись со мной по переулкам или посидеть на крыльце 103-й школы. Но дома Марго не притесняют. Наоборот! С месяц назад купили ей классные туфли, синие с белым, почти новые. Каблук, говорит, одиннадцать сантиметров. На таких туфлях да в распахнутом реглане она какая-то летящая, словно большая синяя птица. А я дурак, Метерлинка во МХАТе не смотрел, символистов не читал, а втрескался в Ритку по самые лопатки. Все легкие у меня забиты любовью, как хрипом при простуде. А Марго уста-

вится на меня своими сине-зелеными или голубыми глазами и дразнит:

— Ты что — больной?

Или:

— Ты что, мыло ел?

Эх, была бы у меня воля, послал бы подальше!.. Только воля, как красота или одежда. Когда нету — сразу видно. И я снова поплелся в Трубниковский переулок.

Марго шла навстречу на своих знаменитых каблуках в новом сером костюме. Красиво шла, вольно. Куда ей было спешить?! Сказала:

— Опять караулишь?

Ну, и черт с тобой, подумал я. Не любишь — не люби, а глядеть не запретишь. Здорово ее обхватывал этот костюм. Правда, я заметил, что он лицеванный — кармашек был с правой стороны. Но была она в нем свежая-свежая. Нет, не такая, как бывают после бани, а такая, как после ночной реки. Высокая, даже казалась худенькой, так ее стягивал костюм. Фигурой здорово смахивала на большую овчарку. Я ей чуть этого не ляпнул. Вот бы обозлилась! Немецкими овчарками называют девок, которые с немцами жили.

— Пойдем, погуляем, — сказала Ритка. — Чего такой хмурый?

— С поминок. С попами пил сейчас.

— Вечно у тебя какие-нибудь истории.

— Родственница под машину попала.

— Близкая?

— Нет, не слишком.

— Тогда расскажи чего-нибудь повеселей.

Марго долго слов не ищет. Но все равно хорошо было идти с ней рядом. На каблуках она со мной одного роста. Волосы у нее забраны узлом и чуть выше воротника незащищенный затылок с мелким пушком. Так и хотелось ткнуться туда мордой.

Мы вышли на улицу Герцена. Никто мне никогда так не нравился, как Ритка. Когда я на нее глядел, все слова куда-то пропадали. И сейчас тоже ничего не мог из себя выдавить, кроме:

— Рита, ты на меня не злишься?

— За что? — она повернула ко мне свою голову на удивительной шее и глянула своими большими, в эту минуту абсолютно невинными глазами. — За что?! Ах, за вчерашнее, — она махнула рукой, словно речь шла о трамвайной сдаче. — Ну, что ж... Мне приятно, что ты меня любишь, если только не вбил себе в голову. И люби на здоровье. Но не попадай в дурацкое положение. А то все кругом смеяться станут: «Марго любят дураки!».

— Брось... — смешался я.

— Нет, серьезно. Ты, Коромыслов, хороший парень. Но ребенок еще. Иногда ты глупей моего Валерки (это — ее восьмилетнего брата!). Какой-то ты чудной, чумной даже. Чего-то все выдумываешь. Словно где-то на двадцать седьмом небе живешь, в семьдесят втором государстве. За каких-то поляков волнуешься. А что они тебе? Поляки — и поляки. Стоит из-за них расстраиваться? А вот с матерью, сам говоришь, ругаешься. А она ведь не в Польше, а рядом. Какая — ни какая, а мать.

— Завтра за Польшей будет, — хмыкнул я.

— Вправду уезжает?! Будешь жить один? Пригласи в гости.

— Лучше не ври... Не притворяйся... — обрадовался я. — А то — приглашу — и начнешь откручиваться, врать.

Она вправду врет. Однажды рассказала, что в эвакуации, в Саратове, у нее утонула сестра. Я чуть реветь не начал. Вообразил себе, как самой поздней осенью Риткин отец мечется по волжскому берегу. Протез у него скрипит, прямо на ходу развинчивается. А мать стоит простоволосая на пристани. Мостки скользкие — вот-вот сверзится в Волгу. А сверху дождь, дождь. Ритка стоит рядом с матерью, держит ее за плечи, и маленький Валерка тоже к ним прижался. А на Волге две лодки навстречу друг другу машут веслами. Рыбаки, наверно, подрядились за водку или консервы. Так девчонку и не нашли. А потом оказалось — никакой сестры у Ритки не было.

— Ты мечтательница, — сказал я вслух.

— Это про Бориса Николаевича?

(Она влюблена в народного артиста Ливанова).

Я кивнул. Не хотелось напоминать ей саратовское вранье.

— Ничего это не мечта! — надулась Ритка. — Захочу, и он меня полюбит. Вот приду и скажу ему: «Делайте со мной, что хотите!» Что ты думаешь, он меня выгонит?

— Не знаю, — потупился я. — Вас у этих актеров навалом. Вон за Лемешевым сколько бегают!

— Ну, Лемешев — не то. Тенор. За ним психопатки бегают. А Борис Николаевич — настоящий артист. Нет, никогда бы он меня не выгнал.

— Да он тебе в отцы годится.

— Много ты понимаешь! А что — с такими сопляками, как ты, водиться? Коромыслов, Коро-

мыслов!.. — запела она вдруг. — А что — ты вправду от коромысла произошел? Даже неприлично получается. Есть такая загадка: что такое без рук, без ног? Отвечать надо: инвалид отечественной войны.

— Старо, — сказал я.

— А ты расскажи что-нибудь новенькое. И не злись, — она вздохнула, изображая взрослую, так лет на сорок. — Не пойду я ни к какому Ливанову. У него жена, дети. Не буду я им жизнь разбивать. Видишь, какая я благородная, Коромыслов.

— Угу.

— Я очень чуткая и душевная. Я никогда не ссорюсь с мамой, не кричу на отца, не ругаю Валерику. Я умная, чуткая, благородная и возвышенная.

— Наверно, в кино ревешь и цветы любишь?..

Она шла, пританцовывая, наклоняясь, то влево, то вправо, словно на ней были не туфли, а коньки.

— Реву, — сказала она. — Действительно ведь реву. А завтра выходит картина с Дурбин...

— Пойдем, — крикнул я. — Чур! — первый сказал!

— А что? Пойдем! Пойдем, пойдем, пойдем! Пойдем, Коромыслов, на самый первый сеанс. А? Коромыслов, Коромыслов. А кто, Коромыслов, мне что-то обещал?!

Мы как раз подходили к Никитским воротам.

— Кто еще месяц назад хвалился, что...

— Стоп! Вспомнил! — закричал я. — Давай прямо сейчас... — и я потащил ее к цветочному ларьку. Это я в первый раз в жизни схватил ее за руку.

— Брось, я пошутила.

— Да что ты! Я серьезно. Дайте на все, — брякнул продавщице, вытаскивая пять бумажек. Про мамашу и не вспомнил. До нее ли было?!

— Не берите у него, — сказала Ритка.

— Не слушайте, — крикнул я. — Сделайте на все.

— Он псих, — сказала Ритка. — Погодите, я куплю ему водички. — Тележка с газировкой стояла рядом.

— Тебе чистой? — спросила меня.

— Так, значит, на все? — повторила продавщица и стала вынимать цветы из банок и больших глиняных горшков.

— На, выпей, — протянула Ритка стакан. — Выпей, успокойся. Вон как волосы взъерошились, — и она погладила меня по голове. Ей бы вправду на сцене играть. У, притвора была!

— Спасибо, — сказал я. И тут она стукнула по доньшку стакана — чуть зубы мне не выбила. Вода потекла по вороту и безрукавке. Глаза у нее были злые.

— Извини, — сказала. — Тебе больно?

— Нет, — мотнул я головой.

— Извини. Очень красивый букет получается. Не сердись... Я тебя потом поцелую, — шепнула мне на ухо. Дыхание у нее было горячее и пахло яблоком.

— Вот, пожалуйста, ровно на сто пятьдесят, — протянула букет киоскерша. — Можете проверить. Три розы, десять гладиолусов, семь гиацинтов, флоксы, горошек, зелень.

— Не считайте, — сказал я.

Цветы были красивые и здорово пахли.

— Дай вам Бог здоровья, — кивнула тетка в окошке. — У вас очень симпатичный муж, — улыбнулась она Ритке.

— Еще бы, — сказала Марго. — Пойдем, муж, — и она впервые взяла меня под руку. В другой руке держала цветы.

— Ты очень милый, — сказала в переулке. — Жалко, что тебе домой надо. А то бы я поднялась только поставить их в воду, и потом бы мы долго-долго с тобой гуляли.

Но я не сразу ушел. Мы еще раза два прошлись по Трубниковскому до Арбата и назад к Риткиному дому. Он у нее самый красивый в переулке. Ритка говорит, здесь был кабинет Сталина, когда Иосиф Виссарионович возглавлял Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции. Дом серый, похож на посольство, но очень большой. Сейчас под ним винная база. Из подворотни вечно несет спиртным.

— Ну, до свидания, — сказала Марго. — Значит, завтра без десяти десять у «Центрального». Бери билеты — я не опоздаю.

— Звонить?

— Нет, нет. Всю квартиру перебудишь. Жди у «Центрального».

И она протянула мне руку, но тут, вспомнив, обняла меня и чмокнула в щеку. Я хотел ее сжать своими граблями, но она меня оттолкнула:

— Нет, нет. Только я. Я ведь обещала. До свидания, Коромыслов! Мой маленький, глупый Коромысленок! — и хлопнула дверью парадного.

Вот это да! Никогда мне так не везло. Сапог под собой не чуял! Такая девка поцеловала! А может, и не только за цветы. Может, она просто ко мне хорошо относится. И завтра придет к кинотеатру. Не проспать бы только. Да я, наверно, не засну. Вот день счастливый!

И вдруг я вспомнил, что теткин студер задавил Анастасию. Трех часов с поминок не прошло... — И мне стало не по себе. Я представил, как студер разворачивается на площади Революции и Анастасия с тяпкой первая лезет к нему (окучивать картошку торопится!), а он задним ходом... и смял. Она падает, а он ее колесом...

Обязательно задним. Никакой шофер на развороте передним не задавит. Что у него, глаз нету?.. Я с машинами всю войну дело имел, вечно их из канав и ям помогал вытаскивать. Так вот, когда студер дает задний ход, вполне можно под колесом очутиться. И она маленькая, чистенькая, сухонькая такая — попала туда. В общем, неплохая была тетка. Злоба у нее просто от дурацкой жизни появилась. Будь у меня муж чёрт-те где, а сын хромой и глухой, я бы всем горло перегрызал! А она ведь только ворчала. А ей скатом лицо пропечатали. Бедная Анастасия. Никто по ней особенно не плакал. Плакали, может, на кладбище, но и то, наверно, как по чему-то боковому. Как не по избе, а по пристройке.

Анастасии мне бы надолго хватило вспоминать и каяться. А тут еще Козлов со своей Светкой и своей дурью. Любовь, любовь... При любви неволя — равенство. Да что он смыслит в любви?!

У него не любовь, а голое хотение. И действительно, кто с ним, кроме Светки, станет?.. Он только все ругать умеет. А по своим данным мог бы стать генералом или там секретарем обкома. Но вбил себе в голову всякую ересь. И вот один остался. Одному плохо. Это кто-то заливал, что вся рота не в ногу ходит. А Козлов, дурень, поверил. Хотя он не дурень. Просто демагог. «Правда! Истина!!» А что толку с его истины, если, кроме Светки, никто его знать не хочет? Псих несчастный.

Прошлый раз, в январе, он тоже здорово меня прижал. О чем ни говорили, он все время меня под ноль высаживал. И на Варшаве — ее тогда взяли — и вообще на буржуях, и на начальстве — всякий раз раскладывал. Но особенно прижал насчет полководца.

— Значит, не были подготовлены к войне? — спросил.

А что было отвечать? Конечно, не были. Иначе не пришлось бы мне с Бертой и Федором в Сибирь драпать. Да, Гитлер поначалу облапошил. Но только поначалу. Правда, начало долго длилось. И все-таки врет Козлов. Он не видел, как 17 июля немцев через Москву гнали. Шли они, банки тушенки на шеях раскачивали. Сорок первый и сорок второй давно кончились, а в сорок четвертом немцы через Москву тащились. Я и сейчас закрою глаза и вижу их, как видишь футболистов, когда идешь с матча. Зажмуришься — а они бегут по зеленой траве. Вот так и немцев вижу. Сперва шли генералы. Девятнадцать штук насчитал. А солдаты многие улыбались. Смущенно, как футболисты после прогара. Я накануне этого дня — 17 июля — был на «Динамо». Вот так же шли «Крылышки»

с поля. Понурые, светловолосые. А стадион свистел!

А тут никто не свистел. На площади Маяковского все тихо стояли. Только один еврей-старикашка что-то кричал. Но как-то негромко. Тявкал, как комнатная собачонка. Уж лучше бы трехэтажным крыл. За такое дело — немцы шесть миллионов евреев извели — можно и матом. Но что толку ругать пленных. Я, когда глядел на них на Маяковской, никакой злобы не чувствовал. Хотя такие вот загорелые могли свободно отца убить.

Но кричать на пленных — последнее дело. Хотя эти фрицы взяли шесть с шестью нулями и кого — в печах, кого в рвах или на кладбищах... И всюду это им сходило. Кроме Польши. Там в Варшаве, в гетто, было восстание. Я про это не читал, но кое-кто из знакомых рассказывает и гордится. Там была организация и стояла насмерть. До последнего патрона. Так, говорят, и власовцы дрались в конце войны. Все равно деваться некуда.

А все потому, что не были подготовлены к войне. Тут Козлов прав. Крыть нечем.

— Выходит, не такой гениальный полководец? — спросил он, в январе, когда мы сидели в пустой комнатенке воронцовского барака.

— Не такой, — согласился я.

— А для чего и тогда гения возводят?

— Политика, — сказал я. — У нас дураков много. С ними без превосходной степени нельзя. Скажешь — талантливый — и уже сомневаться начнут. Им объяснять — только терять время. У меня есть такой друг, Вячин. Я знаю, что это за работенка.

— Значит, ложь во имя правды?

Вот ведь, собака, как выворачивал!

— Хорошо, хоть признаешь, что не гений, — сказал Павел Ильич. — Это уже кое-что. Это уже лет пять с поражением в правах... Значит, не гений. А, может, вовсе нуль. Два года Гитлера кормил, а потом полстраны отдал.

— Страну вернул. Вон, уже в Пруссии деремся. — Я злился на него, что мне так просто отвалил пять лет. Только действительно нескладно перед войной получилось. Я и раньше об этом задумывался.

— Вы читали «Девяносто третий год»? — спросил его. Это была, как писали до войны в шахматной газете «64», моя домашняя заготовка.

— Читал, — кивнул он. — Так себе книжонка. Правда, про Марата, Робеспьера — про всю троицу, ничего написано, ядовито. А так — вода на киселе. Для гимназисток.

— Не знаю, — обиделся я. — Может, художественно и плохая, но там есть толковое место — про пушку. Помните, матрос пушку не закрепил и во время шторма она все на корабле покарежила. Но он бросился на нее, как Матросов на дот. Оседлал, как мустанга. Храбрый был, не растерялся. Вот такой и он. Были ошибки, но сам исправил. Ленин сказал, не ошибается тот, кто ничего не делает.

— Знаешь, Валерий Иванович, — перебил меня Козлов. — Я этого не слышал. Так и условимся — не слышал. А то тут «вышкой» пахнет.

— Чем? — спросил я.

— Стенкой, — сказал он.

И тут я, болван, вспомнил, что этого канонира старик-маркиз крестом-то наградил, но потом поставил на корму и скомандовал залп. Даже сейчас холодком под ребра плеснуло...

Я уже свернул на нашу Большую Декабрьскую, а все думал про Козлова. Никак не мог вспомнить, чего он мне сегодня такого сказал. С виду незаметно, но меня всего передернуло.

8

В проходной — мы живем при научном институте автотранспорта — седенький старичок — ткни и развалится! — протянул мне треугольный конверт. Видно, мать успела уже задобрить его «Путиной»! Со старикашкой прямо беда. В десять ноль-ноль запирает дверь и можешь не будить! А если откроет, скрипит, как старый замок. Проходная одна — на автомобильный техникум и исследовательский институт. Вот старик и решил: техникум ему платит, институт платит, так пусть и жильцы совесть имеют. Мамаша когда курево ему сует, когда четвертинку, а я плевать хочу и перемахиваю через забор чуть подальше, за срубом дворника.

Обратный адрес на треугольнике был: Днепропетровск, Либкнехта с цифрами, Маркову. Никого я не знал по такому адресу. И Марковых не знал. Да и та жизнь в Днепропетровске была вроде не моя. Не то, чтобы я ее стеснялся, но вспоминать охоты не было. Если бы Федор, брат отца, не вывез меня оттуда, пришлось бы выбирать: идти ли осенним утром к Универмагу (там, рассказывали, был сборный пункт) или пришвартовываться род-

ственником к соседям. Правда, Федора, хоть он и русский, еще бы раньше расстреляли как коммуниста. А Берту, как всех других, осенью бы — на кладбище. Вот и не знаю, хватило бы у меня характера пойти с ней. Она бы непременно гнала меня к соседям.

Берта любила меня не меньше, чем мать. Возилась-то уж наверняка больше. Даже, кажется, своим молоком прикармливала. У матери не было, а у Берты была дочка, двумя месяцами старше меня, но не прожила и года.

Моего двоюродного Сережку, сына Берты и Федора, тоже бы расстреляли, потому что он наполовину... Но он еще раньше нас выехал из Днепропетровска с летней спецшколой, а зимой сорок третьего погиб под Ростовом.

Не люблю вспоминать про Днепропетровск, потому что тогда приходится представлять, как это все происходило. Как их гнали от Универмага. Осень была и, наверно, листья слетали им на головы. Я почему-то вижу женщин худыми, желтолицыми, хотя многие еврейки с румянцем и со славянский шкаф. Представляю их растрепанными, без беретов и косынок, с детьми на руках или за руку. Они шли, а все русские и украинцы стояли шпалерами и смотрели на них. Не люблю я про это думать.

Было уже темно и я, привалясь к окну проходной, развернул треуголку. Почерк был неровный, даже не поймешь сразу, мужской или женской.

«Здравствуй, Валера!

О твоём существовании узнал лишь месяц назад от Ленки Гербера. Узнав у него, что твое

письмо у Выстрела, я с большими трудностями поймал последнего. С помощью Божьей, а также и Гришкиной, я расшифровал твои иероглифы.

Итак, Лера, ты прыгаешь с одного учебного заведения в другое». (На этом «о» я споткнулся. Да-а!.. Значит и я так писал. Привет с Днепра!)... «ходишь в институт во все дни недели, кроме шесты, все еще носишься с декабристами и т. д. и т. п.

Странно!.. Но я не особенно удивляюсь: от тебя всего можно было ожидать. О себе писать не буду. Перешел в 10-й класс (я год не учился)...

Но все это ерунда: хуже, что я не знаю, куда мне поступить, т. е. в какой вуз. Другое дело, если бы я жил в Москве или Ленинграде, может быть, и выбрал что-нибудь. Просто обидно: все уже определились, а я все еще в школе сижу. Ленька Гербер — артист (?!), Выстрел окончил летнюю спецшколу, Хима, Кеша, Медведь где-то в другом месте (тебе не желаю там быть). Девочки — большинство окончили школу: некоторые или работают или прыгают, как ты, с одного места в другое...»

Чудно было читать письмо. Я уже понял, что оно от Витьки Маркмана, «девочки в штанах». Он почти не изменился, только фамилию подновил.

— Ты что сюда забился, как сирота? — вспугнула меня материнская подруга Фира Евсеевна. Она стояла с пустым ведром на крыльце института. — Ну, во-первых, здравствуй!

— Здрасьте, дайте принесу, — сказал я, протягивая руку за ведром.

— Ничего, мне попутно... — засмеялась она.

Сортир и водопровод у нас во втором этаже, а живем мы в первом. С этим делом тоже беда. Иногда сторожихи запрут оба входа и хоть на

Пресню беги. Дом когда-то был богадельней. Потом в революцию устроили приют и сюда привезли мамашу и тетку, когда на Волге был знаменитый голод. Они тут росли, а летом тетка переехала к Егору Никитичу, а мамаше выделили комнатенку во втором этаже и, когда сюда въехал НИИ, она дефилировала в халате и с ведрами, помойным и чистым, мимо научных автомобильщиков. Все ожидали, что ее переселят и она заберет меня в Москву. Но началась война. Мамаша выехала в Свердловск и комнату у нее отняли. С боем потом вернули другую, в первом этаже, сырую, длинную и слепую: окно в метре от сруба дворника.

Дверь была распахнута. Мать сидела на своем топчане. Гимнастерка висела на ней, как на новобранце. Даже в полутьме я разглядел, что лицо у нее невеселое.

— Что-нибудь случилось? — спросил.

— Сдалась мне эта Германия! — крикнула мать. Голос был капризный, какой-то деланный. Доставалось ей, колошматили в хвост и гриву. Вот она и неловкая, нерасторопная, хотя и не толстая.

— Ну и не езд! — сказал я.

— Не притворяйся! — взвизгнула мать. — Я знаю, ты хочешь меня выжить. Вы с отцом только и мечтаете меня выжить, чтобы я умерла на чужбине!..

Я прошел в комнату и сел на свой матрас. В отличие от мамашинного он лежит прямо на полу возле наружной стены.

— Успокойся, Гапа, — сказала Фира Евсеевна. Я не видел, как та вернулась, потому что комната разделена перегородкой на собственно комнату и кухню, которая одновременно прихожая. Пе-

перегородка не до самого потолка: две половины дощатого забора поверху связаны перекладиной.

В кухне звякнула комфорка. Это Фира взгромодила на плиту ведро. Я знал, что надо дать матери выговориться. И хорошо еще, если обойдется без слез и гроханья на пол.

— Вы с отцом... вы с отцом... вы с отцом... — это продолжалось почти вечность, как будто патефонная игла ездил по пластинке со сбитой дорожкой.

— Гапа! — прикрикнув, подтолкнула ее Фира, и мутер поехала дальше.

— Пусть я плохая мать. Но когда отец поселит здесь свою стерву, не думай, что тебе будет лучше.

— Ты хорошая мать, — сказал я.

— Я знаю, тебе Берта все уши прожужжала, что я плохая мать...

— Гапа, опомнись! Ну, причем здесь моя кузина! — крикнула Фира.

Так сошлось: Берта и Фира — двоюродные сестры.

— Перестань, — сказал я. — Ты хорошая мать. Фира Евсеевна, — крикнул я за перегородку. — Скажите ей, что она хорошая мать.

— Гапа, возьми себя в руки, — сказала Фира Евсеевна.

— Ну и оставался бы в Сибири со своей Бертой... — захныкала мать.

— Гапа! — прикрикнула Фира Евсеевна.

— Хорошо. Я уже взяла себя в руки, — сказала мать. — Валерий, иди сюда. Смотри, это я оставляю тебе.

Она откинула подушку — на топчане вдоль перегородки выстроились семь банок консервов.

Две больших, как снаряды без головок, бронзовых американских тушенки, три синих, овальных, как флаги, бекона, и две наших, как гранаты без ручек, стущенки.

— Брось, — сказал я. — Куда мне столько?

Мне было неловко: эти банки появились сразу за истерикой — без всякого антракта.

— Забери с собой половину, — сказал я совершенно искренно.

— Глаза б мои на них не глядели... Рвать от них хочется, — крикнула мать с воплем, словно ее и впрямь мутило.

— Гапа, — зашипела Фира Евсеевна.

— Извини, — сказала мать.

— Возьми половину, — повторил я.

— Хватит! — взвизгнула мать. — Слушай, что тебе говорят. Теперь о деньгах. — Она достала из-за спины портфель и вынула оттуда четыре сторублевки.

— Вот возьми. Сто пятьдесят ты уже получил.

Это не было вопросом и мне надо было просто кивнуть, но я растерялся. Деньги как-то вылетели у меня из головы, и я ни черта не успел придумать.

— Нет, — покраснел.

— Что же случилось? Чтонибудь экстраординарное? — съязвила мать.

— Ничего особенного, — сказал я злясь. — Просто у меня пара по химии.

Ловкий это был ход! Все-таки я чего-то стоил. Из такого положения пробить — это почище Бобра!

— Одно другого не легче, — вздохнула мутер. — На что ты рассчитываешь? На что вы, интересно, с отцом рассчитываете?

— На то, что уедешь... — хотел сказать, но вслух выдавил:

— Ну, исправлю...

— Интересные у вас порядки, — сказала Фира. — Всюду с неудами платят. Почему это тебя лишили?

— Меня не лишили, — сказал я с ледяной выдержкой. — Просто задержали, пока не исправлю.

Я старался не злиться, но Фира мне всю обедню портила.

— На что ты рассчитываешь? — надрывалась мать, и голос у нее готов был лопнуть, как шарик уйди-уйди. — Ты на меня не рассчитывай. Я сама на себя не рассчитываю. Я... я...

— Выпей воды, — сказала Фира и зачерпнула чашкой в ведре.

— Не надо, — крикнула мать. — Не могу туда... Ой!.. — Она вскочила с топчана и побежала в тамбур, где стояло ведро.

— Что с ней? — спросил я Фиру.

— Больше расстраивай, — огрызнулась та.

9

Прошло не меньше часа. Мать все еще лежала на топчане, обмотав голову кухонным полотенцем.

В темноте ее лицо почти сливалось с гимнастеркой.

— Ну, куда ты полетишь такая? — повздыхала напоследок Фира и расцеловала мутершу.

Я не решался спросить, когда же все-таки самолет. Лучше бы уж пошел в «Художественный». Сейчас, со своего матраца, я видел Арбатскую пло-

щадь, толпу у кинотеатра и толстое лицо Окуневской.

— Как себя чувствуешь? — спросил мать.

— Не бойся, не опоздаю. Сейчас поднимусь и поедем.

— Не сердись, — сказал я, вдруг почему-то смиряясь с тем, что отлет не состоится. — Плюнь на этот фатерланд. Ложись, как следует.

Сам, не снимая сапог, я уже давно вытянулся на своей лежанке. В первую мою московскую зиму мы часто разговаривали по ночам. У матери была бессонница, а я потом отсыпался, прогуливая школу. Материнский голос добирался ко мне, огибая шкаф. Он был тусклый, как щели в светомаскировке. А когда мать замолкала, включался будильник. Однажды мать призналась, что будильник ее успокаивает:

— Заслушаешься! Такие симфонии.

— Так вот в кого я такой музыкальный, — засмеялся я, и мать обиделась. С юмором у нее так же, как с музыкальным слухом. Мне тоже иногда будильник чего-нибудь намурлыкивал, но приходилось пропускать часть такта, иначе все смешивалось и мелодия пропадала. Нужно было стараться не замечать лишних звуков. С будильником или с поздним трамваем у меня это получается, а с людьми — редко.

В ту первую зиму я мог матери рассказать почти все и однажды разоткровенничался про политику. Мать не была такой, как отец. Тот даже партийного Федора перецеголял. Сталина боготворил до жути. До войны в моей комнате над кроватью повесил портрет. Я раз сто срисовывал вож-

дя и уже, кажется, знал наизусть лоб, подбородок, усы, нос, седые волосы. Но Федор все уговаривал:

— Ты, Валерка, лучше меня рисуй.

Потом, уже в Сибири, когда бюллетенил из-за язвы, Федор рассказал мне, как в Днепропетровске перед войной хватали людей. Сам признался, что до сих пор не понимает, почему уцелел. — Чудо какое-то, — говорил. Федор во всем винил Ежова. Сталину, понятно, не докладывали. Таких периферийных работников, как Федор Коромыслов, Сталин в глаза не видел. Конечно, было и вредительство. Пострадали многие невинные. Но не главные прожженные оппозиционеры. Шпионами, правда, они не были. Это их просто так окрестили, чтобы понятней было массам.

Про рядовых работников я и сам знал. У нас была девчонка, Зойка Дубинская, дочка директора Госбанка. В третий класс она уже не пришла. Говорили, что ее отправили в детдом. И еще у некоторых в классе стали пропадать отцы. Врагов народа было пропасть. Каждый месяц в учебнике истории надо было зачеркивать фамилии и заклеивать портреты маршалов и народных комиссаров. Автора украинской мовы — Васютинского — с обложки бритвой соскабливали.

В первую мою зиму в Москве мать как-то призналась, что ее тоже должны были арестовать, но выручил отец. Из Москвы ехала комиссия по приемке шинного завода. Отец провожал мать и, когда поезд тронулся, схватил ее за руку и сдернул с подножки. Она упала на перрон, даже каблук сломала, а на другой день в Ярославле всю комиссию арестовали.

— Про твоего отца так и говорили «хитрый хохол», — сказала мать с гордостью.

— Мы не хохлы, — надулся я.

— Конечно, — согласилась мать. — Просто у нас в Москве днепропетровцев так называли.

Вот тогда-то я спросил ее, правда ли (про Козлова смолчал!), что в тюрьмах бьют. Мать сказала, что один из той комиссии вернулся перед войной. Его послали на курорт, но взяли подписку ничего не рассказывать. Но он все-таки признался матери, что ему палили брови и били по ногтям молотком. Но теперь у него все в порядке. Он полковник.

— Сталин делает все для истории, а Ленин делал для народа, — сказала мать, но как-то чересчур торжественно, словно боялась перепутать цитату. Наверно, от кого-нибудь услышала, раз прочесть такое негде.

В комнате стало совсем темно. Будильник тоже тикал по-прежнему.

— Может, плюнешь на эту Германию? — спросил я.

— Нет, мне надо, Валерка. — Голос у нее был кислый, как медная ручка. — Надо, — повторила она и всхлипнула.

— Но они же не идиоты, — сказал я, подражая мамашино начальство. — Война кончилась. Не все же одна работа...

— Я не из-за работы. Я из-за себя...

— У тебя неприятности?

— У меня беда. У меня, понимаешь, беда, — закричала она. — Бе-да! — повторила отдельно, словно гордилась этим словом.

— Слушай, скажи мне. Может, могу помочь.

— Можешь! — вздрогнула. — Можешь, — повторила, но уже тише. — Напиши отцу. Напиши отцу. Напиши отцу, — заторопилась, как колеса поезда. — Напиши, чтобы вернулся. Обещаешь?..

— Да, — соврал я.

Все, что угодно, — но этого я бы не сделал, даже если бы вся Пресня ножи вытащила.

— Сядь и напиши!

— Сейчас не выйдет, — чуть не проговорился про Анастасию. — Сейчас не получится... Понимаешь, твой отъезд... Химия... Я нанервничался. Завтра выплусь и накатаю.

— Обещай мне, обещай. И еще напиши, пожалуйста, Берте. Почему ты ей не пишешь? Она столько для тебя сделала...

— Зачем ты?.. Ведь не любишь ее.

— Неправда! Это неправда. Просто я иногда тебя к ней ревную.

Теперь мы снова разговаривали, как позапрошлой зимой по ночам, когда не знали, почему от отца нет писем, и боялись, что он убит или пропал без вести.

— Мама, — сказал я. (Я редко ее так называл и даже сейчас в темноте знал, что она улыбнулась.)

— Мама, я люблю тебя и люблю Берту. Но мне трудно ей писать.

— Потому что ты уехал ко мне?

— Нет. Поэтому тоже — но не только. Есть еще другое. Понимаешь, я часто думаю, если бы Федор нас не вывез, у меня не хватило бы духу пойти с Бертой...

— Бедный, не думай об этом.

— Как ты считаешь, я бы пошел? Или спрятался?

— Отец бы пошел, — сказала мать. — Он храбрый. Он на фронт пошел, хотя имел броню. А ты в него.

— Не в него, — сказал я. — Наверно, я бы спрятался у Тимохи. (Тимоха был наш сосед, сапожник. Он, как я слышал от днепропетровцев, что приезжали в командировку, ходил приглашать евреев к Универмагу.)

— Ты бы пошел, — сказала мать, но ее голос был какой-то безразличный. Просто она думала о другом.

— Напиши Берте, — сказала снова. — Пусть она тоже напишет отцу. Она разумная женщина. Она тебя воспитала и отец ее слушается. Пусть напишет, что он тебе необходим. Пусть он получит сразу три письма. Ты думаешь, ему там хорошо? Ему тоже скверно. Из-за глупости и ложной гордости — так себя мучить... Напишешь?

— Угу...

— И еще обещай мне, что будешь здесь поддерживать по возможности порядок и — не сердись, но я тебя прошу — не води сюда девочек.

— Обещаю! — сказал я весело. Последнее — было совсем просто. Кого я мог сюда привести? Марго? В эту конюшню? А вообще-то — мысль!

— Нет у меня никаких девочек, — сказал я.

— А Доронина?

— Как Дина Дурбин.

Я малость лукавил. Все-таки Дина Дурбин не целовала меня в щеку.

— Все может перемениться, — сказала мать. — Не хотелось бы вернуться из Германии бабушкой.

— За полгода не успеешь...

Все-таки мне понравилось, что она не исключает такого варианта. Даже обидно стало, что некого позвать. Весной зашел я к одному парню, рыжему Игорю Фоменко. Я с ним в Сибири в одном классе учился. И потом летом на стройке работал, но теперь он меня обскакал и перешел на 2-ой курс МАИ. Прихожу к нему в марте, он сидит, грустный, гордый и говорит:

— Знаешь, я вчера невинность потерял.

И так целый вечер вздыхал:

— Понимаешь, на прости господи невинность потерял. Обидно! — А обиды в нем было, как жи-ров в кипяченой воде.

— Не теряй невинность на шлюхе, — твердил весь вечер.

— Не буду, — обещал я. — А это больно?

— Не в том дело, — говорит. — Обидно.

Он считает себя великим умником и собирает-ся через десять лет попасть в Политбюро.

— Я, — говорит, — головастый и у меня воля. Только обидно — невинность потерял на дряни...

А девка, наверно, вовсе не была дрянью. Просто заночевала у них, когда родных не было, и пожалела рыжего дурака. Я бы не возражал, если б она сегодня ночью перелезла через наш забор. Я бы не обозвал ее дрянью. Мне давно надо с этим расстаться. Если б это было уже позади, Марго бы на меня клюнула. Ей нравятся взрослые ребята.

— Не будешь ты бабушкой, — сказал я матери. — Не везет мне с девчонками. И — не сердись, — но я бы сюда никого не пригласил. У нас тут как-то...

В этот хлев привести Ритку?! Она была сегодня такая свежая, словно только что вышла на берег в Серебряном бору.

— Да, — сказала мать, почему-то не обижаясь. — Мне самой здесь противно. Но все будет иначе. Если вернусь... Если только вернусь... — и она снова заплакала.

— Валерий, мне так плохо. Ты даже не понимаешь, как мне плохо. Я в таком переплете... Попробуй, что напишешь отцу!

10

Вылет задерживали. В аэровокзале набилось этих ряженных штатских мужиков и баб с погонями, и они горланили, несмотря на второй час ночи. Один хмырь по фамилии Огородников — на него прошлый год пало подозрение, что он стянул у матери из сейфа рабочую карточку и литер — через каждые две минуты тренировал бас:

— Товарищи офицеры!

Все вскакивали и потом смеялись. Два шахматиста, майор с подполковником, каждый раз подбирали с полу фигуры и даже злиться начали.

— Брось! Еще накричишься...

Вся компания улетала с легким сердцем.

— Не грустите, Агриппина Алексеевна, — сказал Огородников. — Он у вас взрослый. Хоть погоны цепляй.

Мать чего-то недоговаривала. Я видел, что ей худо. А среди сослуживцев приходилось держать фасон. Она была от этого жутко фальшивая. Лучше бы уж ревела. Я сидел, как на шипах. Разговоры все были обговорены, хотелось поглядеть на

летное поле. Я в первый раз попал в аэропорт. А посадку все не объявляли.

— Товарищи сабуровцы, — сказала мать, подлаживаясь под тон компании, — я пойду провожу ребенка.

Эти маскарадники захохотали. Тоже умники. Некоторые были мне до плеча... Мы вышли из зала. Стало прохладно. Мне хотелось то ли есть, то ли спать, но только поскорее убраться отсюда. И в то же время я боялся, что если не увижу, как поднимется самолет, они не улетят.

— Я тебя недалеко провожу, — сказала мать. — Тебе, бедному, придется идти пешком.

— Ничего, — сказал я.

Мимо летели пустые трамваи и еще всякие БД, ГД. Они шли в парк, который рядом с нами. У Стациона Юных Пионеров, на повороте, можно будет вскочить. Но я промолчал. Пусть ей будет приятно, что ради нее потащусь пешком.

— Не огорчайся, — потрепал ее по плечу. — Все будет хорошо.

— Лишь бы отец вернулся, — всхлипнула она.

Трамваи на прямой неслись, как угорелые, — впрыгнуть не мечтай! Но глядеть на них было приятно. Мистика какая-то была в них, пустых, освещенных. Без пассажиров они красивей и уютней. А грузовые — те похожи на войну, на скелеты зданий.

Я уже отстегнул от себя мамашу. Улетит — не улетит «Дуглас» — черт с ним. Я перестал о нем думать. Знал, что нехорошо, но хотелось побыть одному. Ночь была замечательная, прохладная, с ветром. И он обдувал мне все ребра. Словно я был

раскрыт, и он протирает мне каждое ребрышко чистой тряпкой, смоченной в спирте. А вся ночь была, как душ, и стекала по загривку за шиворот. Так бывало вечером, когда мы шатались с Риткой, а потом я шел домой и заново все вспоминал и переигрывал. Но тогда дома ждала мать, а сон у нее дырявый. Или она нарочно не засыпала, чтобы ворчать на меня?

Даже в день Победы не утерпела, хотя я появился всего в третьем часу. Все-таки деревянная она какая-то. С того и несчастная. За день Победы я до сих пор на нее злюсь...

Победа! Иногда не веришь, что была. И — что война была. А не будь войны — не видать мне столицы. Берта бы не пустила. Витька Маркман в письме хнычется: некуда в Днепропетровске поступать. А там шесть или семь вузов. И, по правде говоря, мне все равно в какой. Хоть — в медицинский! А что? Чем не специальность? Денег вот только маловато платят. Разве что аборт делать...

Вдруг пришло мне в голову, что медицинский — и впрямь не плохо. Белые халаты и никакого обману. Особенно у хирургов. Аппендиксы щипцами вытаскивай. Я перед войной чуть концы не отдал. Был у меня гнойный. И вырезал врач, могучий такой старик, малость прихрамывал. Потом при немцах был чем-то вроде городского головы. Вот сволочь! Но, говорят, одновременно помогал раненым красноармейцам. Пойди — разберись. А как бы он помогал раненым, если бы с немцами не шился? Днем я всегда так сходу бухаю, а ночью иногда раскинешь роликами и все совсем не просто выходит. Только с немцами сотрудничать все равно плохо... Если только ты не разведчик или

там партизан, словом, не со спецзаданием. Этот старик вроде был из бывших. Может, всю жизнь ненавидел советскую власть. Без нее, наверно, своего извозчика имел. Буржуй. Брал деньги за операцию. Но мы ему не заплатили: Берта не знала, как это сделать: они работали в одной больнице. А дома он не принимал — «фина» боялся. Так и остался без взятки. Ну, и шут с ним. Хотя без него я бы концы отдал. И все-таки надо будет разузнать, много ли он спас красноармейцев.

Война — она черт-те чего наоткрывала. До нее все были дураками. Горло драли, задирали нос. Жизнь какая-то была несерьезная. Я еще по возрасту глупым был, а отец — без всяких причин. Москву как расписывал! Мост в будущее! Город-гигант!.. И то, и это, десятое, пятое... Сельскохозяйственная выставка — прообраз будущего! Был я весной на этой выставке. Там несколько павильонов под поликлинику пустили. Мать Дода Фишмана там терапевт. Поглядеть на этот прообраз — вся обшарпанная, облезлая, как мартовская кошка. Краска сошла, фанера осталась. А трезвону сколько было! Марки, открытки, кинофильм «Свинарка и пастух»!.. А теперь — одна фанера.

И самолеты тоже, говорят, были из фанеры. Прямо сами горели. У немцев брильянтовый крест давали за триста сбитых штук. И были такие орденосцы. А у нас Кожедуб с Покрышкиным вместе чуть больше сотни сбили. Не мне, конечно, судить. Немецкие самолеты было сбивать труднее. Вообще фрицы были сильнее нас. И все-таки задавили их, чего бы ни болтал этот уникум. Сегодня — то есть уже вчера — такое наворотил!

— Сумасшедший дом! — кричал.

А ведь сам оттуда. Чего-то он мне еще такое сказал, что я малость перетрухнул? Не помню. Память стала дырявой. Боюсь, скоро день Победы забуду.

А день был замечательный.

Самый мировой день! Хотя, по-честному, он не мой. Я ради него пальцем о палец не ударил, если не считать сорока дней в Сибири, когда таскал теодолит и рейки. Но что это за работа? Так, — груши...

Не моя это победа. И нечего примазываться. Мог бы бежать на фронт. Мог бы просто сказать, что утерял метрику и мне бы года два набавили. Я рослый, даже плечи немного есть. Сейчас бы уже со «Славой» разгуливал или лежал в братской яме. Сам не захотел.

Когда на двоюродного брата Сережку пришла похоронка, я — точно! — думал уйти в армию. Но по дороге из Сибири, когда сидел в товарнике, свесив ноги, ярость понемногу выветрилась. Я так до Урала и доехал, болтая над насыпью ногами. У матери есть товарищ по рабфаку — контр-адмирал. Он послал в Сибирь одного главстаршину, и тот меня привез. Старшине на Кузнецком комбинате дали вагон с какими-то тиглями, он туда меня запихнул и мы в две недели доползли до Свердловска. С виду вагон секретный, флотская охрана, а внутри — одни тигли. На одной станции нквдешники вздумали проверить, что все-таки в вагоне, но матрос шуганул их, два раза пульнул в воздух. Я не проснулся — силен спать. А утром старшина показал мне две стреляных гильзы и еще в стволе нагана масло гарью пахло. Значит, стрелял. Но, ясное дело, пугал не нквдешников. Даже, наверно,

не дорожную милицию, а просто каких-то ворюг или приبلудную собаку. Скорее всего собаку.

Вообще этот матрос был хвастун и жулик. Соль воровал с соседней платформы, а потом на остановках — продавал населению. Двух стрелочниц при мне затаскивал в вагон и за тиглями раскладывал. В общем он был самый что ни на есть спекулянт. Ленин в девятнадцатом году таких расстреливал. Но в эту войну такие меры не прошли б. Живых бы не осталось. И меня тоже. Я газеты на рынке продавал (Федор курил не самокрутки, а пайковые папиросы), билеты загонял у кино и раза три пайковую водку. Тогда еще сам не пил. А уж барахла сколько сменял — не сосчитаешь. Но соли не воровал. Соль — это матрос. А вообще что-то в главстаршине было. Все-таки воевал! Рассказывал, их в бушлатах по снегу погнали Москву спасать. Черная смерть! У него легкое насквозь прострелено.

11

Я уже прошел поворот у Стадиона Пионеров и топал по Беговой. Прыгать на ходу расхотелось. Ночь была замечательная, жаль, что уже кончалась. Туч не было, только облачка, скромные, как синий платочек... Всего прошивало ночью. Под рубашу так ласково задувало. Луна сверху торчала, похожая на круг замерзшего молока. В Сибири такие зимой на дом носили. Она была, как этот круг, но одновременно как будто таяла, таяла и доставала до меня. Невидимо, как радиоволны. Я шел в своих хромовых с подковками — и стук раздавался на двух сторонах улицы. Казалось, нас двое: я и еще кто-то близкий.

...Замечательный был день Победы. Ритка, дуреха, накануне по телефону побоялась сказать, что уже подписана капитуляция. Отец у нее в Наркомвнешторге, и дядя — генерал авиации. Она кое-что узнаёт раньше. Я ей восьмого мая в двенадцатом часу ночи звонил с нашего второго этажа — сторожиха разрешила. Марго говорит:

— Есть важная новость. Такая хорошая-хорошая. Угадай!

А сама сказать ни в какую не хотела. Я чуть не подумал, что она в меня влюбилась. В субботу мы с ней часа три сидели под дождичком в скверике против Моссовета. Она все крутила пуговицы на моем пальто. Просто от скуки крутила. А теперь по телефону говорила с загадкой. Я черт-те чего навоображал и счастливый лег спать.

Радио у нас нет. Мать ушла на работу, а я еще сны видел. Дверей она за собой не закрывает. Так что я сплю и всегда самое главное просыпаю. В феврале, например, проспал приезд отца. Отец вошел, будит меня, время два часа дня, а я, очумелый со сна, гляжу и не разберу — снится или нет. Стоит он в шинели с ремнем и парабеллумом — живой-живой!

— Топса! Да проснись ты, топса!

Я его три года и восемь месяцев не видел. Кинулся на шею в одной рубаше, а он:

— Поворотись-ка, сын. Ого! Выше меня стал. Во сне растешь. Отца проспал родного.

Так и девятого мая. Я спал, а в комнату влез Толька Бочкарев.

— Ну, и силен, — вздохнул. — Хоть бы шторы сорвал!

— Руки, — говорю, — не доходят.

А уже больше недели, как затемнение отметили.

— Да ты их всю войну не поднимал, — говорит он, да как рванет — краем шторы вазу зацепил, и она — с книжного шкафа... Хорошо — бронзовая.

— Хоть бы прибрался, — говорит. — Такой день!

— Да, — говорю, — денек ничего. Солнце... Садись, сейчас картошки навернем. Только за водой сбегая.

Пошел я с ведром наверх. Там пусто. Может, все на огород уехали. Только одна вахтерша в коридоре. Улыбается. Я ей тоже кивнул. Эта тетка ничего, разрешает мне звонить и дверей на ночь не запирает.

Почистили мы с Толькой картошку, — весной она, гадюка, дорогая! — разожгли плитку, на чурках и бумаге поджарили. Рубаем и о всякой чепухе треплемся. Я — про Марго, Бочкарев — про высшее образование.

— Поступлю на подготовительные в МАТИ, — говорит.

В прошлом году мы учились вместе в девятом, но я не пошел на экзамены, а он сдал географию и прочую ерунду и подался вместе с Генкой Вячиным на третий курс авиаприборного техникума. Там бронь давали, а он 27-го года.

— В МАТИ тебя забреют, — говорю, зевая.

— Ну да, — смеется Бочка.

Черт его знает, думаю. Парень он — себе на уме. Поглядели бы, как он в очко режется. Худой, носатый, на чистильщика-айсора похож. Русский умелец. Однажды взял с меня червонец — каблук

к материнской туфле прибывал. Скособочил, можно сказать, вовсе испортил — в мастерской потом чинить не хотели, а червонца не вернул. Но все-таки он ничего.

Но в тот день сидел — надоело даже.

— Ну, мне на курсы пора, — говорю. — Может, Ритка явится. Она мне вчера по телефону закидоны делала.

А Толька вылупил глаза:

— Какие курсы? Война кончилась. Нерабочий день.

Тут я на него — шары:

— А ты чего молчал? Спрыснуть, — говорю, — надо! Мамаша придет — сообразит чего-нибудь.

— А-а... — тянет он. — Это еще ждать. Мне нужно к родственнику, лауреату Сталинской премии.

Про этого лауреата я раз семьдесят слышал. Тоже Европа «А»! У нас в Сибири на КМК* таких лауреатов было девять на десяток. Тем более родственник — его мамаше двоюродный плетень. Мать у Тольки вообще не глупая, но уж больно учить любит. Однажды даже про это самое, отчего дети бывают, речь закатила:

— И ничего в этом акте нет эстетического... Это не половой акт, а любовь облагораживает. Подымает над животными...

Одинокая женщина. Мужа (не Толькиного отца, тот давно их бросил, а другого, политэмигранта) — замели, как иностранного шпиона. Может, ей приятно было поговорить про эстетическое, а у нас с Генкой животы прыгали. Тем более, что ее сын

* Кузнецкий металлургический комбинат.

без всякой эстетики делал это со своей соседкой, вагоновожатой, страшной, как Корсунь-Шевченковская операция.

В общем Бочкарев моей матери не дождался. А она пришла и никуда идти не хотела.

— Пойдем к Нефедовым, — звал я. — Победа все-таки...

— Иди один. Я себя плохо чувствую.

Она уже тогда была зеленая. Тут пришел Вячин. Мы все втроем чокнулись в кухоньке портвейном. Мать — только пригубила.

— Ты за Валерием пришел? — спрашивает.

— Да, — говорит. — Мы, Агриппина Алексеевна, тут с моим дядей Веней, с его семьей, там братья двоюродные...

Молодец Вячка. Врет складно. Его дядя Веня бездетный. Ряха у Генки, правда, красная, но она у него почти всегда как транспарант. Я сапогом под столом его толкаю, мол, не очень завирайся.

— Так что-нибудь нужно с собой? — спрашивает мать. — У вас складчина?

— Да, — врет Генка, — то есть нет... Ничего не надо. Закуски совсем не надо.

— Да, — говорю, — закуска у них найдется. Дай нам немного денег и четвертый талон.

— Смотри, напьешься... — мрачнеет мать.

— Что вы, Агриппина Алексеевна! — поет Вячин. — Это ж на всех. Можно и четвертинку...

— Цыц, — говорю, — праздник такой, а он — четвертинку...

Генка мнется, стесняется, вежливость демонстрирует. Но я железным голосом выпыгнул у матери чистую поллитровку. У нее в заглазнике была, даже на угол бегать не пришлось.

— Ну, теперь, — говорю, — допьем, куда ее, початую?.. — и смаху разлил портвейн Генке и себе, но не наперстки, а в жестяные кружки. По половине получилось. И пока мать глядела, я — тост:

— Чтоб отцы вернулись! — и хоп (как мушкетеры в американском фильме), стук жестянками и в глотку. Чуть даже не брякнул:

— За здоровье Людовика I-го.

— Теперь когти рвать, — шепчу Генке.

А он еще встает только, раскачивается, после каждого слова кланяется:

— Спасибо вам, Агриппина Алексеевна, за угощение. Спасибо... Чтоб счастье у вас было. Чтоб Иван Сергеевич был жив-здоров...

— Вы что, уже уходите? — спрашивает мать.

Дождался-таки вопроса! Надо сразу было, а теперь — конца не увидишь.

— Да, — говорю за Генку. — Ему еще отгладиться надо. Потом — в магазин отовариться и за пластинками. Там танцы будут.

А самого чуть не трясет — какие танцы? Мы с Генкой еле ногами двигаем, хоть три месяца ходили в бабскую школу танцам учиться.

— Ну, что ж, идите, — ноет мамаша. — Веселитесь. Не хочу вам праздник отравлять. Знаю — вам неинтересно со мной.

Вот черт Вячин, всегда такой неповоротливый. Вечно у него двадцать два — перебор... Я уже одной ногой на крыльце — и возвращаться неохота, и сматываться — неловко.

— Иди к Нефедовым, — говорю.

— Сдались мне эти Нефедовы! — (Это она про родную сестру...) — Что ты меня выталкиваешь?

Нефедовы! Нефедовы... Не можешь в такой день дома посидеть?!

Вот оно как — опять про белого быка!..

— Хорошо, — говорю, — я остаюсь. Генка, давай взад поллитру. — Сам грохаюсь на стул. Генка — на другой присаживается.

— Без тебя не пойду, — упирается, но вежливости не теряет. Так мы сидим в кухоньке, а мать на своем топчане лежит, на нас не смотрит, и всех троих разбирает злость, обида и жалость. А за забором — день Победы.

12

Выскочили мы — уже восьмой час был.

— Закусь соображай, — команду Генке.

А у него дома мать:

— Куда вы, ребятки?

Вячин ей наворачивает:

— У нас складчина. Вот, Валерина мама нас уже обеспечила, — показывает бутылку. — А ты, мамульчик, закуски подбери.

— Так ведь ничего нет, Геня. Если б знала, что такой праздник. Хлеб — и тот завтрашний съели.

— Ну, вот, понесло. Поехало. Жалобщина. А Агриппина Алексеевна бутылки целой не пожалела.

— Так ведь она, Геня, инженерша. Ты не равняйся с ними. Я ведь кто? Два класса... ткачиха... — и уже слезы на глазах.

— Ну, пошло, — злится Вячин. — Я человек больной, ревматический. — Это он «Юбилей» Чехова передразнивает.

— Брось, Генка, — говорю. — Ничего не нужно, Клавдия Карповна, не слушайте его.

— А ты молчи, Коромысло! — тычет мне кулак Генка.

— Цыц, — шепчу ему. — У меня талон на двести граммов есть. Бери соли и айда!

Раздобыл он у соседей полкопченки твердой — нож не брал! Спустились мы в булочную, а там народу, как в кино. Генка толкает меня локтем:

— Лезь, Скол, ты в шкуре!

В шкуре-то я в шкуре, но на гимнастерке ни планок, ни нашивок. Да и вообще без очереди никогда не лезу. Тем более — как в такой день? А Генка уже репродуктор раскрыл:

— Граждане, дозвольте герою войны!

В очереди он, как дома. Но старик с палкой — не раненый, а так хромой от ветхости или вредности, — уперся и ни в какую:

— Что прете? Чего людей толкаете?

И понесло, и повело!.. Бабы подхватили — целый церковный хор вышел. Генка огрызается — ему только дай постоять за справедливость или вообще за что-нибудь горло подрать. Противно мне стало. День Победы, а тут все одно. Плюнул я и пошел. Генка бегом за мной:

— Ты что поллитром задаешься? — и сует мне «банку». — Бери и катись... Без рук, без ног!..

— Брось кипятиться, — говорю. — Пошли в другую, к трампарку. Там одна продавщица добрая, губастенькая...

Пока отоварились, фонарей позажигалось — не спрячешься. Привалились мы к одному забору и начали. Он глоток, я глоток, он кусок рыбехи,

я — кусок. Рыба дерьмовая, водка теплая, об Генку нагрелась. Один хлеб хорош, но его мало — посто граммов на брата.

— Глотай больше, — говорю, — к утру не справимся.

— Не могу, — задыхается Генка. — У меня в носу полипы. Из горлышка трудно.

Вечно у него всякие болезни, а здоров, как буйвол.

— Лей в жменю, — советую.

Сам я, чувствую, за четвертинку уже перебрал. У меня глотка в порядке. А Генка пьет, как курица из лужи. Налил, правда, в ладошку, но больше пролил.

— Чудик, — говорю. — Это ж аква-вита — вода жизни!

На него все иностранные слова, как заклинания, действуют.

Наконец, одолели бутылку. Генка повеселел, схватил ее и метров с тридцати запустил в колонку. И точно — дзынь! Он молодчик гранаты кидать.

— Дурень, — говорю, — завтра пацаны за водой выбегут, ноги порежут.

А он галстук на шее рванул, все равно, как ванёк в праздник: душа воздуху просит! Свобода в нем вдруг такая, как при склоке, но сейчас от веселья.

— Давай на Красную площадь, — кричит.

— Давай, — говорю.

— Ритку твою возьмем.

— Попробуй, — говорю.

— По дороге уговорим. Она девушка добрая.

— Давай, если смелый.

— А чего?.. То — тебе, а мне она запросто...
— Бог в помощь, — говорю.

Сую ему монету, толкаю возле Заставы в будку.

— Номер! — орет Генка, все равно, как в столовке:

— Чаю!

Или:

— Соли!

Набрал я ему этот проклятый К-О... Рядом стою. Слышу гудки. Потом кто-то снял трубку — а Генка изо рта слова вытолкнуть не может. Ладонью рупор прикрыл и шепчет:

— Давай ты!..

Я рычаг рванул. Тоже — пижон!

— Пил бы, — говорю, — через полипы свои — может, храбрец стал.

Тут он канючить пошел. Мол, не умеет с образованными девчонками. Боится слово не так сказать, вдруг — неправильно ударение.

— Брось, — жалею его. — Ты же в Москве родился. Ты в тыщу раз чище меня говоришь. Пушкин велел русскому языку у ваших просвирен учиться. Ты же парень гвоздь. Зря на себя клепаешь. Вон как сегодня моей мутер заливал. Только психовато малость. Руками меньше крути. А то антисемит, а размахался, как еврейская мельница.

— Никакой я не антисемит, — обижается Генка.

— Знаю. А раньше — был.

— Не был, — говорит. — Но евреев в армию не брали.

Это у него бзик. Кто-то ему наплел и теперь он заладил:

— Не брали, да не брали...

Опять мочало с начала!..

— Когда же, — спрашиваю, — не брали? Хоть год скажи.

Года, понятно, не знает.

— Ну, так как же, — говорю, — не брали, когда половина командармов — врагов народа — евреями были. Якир, Гамарник там...

— Ну, так после не брали...

— А после — всех под метелку гребли. Даже из институтов забирали. Сам знаешь.

— Ах, значит, ты умней людей? Самый умный? Нос, значит, задираешь?

— Молчи, — говорю, — граф Альмавива, Абу-Тагир несчастный!.. — И тут меня уже стало пронимать темнотою. Вдруг в самом деле захотелось Ритке позвонить. На Воровского в подъезде почты темень была, но я этот собачий номер наощупь набираю.

Подошла сама.

— Здравствуй, Рита! — говорю свободно — выпил все-таки. — С победой тебя, раз вчера сама не поздравила. Выходи.

— Не могу. У нас гости.

— Выходи...

— Гости у нас. С победой, с победой тебя. Некогда.

— Ну, поговори хоть минуту, — прошу. — Победа ведь. Чего ты меня так?..

Сам чуть не плачу, а Генка рядом шипит, будто трезвый:

— Не стыдно? Клизме кланяешься... Интеллигент...

— Ты, Коромыслов, как маленький, — бубнит в телефон Ритка. — Знакомые у нас. Гости пришли.

— Выйди, — прошу. — Ну, один раз сегодня выйди — больше никогда не позвоню.

Чувствую, что хуже раздавленного воробья, но никак себя не скручу. А тут еще сбоку Генка шипит — так бы ему по шее врезал! И вдруг в подъезде светло стало — салют грохнул.

— Салют! — поет Марго в трубке. — Ну, пусти меня, Коромыслов!..

— Ритка, — говорю, — ты же мне родная. Не уходи...

Тут — второй бабахает и видно, как у Генки губы матерно выворачиваются.

— Ты ведь мне родная, — плачусь в трубку.

И тут Ритка скороговоркой — бах, бах — как моторная лодка:

— И ты мне родной, Валерка, — и бац — цзынь, уди — уди, короткие гудки.

— Ох, Вячка! — кидаюсь я ему на шею и целую в морду, как пса. И лучше друга у меня нет. А минуту назад — выйди Ритка — ушел бы с ней и не обернулся, а на другой бы день у него в ногах валялся, прощения просил. Такой уж я. Ради Ритки на всё пойду, хоть потом от стыда повешусь.

— Победа! — говорю Генке. — Айда на Красную площадь. Может, Сталин выглянет.

— Не выглянет, — говорит Генка. — Что он на стену влезет или из часов высовываться будет?

— Брось, — говорю. — Может на мавзолей выйти. Побежали. Может, уже всё прохлопали.

И, вправду, речь Сталина я уже проворонил. Только потом левитановское повторение слышал.

Когда Генка со своей матерью ругался, я ухом к их тарелке прилип. Мне не понравилось, что еще идут бои в Чехословакии.

— Но вроде отец в Будапеште, — подумал я.

И тут мы понеслись. Вот, как трамваи сейчас. Только что — не светились. На Воздвиженке уже народу было, как в гастрономе, когда жиры отovarивают сливочным маслом. А ближе к Кремлю — и того хуже. По Манежной машины идти не могли. Одного полковника в виллисе крепко сдавили — даже ругаться не мог, только улыбался. А народу, народу! И не разберешь, на Красную площадь или обратно. И весело всем. Ночь мировая. И тут всё во мне вместе смешалось: ночь, Победа, «и ты мне тоже родной, Валерка!» Так всё оно сплелось — не распутаяешь, и распутывать неохота.

На Красную площадь мы не попали. Туда не протолкнуться было, да и встречные говорили, что всё уже кончилось. Собственно, ничего и не было. Подбрасывали в воздух наших и еще там англичан, американцев. Народ у нас добрый. А я бы союзников не стал подбрасывать. Ну, разве что раза три подкинул, два раза поймал, — и хватит. Они манежили, манежили, пока наши в Европу не вошли, тогда только, умники, десант в Нормандии высадили.

Но у Козлова своя теория. Он говорит, что мы во время пакта тоже не больно союзникам помогали. Он всё по-своему переворачивает.

Я говорю:

— Мы это не от радости. Выхода не было. Это, как Брестский мир.

Но ему не втемяшишь.

— Там, — говорит, — вторжение намечалось. Лондон с воздуха молотили. А наши немцам — хлеб и уголь, хлеб и уголь, день за днем, а своему народу по списку давали...

Тут он прав. До войны карточек, конечно, не было, но у нас в Днепропетровске в булочной был список жильцов и мешочки с фамилиями. В мешочки хлеб выдавали, и в списке вычеркивали.

— День за днем, — говорил Козлов. — Пульманá зеленой улицей пускали. А нефть качали прямо, как кровь доноры. Франции уже не было, Лондон в бомбоубежище сидел. А мы — эшелон за эшелон, эшелон за эшелон... — Это он уже просто запел. Я даже перепугался: вдруг у него припадок начнется.

— Враки, — ответил ему. — Ну, помогали немного. Но ведь это ради мировой революции. И потом передышка нам нужна была. К войне подготовиться.

— И подготовились? — спросил Козлов. Голос был ехидный, так бы и закатил по уху...

— У англичан, Валерка, на твою революцию мало надежды. Они пока без нее обходятся.

— Все равно, — говорю, — они подлецы. Капиталисты. Три шкуры с рабочего класса дерут.

— Это точно, — отвечает Павел Ильич. — Про шкуры — это ты правильно сказал. Но, может, у их трудящихся шкур, как костюмов. Три отдашь, а еще у себя для будней и для уикэнда останется. Вообще ты, Валерка, со мной не спорь. Рот заткни и больше ушами думай.

— Всё равно не люблю капиталистов, — говорю. — Гады они. Гитлера на нас натравили.

— Не спорю, — отвечает Козлов. — Только почему он на них сначала напал?

— Хватит поливать, — злюсь.

Это был наш разговор в январе перед его отправкой к Кащенко. Он полечиться немного решил. Говорил: отдохнуть хочу. Сидели мы в пустой комнатке совхозного барака. Света не было. Жуть брала: комната холодная, мебели никакой, только две пустые койки без матрасов и два мешка картошки — мой и его. Хотелось мне скорей в Москву. Ну, его, психа, с его баландой. А он развалился в шинельке и в кубанке на кровати сетке, сапоги в спинку упер и поет:

— Ты, Валерий Иванович, буржуев за людей не считаешь. А зря, между прочим.

— Ничего не зря...

— А ты сам вроде буржуя.

— Вы что — опупели?

— Ай — нет? А кто в отдельном вагоне приехал, как все равно главнокомандующий?

Вот, сволочь! Ему чего расскажешь, а он похитрому вывернет.

— Да какой же вагон? Там тиглей полно было. Я на соломе спал.

— Возможно. А кто вагон прислал? Адмирал? Лаптежник-то за своим сопляком, небось, вагона послать бы не смог? А?!

— Да какая ж тут прибавочная стоимость?! — кричу. Я тоже не пальцем деланный, кой-чего кумекаю. — Какая тут прибыль?

— Да, — соглашается. — Прибыли нету. И плохо, что нету. Была бы — вози на здоровье, не жалко. А без прибыли — одно разорение. Можно так всю страну растрясти, если каждому оболтусу

пульман подавать. Вот так, — говорит. — А ты готов перестрелять всех буржуев. Кто бы тогда тебя в Москву доставил?

— Не тревожьтесь, — говорю. — Не ваша забота. Сам бы дошел. Вам бы всё цепляться. И то плохо, и это дерьмо. Что вообще по-вашему хорошего есть?

— Жить хорошо, Валерка, — вздохнул он. — С умным человеком покалякать. Женщину любить стоящую...

Сейчас я вспомнил про Светку и сплюнул даже, а тогда слушал, не спорил. Знал, что его до войны жена бросила, а потом с ребенком под бомбежкой погибла.

— Женщина — это хорошо, — повторил он. — Ты еще, Валерий Иванович, с девками не балуешься?

— Нет.

— И зря. Тебе уже пора. А то — злой. Буржуев всех перестрелять собираешься. Поляков не жалеешь.

Это мы раньше о Варшаве спорили.

— Поляков жалею, — сказал я. — Только не эмигрантских.

— А которых в Варшаве танками давили?

— Но управляли из Лондона... Там Армия Крайова была. Займи она Варшаву, опять бы панская Польша получилась.

— Ну и политик! — скривился Козлов. — Значит, людей не жалеешь?

— Смотря каких, — говорю. — Эта Армия Крайова — вроде Колчака или атамана Григорьева. Когда немцы Григорьева били, кто его жалел?

— Да, складно получается. А немцы Варшаву сожгли.

— Сталинград тоже разрушен, — сказал я. — И вообще врагам не помогают. Что, лучше, если б в Польше началась гражданская война? Врагам не помогают, — повторил я. Мне понравилась формулировка.

— Всё ясно, — сказал Козлов.

Я опять отвлекся. Вспоминал про праздник, а наткнулся на этого уника. Как Актер в «На дне», он мне песню испортил. Я уже перешел Ваганьковский мост — доски на нем были старые, в щели виднелись железнодорожные пути — и мимо рынка доплелся до нашего дома. Старичка будить не хотелось. Я перемахнул забор, отпер дверь, сходу, рук не споласкивая, взломал банку тушенки и начал наворачивать, заедая всю дрянь дня — смерть Анастасии, попов, Козлова со Светкой, страх экзаменов, мамашину истерику, вранье про деньги и прощание у аэропорта. О Ритке натошак мечтать не хотелось.

13

Я стоял в нашей кухоньке под большим абажуром — метра полтора в диаметре — изделие одной чудачки-баптистки. Плоская сетка, на ней вышиты цветы, а по краю — свисает бахрома. Всё это изрядно покрыто пылью.

Алюминиевой ложкой я выгребал из банки куски мяса и жира. Вкуснятина была невероятная. Правда, хлеба оставалось не густо. Еще утром вперед забрал. Можно было, конечно, вывалить это добро на сковороду, но не хотелось возиться с дровами. А с электроплиткой у нас фокус учудили.

Ставят какой-то дроссель: лампочку выдерживает, а плитку — ни в какую! Утром перегорел. Но к вечеру мать, видно, задобрила завхоза и свет включили, но с дросселем или без — забыл спросить.

Я стоял у плиты и блаженно жевал. Дверь была настежь, и звезды над штабелями институтских дров были совсем рядом — как абажур, но не пыльные, а прохладные, чистые. Ни черта в мире не было страшно. Здоров, тушенку во как наворачиваю. Война кончилась и можно вправду не думать про Днепропетровск. Завтра возьму напишу Берте. И отцу напишу — но, конечно, без просьб. Как об этом попросишь? Если бы Марго меня полюбила, а отец бы сказал — Брось... — стал бы я слушать? Нельзя человеку в жизнь лезть, пока сам не пригласит. И мать должна смириться, а не тащить его на лебедке, как студер из канавы. Хотя вот я хожу вокруг Марго, а у нас ведь с ней ни детей, ни воспоминаний.

— Ты что, уже дома? — вспугнул меня старик-сморчок, вырастая, как гном, на пороге. — Опять через ворота лазишь? Попутаю — участковому заявлю. Вот, гость тебе...

За ним на крыльце стоял парень, низенький, чернявый, с кучей золота на погонах.

— Гриня! — крикнул я. — Гриня, асс!

— Не ты один — Чкалов! — засмеялся он, хватая меня «нельсоном».

— Тише, чума, ведро свалишь!

— Чтoб больше через забор не прыгал, — сказал старик.

— Я у него сидел, — кивнул Гришка Выстрел. — Ты что, с девочкой гулял?

— Нет. Мать провожал. Она в Берлин улете-
ла. Можешь у меня жить.

— Да, давно не виделись, — сказал он весело,
без наигрыша. Он всегда был ничего парнем, хоть
и отличником.

— Ну и длинный ты стал, Чкалов! — присви-
стнул Гриня. — С девочками гуляешь?

— Не очень.

— Смотри, здорово растешь, туберкулез схва-
тишь.

— Лишь бы не другое!.. — подмигнул я. Не
один, мол, ты, Гриня, опытный, хоть годом старше
и старшина, — но старшина, между прочим, липо-
вый, вроде моей мамыши.

— Ну как, с золотой медалью?

— Ага, — кивнул он. — А ты?

— Ну, откуда? У меня это страдание только
через десять дней.

— У тебя — переекзаменовка?

— Да нет. Я на подготовительных. Долго объ-
яснять. В общем тот же аттестат, но только экс-
терном.

— Ты всегда мудрил, — сказал Гришка. —
Ну, и хлев у тебя. Хоть бы подметал, сталинский
сокол.

— Сокол — это теперь ты. А я между землей
и небом. Понимаешь, — ни бум-бум. Особенно ор-
ганику и электричество с оптикой.

— Ты же когда-то приемники собирал.

— Да когда это было! И то больше отец... Но
все равно ничего не ловило. С тех пор я сильно
разболтался.

— Из-за девочек?

— Из-за всего. Шамать будешь?

Выстрел заглянул в полупустую банку, вздохнул и повторил:

— Ну и сарай у тебя! Дай хоть умыться.

Он снял китель, стащил майку и ждал над тазом, пока ему полью, такой загорелый, широкогрудый, с бицепсами, хоть сейчас пролезай под канат ринга. По сравнению с ним я был тюфяк, хоть жил в Москве и спорил с Козловым.

— Ты что, проездом в училище? — спросил сверху.

— Смотря как получится. Мне к двум генералам надо. От них зависит, — замотал он чернявой башкой, затыкая уши пеной. — Дай полотенце.

— А грязнее нет? — спросил, когда кинул ему свое вафельное.

— Пошел знаешь куда! — засмеялся я. Полотенце было только из стирки. Он обстоятельно обтер лицо, спину и руки.

— Куда теперь это? — показал на таз.

— Плесни с крыльца.

— Ну и порядочки у вас...

— Как в авиации. А правда, что в авиации нет порядка, потому что, когда его делили, она в воздухе висела?

— А ну ее... — сказал Гриня. — Я решил тикать...

— С чего?

— А так. Война кончилась, лучше поступлю в институт.

— Чего ж тебя понесло в спецшколу? На форму и паёк. А, товарищ золотарь?

— А ты не смейся. У тебя мамаша главная инженерша...

— Чудак, это тебе старики в проходной напле? Никакая она не главная, это просто название такое. У нее даже подчиненных нет.

— Все равно. «Литер» уж как-нибудь имела и отец с фронта сало слал... А моя — что? Техник. И пахан живет отдельно.

— Тикай, — сказал я. — Мне не жалко. Я ж просто так спросил. У меня отец тоже левый вольт выкинул.

— Ушел?

— Непонятно пока. Женщину на фронте завел и — то ли никак не расплюется, то ли расплевываться не думает. Мать велела послать ультиматум: либо пусть бросает, либо я ему не сын.

— Что ж, правильно, — сказал Гриня. — Я тоже решил своему написать. Если поступлю в институт, пусть возвращается к матери и будет семья.

— Подожди, — сказал я, — ведь они уже лет десять не вместе! У него ж еще до войны родился ребенок?

— Ну и что, — сказал Гриня. — Ребенок ребенком, а к матери пусть возвращается.

Я не стал спорить. Уже совсем рассвело. Надо было или ложиться или дотягивать до утра. Но будильник у нас ненадежный и я боялся проспать кинотеатр.

— Давай подзаправимся, — сказал Грине. — Куча консервов. Литерные. Главная инженерша оставила. Жаль, водку увезли.

— У меня есть, — сказал летчик. Он достал из чемодана запечатанную бутылку и полбуханки ржаного.

— Московская! Дай тебя обниму.

— Брось... Ты что — выпивохой заделался?

— А что? Не все ж такие отличники. А водка — единственное, что не изменит. За твой приезд, институт и вообще чего хочешь!

Я отбил сургуч, налил в чашки, чокнулся и выпил.

— Давай еще, — сказал. — Мировая! Московская из города Днепропетровска.

— Ну и силен ты, Чкалов, — удивился Гриня.

— Не называй меня Чкаловым.

— А я думал: тебе приятно. Ты раньше всё хвалился: я Чкалов, я Валерий. Думал, тебе приятно. Похож ты на Чкалова, как жираф на слона.

— Я Коромыслов. И никем мне больше не быть. Давай лучше выпьем.

Я снова налил. Чашки были для кофе. Грамм сорок вмещалось.

— За тебя, Гринька! Не нужно нам Покрышкина. Выйдет из тебя Туполев! Тьфу... Туполев сидит. Выйдет из тебя Ильюшин, Лавочкин, Петляков, а точнее авиаконструктор Григорий Моисеевич Выстрел.

— Я — Михайлович, и во-вторых, пишушь Выстрелов.

— Прекрасился? Ну, давай за то, чтоб краска не слазила. Не красней, Гриня. Все теперь так. Маркман письмо прислал, а на конверте — Марков.

— Тебе хорошо, — сказал летчик.

— Куда лучше!

— Есть Россия, — сказал он с обидой, — а мы — ее сыновья. Я в синагогу не хожу, в бога ихнего не верю, языка не знаю. Чем я не русский? Живу в России и я ее сын. И ничем не хуже тебя.

— Да я не говорю, что хуже. Ты даже лучше. Просто свинство, что людям приходится менять фамилии. Война кончилась, евреев вон сколько поубивали. Их меньше стало, а антисемитизма больше.

По тому, как удачно вывелось, я понял, что уже малость поднабрался. У меня от водки всего лучше формулируется.

— Ничего, — сказал Гриня. — У Сталина теперь руки дойдут до этого вопроса. Разберется.

— Ну, давай выпьем, чтоб разобрался, — сказал я.

— А что — думаешь, не разберется? Конечно, не просто это. Беспорядок всюду. Ты, вон, не можешь даже в своей конуре прибраться. Как сюда девочку водишь?

— А я ее не вожу. Я с ней по улицам гуляю. Я по одной стороне, она по другой.

— Не любит?

— Нет, — мотнул я башкой, боялся сглазить.

— Давай лучше выпьем.

14

Но мы так и застряли на полбутылке. Этот спецура не умел пить и мне надоело чокаться с его наперстком. Устал я до дьявола; спать хотелось и спина взмокла оттого, что всю ночь не снимал рубашки. В воду хотелось, в речку или под душ.

Уже началось хождение по двору, за стеной в лаборатории заработал мотор, и вдруг, за моей спиной, в тамбурке, грохнуло ведро, — я оглянулся и — Господи! — на порошке стояла Александра Алексеевна.

— Гапа, Гапа! Где Гапа? — затарахтела, как двигатель на малых оборотах.

— Здравствуйте! — Это она сослепу разглядела Гришку. Тот смущенно натягивал китель.

— Моя тетка Александра Алексеевна, — сказал Гришке.

— А Гапа уже ж-ж-уу-уу-жжж! — повернулся к тетке. — Наверно, теперь в Варшаве «каву» пьет.

— Ты же сказал — не улетит. Ты еще говорил — погода... Я не могла вчера. Ночью у Егора был приступ. А тут еще... Вы что, водку пьете?

— Ага. Садитесь. Стопочку с нами, Александра Алексеевна!

Все-таки много во мне трезвону. Как выпью — охота, чтобы все видели: Коромыслов гуляет! А чего ей предлагаю? Она и дома не пьет.

— Я пошла, — говорит тетка, но не уходит, мнетя. Вид у нее неловкий, растерянный и какой-то заодно недобрый.

— Садитесь, — уговариваю.

...чего ей садиться? Говорить нам с ней утром не о чем, особенно при Гришке. Не станешь ведь не выспавшись да при чужом человеке спорить, кто гениальней — Черчилль, Рузвельт, — или еще кто...

И тут мне вдруг в голову хлопнуло:

— Вы же должны были, Александра Алексеевна, сегодня на дежурство... Вы из-за Георгия Никитича не поехали?

— Да, из-за Егора, то есть... Неважно, я еще успею. Я на «эмке». — Вижу, она запинается. Чуть было не испугался: не умер ли старик... Она бы сама сказала. Все-таки отец мужа ее. Но чего она

прискакала ни свет, ни заря? Всегда такая. То мать ее в гости зовет — не докличется, а то вдруг тетка заявится да с ночевкой в самый неподходящий момент, когда у нас кто-нибудь из приезжих, и ни тпру, ни ну — назад не подашься: комендантский час.

— А как Егор Никитич? — спрашиваю.

— Теперь уже лучше. А ночью совсем плохо было.

— А как же там без вас Павла Ильича в грузовик посадят? Шофера, наверно, сменили.

— Ах, вечно твой Павел Ильич! Павел Ильич!.. Свет клином на Павле Ильиче сошелся. Тоже мне рыцарь Печального образа! — крикнула тетка и, не попрощавшись, снова грохнула ведром.

— У вас тут все такие? — спросил Гришка.

— Ладно, — отмахнулся я и нагнал ее во дворе.

— Тетя Саня, что случилось?

— Ничего, — буркнула, задыхаясь. И вдруг следом, как выпалит:

— Не ходите к нам, Валерий...

Я даже растерялся. Стоим у подъезда института, народ уже на работу тащится, а тут выясняй отношения.

— Хорошо, — бормочу, — только Шекспира я не брал.

— Причем тут Шекспир, — кривится тетка. — Шекспир... Пропади они пропадом сто Шекспиров! Не ходи к нам, Валерий. Покамест не ходи... — бормочет она, но не зло, а скорее просит.

— Не извиняйтесь — не приду.

— Не надо обижаться, — тянет Александра. — Я сама буду к тебе приезжать. И на огород не

езди. Там всё без тебя сделают. Ну, не обижайся, пожалуйста.

— А что же все-таки?..

— Не надо спрашивать, Валерий. Я сама буду сюда приезжать.

— Можете не приезжать.

Я уже понял, что дело не в английском классике, но давлю на педаль — вдруг проговорится.

— Можете не утруждаться. И я не приеду, чтобы сберечь вашу библиотеку.

— Ох, Боже мой, причем тут библиотека?! Я же знаю, что ты честный юноша. Ты очень неглупый юноша, Валерий...

Смех меня разбирает от этого «юноши».

— Ну, пойми, Валерий, я не могу сказать...

— Не говорите. Сам знаю.

— Ничего ты не знаешь, — злится она. — Мне надо идти, Валерий. «Эмка» за воротами ждет.

— Это вместо студера теперь?

— Да. Пока расследуют...

— И Павел Ильич там?

— Дался тебе этот Павел Ильич! — вдруг как крикнет она. — Павел Ильич! Павел Ильич! Всюду Павел Ильич! Нет там твоего Павла Ильича!

— А чего вы на него злитесь?

— Ничего... — отворачивается. — Не приезжай к нам, Валерий. Очень-очень прошу.

— Не буду. Перед Анастасией Никитичной я виноват, конечно... Такое чувство, будто сам за баранкой сидел...

— Какие глупости говоришь, Валерий! Ты же взрослый. Пойми, ну, не могу я тебе всего сказать. Ты же умный, славный парень.

Хвалит меня, а голос у нее такой, как вчера был у матери. Словно она вся на нем висит, как на телеграфном проводе. Словно сейчас он перервется и она сверзится на землю.

— У вас все такие психовые? — снова спросил Выстрел, когда я вернулся в конюшню. Он лежал на материнском топчане, пристроив ноги в казенных бутсах на шерстяной покрывке. Оккупант! Я искал зеркало и помазок. У меня всегда все Бог знает где распахано.

— Ты бы разделся, — сказал летчику.

— Мысль, — кивнул Выстрел... — До часа могу подавить. Поставь будильник.

— Возьми под кроватью. Только он еле ходит.

— Ну и ну...

— Вот простыни, — сказал я, прикрывая дверцу шкафа. — Извини, что рваные.

Целые я на всякий случай приберег.

— Спасибо, — сказал он, расшнуровывая свои казенки.

— Ты что, уходишь?

— Дел по горло.

Я намыливал щеки. Воду из-за этого проклятого электричества не на чем было нагреть.

— Спать не ложаешься? Ну, силен! А мне восемь положенных — вот как нужны, — он резанул ладонью по шее.

— Ничего, — зевнул я, выбирая лезвие поострей. — В душевую схожу — спячку смоем.

— Погоди. Сядь. Мы ж даже не потолковали. Ну, чего решил? Институт выбрал?

— Без меня выбрали. Сдам на аттестат — попаду куда-нибудь на ракеты или на точную механику. Мне — один черт.

— Ты же к алгебре способный.

— Жрать я способный. — Ножик был тупой, щеки драло. — Мне, Гриня, ничего неохота. С одной девочкой по улице ходить охота. Как увижу ее — дурею. А больше ничего.

— Ну, девочки — это еще не вся жизнь. А ее делать надо.

— Знаю. С товарища Дзержинского.

— Нет, — тупое лезвие подбородок никак не брало — нехватало еще порезаться.

— Ну, а вдруг девочка уйдет от тебя к какой-нибудь знаменитости? Что тогда?

— Повешусь, — ответил я, оглядывая свою худую морду.

— Нет, всерьез...

— А всерьез, Гриня, на всякую знаменитость еще два миллиона знаменитостей познаменителей. Что ж мне всю жизнь надрываться — бегать на перегонки?.. Плевать мы хотим на знаменитостей, — сказал я своему соскобленному подбородку.

— Не храбрись. Seriously, кроме шуток — кем хочешь стать?

— Не знаю. Мне все равно. Только бы никого ни о чем не упрасивать и чтоб не кричали. Чтоб вытягиваться ни перед кем не надо было. Я терпеть не могу таких, перед кем нужно плечи расправлять, в струнку вытягиваться.

— Да, в армии... — вздохнул летчик.

— В армии ничего, — сказал я. — Там, понимаешь, всё ясно-понятно. На плечах у каждого сказано, кто такой. А на гражданке вроде все равны, но мать наркома по имени-отчеству, а он ей: — Здравсьте, товарищ Антонова.

— Не может же он всех запомнить!..

— Верно. Но я бы и наркомов по фамилии называл. Это, ясно, мелочь, а все-таки справедливо. И еще на гражданке что плохо: пока куда-нибудь не выбьешься — всем улыбайся, кланяйся, слóва поперек не бухни. В армии — там понятно. Запрещено — и всё.

— Про армию ты брось, — сказал Гриня. — А пробиваться — так и раньше тяжело было. Подмастерьев как били!..

— Верно, — согласился я. — Только ведь революцию сделали, чтоб не били.

— И не бьют.

— На воле.

Я разрезал пополам кусок мыла, оглядел в зеркале ворот рубахи и на всякий случай надел другую, отцовскую. Она села от стирки и мне была в самый раз.

— Привет, Выстрелов! — сказал летчику. — Ключ спрячешь на крыльце, там одна доска приподымается. Желаю убедить начальство. Рубай консерв.

— Погоди, — обиделся он. — Посиди хоть минуту. Слушай, где у вас тут «Метрополь»?

— В центре. А что? Там твои воздушные генералы не живут. Там всякие англичане.

— А это тот «Метрополь»?

— Какой тот? У нас один.

— Ну, тот, где эти самые девочки прохаживаются. Ловят желающих за полторы сотни.

Вот те на! Я не слышал ни про каких девчонок и ни про какой «Метрополь». Но на всякий случай спросил нейтральное:

— А что, подцепить хочешь?

— Нет, — мотнул он башкой. — Просто Гербер откуда-то узнал, что там крутится Зойка Дубинская. Помнишь такую? Она, говорит, как вышла из детдома, «простигосподи» стала.

Еще бы мне не помнить Зойку! Я ведь сидел с ней на одной парте, а после уроков стоял на крыше нашего сарая и глядел в морской бинокль, как она гуляет со своими девчонками в саду железнодорожников. Здорово было навести на них стекла — девчонки сразу прыгали ко мне — Зойка в красном пальто и в таком же берете, Женька в синем и еще одна девчонка с ними была — ни пальто, ни имени не помню. Они втроем бродили вокруг танцверанды или сидели на скамейке и о чем-то рассуждали. Смотреть на них через стекла было чудно! Рты жуют воздух, а слов не слышно. Все равно как в клубном кино, когда звук пропадает. У этих малявок вечно были какие-то сложности. Они то мирились, то ссорились. Иногда Зойка приходила в сад одна. Однажды я даже видел, как шмыгала носом и растирала кулаком слезы. Платок, наверное, дома забыла. Когда она медленно, словно с неохотой, шла к выходу в своем темно-красном пальто, у меня было чувство, что день кончился. Иногда Зойка в сад не приходила. Тогда я хватал велосипед и крутился по ее улице Ленина. Наверно, поэтому Ленька Гербер догадался, что я влюблен. Хотя не один я был такой. Вот и Гриню,

оказывается, она зацепила. Но Гриня всегда был малым ничего, а Ленька, хоть и красавец, а сволочь страшная. Однажды на перемене (Господи, ведь это было во втором классе!) он стал хвастать, что Зойка разрешает ему лазить ей в трусы. Я рассвирепел и мы покатались по полу. Здорово он мне тогда наkostenял.

— Очекурел твой Гербер, — сказал я Гришке. — С актрисками путается, вот и шарики за ролики зашли. Нету в Москве такого...

Но полной уверенности у меня не было. Черт его знает, вокруг этого кино или точнее — гостиницы — девчонок прорва. Они там прохаживаются по две, по три, заговаривают с военными, со штатскими в костюмчиках, спрашивают билеты, предлагают, а потом оказывается не в кино — а в Центральные бани! — и хохочут, заливаются, как от щекотки, переругиваются, задирают прохожих. Словом, самые обыкновенные девчонки, только побойчей и одеты получше, чем у нас на Пресне. Губы у них больше накрашены.

— Нету в Москве этого... — повторил я. — А ты вправду страдаешь по четырехглазой?

Зойка в конце второго класса надела очки, с прямоугольными стеклами без оправы. Очень красивые очки. Наверно, импортные. Потом говорили, что ее отец, директор банка, был иностранный шпион.

— Желаю успеха! — сказал я Грине.

В душевой на Пресненском сквере было пусто. Старуха продала мне талончик, сама же его надор-

вала и, пока я складывал одежду на лавку, копошилась рядом, подбирала с решеток мокрые газеты. На этих банщиц уже внимания не обращаешь.

Вода меня сразу обняла, словно всего завернула в мокрую простыню. И вправду сняла сонливость. Можно было начинать день по-новой. Он был ничего, еще не жаркий. Самая футбольная погода. И как раз завтра — ЦДКА — «Динамо».

Я вскочил в 22-й трамвай — он теперь сворачивает с Никитских на бульвары — и в доме, где газета «Труд», выкупил по литературе шесть кило хлеба. Получилось ровно четыре буханки. Можно было, конечно, взять муки, но с ней возни не оберешься. Оладьи жарить — зачитаешься — поджарят. Да и масла на них надо. А хлеб — это живые деньги. Я тут же, не раздумывая, отдал все четыре одному инвалиду — по сотне штука — и он отвалил на костылях из магазина. Наверно, прямо на Тишинский.

Четыре, да материнских четыре — восемь. Я свернул за угол. В «Центральном» у кассы уже была очередь. Я взял два билета и времени все еще оставалось навалом. Почистил сапоги, а время не двигалось. От нечего делать спустился мимо коммерческого Елисеевского вниз и забрел к букинисту, который рядом с коктейль-холлом. Там в самом углу под стеклом лежал третий том Блока. Стоил целых восемьдесят тугриков. Стихи были чудные. Я чуть пол-улицы не сшиб, когда читал их на обратном пути. А время все не уменьшалось. Было только тридцать пять десятого, когда я встал у киношной витрины. Билеты, конечно, уже кончились. Я читал про «узкие ботинки» и «хладные меха», а меня отрывали:

— Лишнего нет?

— Билетика не будет?

— Вдруг останется? — спросила одна девчонка, так, лет двадцати, интеллигентная, наверно студентка. Из таких, что толпятся около консерватории. Но эта была посмазливей.

— Нет, — сказал я.

— А если не придет ваша барышня?

— Тогда отдам два.

— О, так серьезно?! — взметнула она бровями. Они у нее были густые и сросшиеся. И глаза были большие серые с синими белками и жутко длинными ресницами. Почему-то поначалу она мне не показалась такой красивой. А теперь я чувствовал — еще немного и влюблюсь.

— Что, у вас Блок? — спросила она. — Даже третий том? Хотите погадаю.

— Давайте. У Жуковского получилось «Познал я глас иных желаний».

— Ах, вы театрал. Это в булгаковских «Последних днях». Не богатая пьеса. Вам действительно МХАТ нравится?

— А то нет!

— Старье, — сморщилась девчонка, но, похоже, не задавалась. Вышло это у нее очень обыкновенно. — Ну, называйте страницу.

— Сто пятьдесят четвертая, восьмая строка.

— Снизу? Вы опасный человек. Вот читайте, — она отдала ногтем строчку. Ногти были аккуратно острижены, но без лака. Вышло: «Стала слезы платком вытирать».

— И вам попробовать? — спросил я.

— Валяйте, — засмеялась она. Была очень естественная, совершенно простая девчонка. — Ну,

скажем, сто девяностая, четвертая строка, пусть будет сверху.

Вышло: «Красивая и молодая».

— Что ж, в самую точку, — выпалил я.

— Спасибо, — сочинила она гримаску, но вполне милую. — Приятно поговорить с воспитанным человеком. Но все-таки из МХАТа песок сыпется.

И тут я увидел Марго. Она шла уже мимо бара № 4 в платье синем, как блоковская обложка. В руках держала планшетку.

— Плакали ваши билеты, — сказал я «молодой и красивой».

— Жалко, — кивнула она.

— Мне тоже, — покраснел я. Очень здорово было с ней разговаривать. Не надо было подлаживаться и черт-те чего из себя строить. Кто его знает, может, если б Марго не явилась, я бы второго билета не продал.

Ритка переходила улицу. Я пошел навстречу.

— Давно ждешь? — спросила она. — Что это у тебя?

— Блок. Тебе на память.

— Брось. Ты мне уже дарил Есенина. А его кто-то увел.

— Бери, — сказал я. — Классный поэт.

— Вот видишь, тебе нравится, а даришь.

— Потому и дарю. А что думаешь: бери, Боже, что нам не гоже?..

— Чудной ты парень, — сказала Марго. — Но очень милый. Спасибо. Никому не буду давать, буду читать на ночь и прятать под подушку. — Она взяла меня под руку и мы вошли в предбанник, где кассы. Там я снова увидел свою театралку.

— Желаю удачи, — кивнул ей.

Она улыбнулась.

— Кто такая? — спросила Марго.

— Твоя врагиня. Говорит, Ливанова и весь МХАТ пора на мыло.

— У, мымра! — прошипела Ритка.

Я смолчал про гадание. Наверняка бы сказала, что девчонка нарочно выучила страницу. И Ливанова зря приплел. Он стоящий актер. Ноздрев у него лучше, чем в книжке.

Зал был полон. Сначала показали кинохронику, разбитый Берлин и возвращение товарняков с солдатами. Но я никак не мог настроиться. Ритка была рядом и хотелось взять ее за руку. Нужно было ждать фильма. Все равно за дверьми всегда куча опоздавших и для них зажигают свет.

Наконец, они расселись и пустили эту муровую картину с Дурбин. Хорошо было в темноте. Смелости больше. Темнота, ночь — они словно сами тебя подталкивают, тянут приткнуться к кому-нибудь. А такое кино, когда глядеть неинтересно, это вроде ночи. И плевать, что вокруг сидят люди. Твое кресло, все равно как отдельная квартира. Ритка руки не отняла. Я держал ее руку и прямо сжирал ее в профиль. На экран глядеть не хотелось.

— Отвернись, — шепнула Марго, — мешаешь...

Но ее твердое, круглое, прохладное плечо вдавилось мне в ключицу. Когда этот тощий, как глист, композитор вышел в гостиную и стал крутить приемник (он думал, что поет не Дурбин, а какая-то певица), Риткина слеза плюхнулась на тыльник моей ладони. Грудь у Ритки вздымалась

и вообще вся Ритка была какая-то своя. Меня почему-то совсем не раздражало, что ей нравится такая ерунда. А ерунда была ужасающая. Какой же он, простите меня, композитор, если живой голос от радио не отличит? Или у них приемники экстракласса?

— Ты отвлекаешь, — шепнула Ритка и прижала свою щеку к моей. — Вот. Не будешь вертеться.

Щека у нее была такая же прохладная, как плечо.

— Обнимаются, — зафыркала какая-то старуха.

Но Ритка и ухом не повела, только поменяла руку на коленях и обняла меня. Так мы просидели до самого конца. В каждой картине, даже в хорошей, ясно, когда она закругляется. Здесь всё кончилось запросто. Композитор потерял голову из-за этой Эн, притащился на ее концерт, а она соскочила со сцены, обняла его — и тут затрубила музыка и зажегся свет.

Захлопали стулья. Стали напирать к выходу. Многим эта белиберда понравилась. Гудели:

— Здорово поет!

— Особенно цыганские.

— Да, жизнь...

— Ты любимая, — шепнул я Ритке.

Она оттопыренным пальцем наддала мне по носу.

Нэ пой-ехать нынтше к Ял-ру,
Разогрэт шампанским кров... —

пропела Ритка, когда мы вышли на площадь. Го-

лос у нее хрипловатый и слух вроде моего, но мне все равно нравилось.

— Мне цветов надо, — сказала она.

— Давай куплю! — обрадовался я. Думал, требует за пение.

— Не гусарь! Мне для дела надо. У меня, знаешь, сколько денег!

— У меня тоже есть, — сказал я. — Восемь больших.

— Ого! Но у меня все равно больше. У меня десять и еще пятьдесят рублей отдельно — на цветы.

— Буржуйка.

— Конечно. А ты думал? Мне в Боткинскую надо, к Таисье.

Таисья была завучем наших курсов. Я не знал, что она в больнице.

— Поедешь со мной? — спросила Ритка.

— А то нет!

Она подошла к цветочному ларьку, расстегнула планшетку, достала несколько червонцев и затолкнула туда Блока. Денег, и вправду, у нее была куча — высовывались из голубого конверта.

— Одних гвоздик, — сказала она цветочнице.

В троллейбусе было просторно. Мы устроились сзади. Сидение было так продавлено, что риткины колени почти доставали ей до груди. Что ж, Ритка длинноногая, да и каблук в одиннадцать сантиметров. На свету она была еще красивей. Я жалел, что нет у меня никаких талантов. А то бы вылепил ее, а еще лучше — высек из камня.

— Ну что, улетела мамаша? — спросила Ритка.

— Угу.

— Рад?

— Факт!

— А ты жестокий. — Она сморщила брови и тряхнула головой, словно откидывала волосы, хотя они у нее забраны в узел. — Жестокий... Только кажешься милым. А на самом деле злющий. Ты что, совсем ее не любишь?

— Почему? Люблю. Но вообще у меня их две. Мать родила, Берта молоком кормила и пятнадцать лет воспитывала.

— Берта?.. Она что — еврейка?

— Ага. А ты их не любишь?

— Да нет, — отмахнулась Ритка. — Люди, как люди. Только уж очень о себе беспокоятся. И устраиваться тики-так умеют. Но, конечно, попадают-ся симпатичные.

— Значит, все-таки не любишь?

— С чего ты взял? Просто много среди них спекулянтов. И чего они так во всякие ОРСы, вообще в торговлю лезут. Как войдешь в магазин — особенно в комиссионный — непременно Исак сидит.

Меня резанул этот Исак. Но с торговлей она все-таки права. В комиссионных магазинах евреев много.

— Да, — сказал я. — Вот в торговлю их вправду можно было бы не пускать. А то в торговле их — навалом, а в МИМО — не берут.

— Ну, они и туда пробираются, — скривилась Ритка. — Только какие из них дипломаты. Дипломаты — это джентльмены, а евреи — лавочники.

— Литвинов еврей, — сказал я. Все-таки меня задевал ее антисемитизм.

— Врешь!

— Честное слово. Его прогнали, когда заключили с Гитлером договор. Наверно, Гитлер не хотел здороваться с евреем. По-моему, зря прогнали.

— Отец говорил, что Литвинов был против договора с Гитлером, — сказала Ритка.

Риткин отец сам вроде дипломата, чего-то делает во Внешторге.

— Ну да, против! Сказанула! Сталин посоветовал, стал бы «за». Как миленький подписал бы. А его сняли и получилось, что кланяемся Гитлеру. Надо было нарочно назначить самого-рассамого, с носом подлиннее и что по-русски еле говорил, к каждому слову прибавлял «азохенвей», «наверное», «чтоб я так жил».

— Ну, поехало, — сказала Ритка. — Из тебя тоже дипломата не выйдет.

— А я и не стремлюсь. А что... тоже не джентльмен?

— Какой там джентльмен? Рта не закрываешь и потом тебя всего насквозь и еще на три метра вглубь видно. Знаешь анекдот про дипломата и девушку?

Я покраснел.

— Что проглотил язык? — спросила Ритка.

Мне в самом деле было стыдно. Какого черта треплюсь о каком-то Литвинове, когда рядом живая девчонка.

— Не смущайся. Ты вполне милый, — сказала Марго. — Не всем же быть дипломатами.

— Но ты будешь...

— Была бы. Только девушек туда неохотно берут. И в конце-концов Институт Внешней Торговли не хуже. Выйду замуж за дипломата и буду работать в Торгпредстве.

— А как же Ливанов?

— А Борису Николаевичу буду посылать письма и красивые галстуки. И тебе тоже галстуки.

— Я их не ношу, горло душат.

— А ты не расстраивайся, — сказала она. — Я ведь еще не скоро уеду. Еще надоем тебе. А то ты сразу куксишься и мечтать мешаешь.

Мы вышли, не доезжая «Динамо». Ну и денек был! Завтра бы такой. И чтобы милиционеров под «ноль» приложили. Хотя мне и так везет! Денег полные карманы, и Марго рядом. Внутри, правда, поскребывало: как экзамены? А вдруг не сдам? Ну, а сдам? Что дальше? Ракеты и всякая точная ерундистика? Но я эти мысли заталкивал куда-нибудь подальше, как дырку в носке заталкиваешь в башмак. Чего отравлять день?

— Не грусти, — сказала Ритка, словно подслушивала меня. — Хочешь, с Таисьей поговорю. Она тебя отпустит после аттестата. Только сдай получше.

— Не знаю. Мне все равно.

— Всё — все равно?

— Угу. Нет у меня никакого призвания.

— Ну, хочешь, с отцом поговорю. Он тебя сунет во Внешторг. Будем учиться вместе. Хочешь?

— С тобой — хоть в Пищевой. Только торгпред из меня еще хуже, чем дипломат. Я всегда, если чего продаю, за полцены спускаю.

— Чудак, — сказала Ритка. — Торгпред — это совсем не продавать. Это другое. За границей будешь жить. Тебе что, не хочется за границу?

— Нет, — сказал я. — Языков не знаю, а знал бы — еще хуже. Всякие англичане будут лезть с

подковырками и думай, как бы чего лишнего не ляпнуть.

— А ты не думай лишнего. Думай о работе. Тебе скажут, что говорить, чего не говорить. Зато, знаешь, как здорово за границей. Красиво. Одеться можно.

— Ты и так хорошо одета.

— Ну, да — хорошо! — фыркнула Ритка.

Мы шли мимо стадиона Пионеров, там, где я шел ночью. Асфальт уже нагрелся, стуку не было в помине. Стало жарко, душно даже и никакого ветра. Ночью во сто раз лучше. Но зато сейчас со мной была Ритка, а она сама, как сто ночей и сто ветров. Может, вправду стоило пойти с ней во Внешторг?

— Чудак, — сказала она. — Ты должен думать о будущем. Знаешь английскую поговорку: женщина должна быть с прошлым, а мужчина — с будущим.

И она повторила по-английски что-то вроде:

— Мэнмаст хэвпаст энд уимын фьючер.

Не побожусь, что это был не набор слов.

Я снова покраснел. За какие-нибудь десять минут она второй раз меня подлавливала. Словно ждала, что спрошу ее: а она, мол, как...? Но не мое это было дело. Генка Вячин, тот вечно рассуждает: такая-то, мол, девушка честная. А такая — уже нечестная. Я сперва даже не понял, думал он говорит про воровство.

— Вот так-то, Коромыслов! — показала мне Ритка язык и стала, как вчера, кататься на коньках, метр влево, метр вправо, два влево, вправо, словно тротуар для нее одной! Мировая была дев-

чонка. То есть... но, какое мне до этого дело! Всё равно она себя вела, как девчонка.

— А у тебя никакого будущего! Никакого! — почти пела Марго. — Никакого, никакого! Ну, чем бы ты хотел заниматься? Чем? А я поеду за границу. Я тебя не возьму, раз ты такой ханурик. А ты будешь ракетам хвосты привязывать. Часики в мины впаивать. Сменный инженер Коромыслов. Мастер смены Валерий Иванович... Ну, ну, не злись. Я шучу, — она подъехала ко мне и пошла в ногу. — Шучу. Ты способный. Ты будешь лауреатом первой степени. Тебя пригласят однажды на банкет в какое-нибудь посольство или Кремль, и там ты увидишь меня. Я подойду и скажу: «Здравствуй, Коромыслов!» И мы так хорошо-хорошо поговорим. Правда, здорово получится?

— Не знаю.

— Не знаю, не знаю, — передразнила она. — Ничего ты не знаешь. Скучно с тобой. Мечтать — и то не умеешь. Чего ты вообще хочешь?

— С тобой всюду ходить, — сказал я. Наверно, вид у меня был охламонский.

— Ну да?..

— Честное слово!

— Только ходить?

— Не только...

— И сидеть тоже?

— Ага.

Но я уже чуял подвох.

— И обедать? Завтракать и обедать?

— Угу...

— И просыпаться?.. А, Коромыслов?.. И просыпаться?

— Да, и просыпаться, — насупился, подбородком уперся себе в грудь, чтобы не глядеть в ее такие большие-большие, на солнце совершенно голубые, с виду абсолютно невинные глаза.

— Ого! Значит ты на мне жениться хочешь?

— Хочу! — соврал я.

— Ну вот. Хочешь жениться, а будущего у тебя никакого. А? Или я у тебя в обносках ходить буду? Ну, ладно... Шучу. Не смущайся. Но серьезно, есть у тебя хоть одно мужское желание — не только на мне жениться?

— Есть, — сказал. — Одного типа хочу переспорить. Он меня всегда в угол загоняет.

— Кто такой?

— Да есть один. Ты его не знаешь... (Чуть не проговорился, что это светкин сосед, муж почти. Тогда бы она все из меня выкачала!). — Один агроном. Даже не агроном, скорее социолог. Жутко грамотный мужик. Сто языков знает.

— Так чего ж агроном?

— Там какая-то история, — сказал я. — Он немного психоватый после московского ополчения. Но не в том дело. Просто он всегда меня забивает. Я пяти минут с ним в споре не держусь.

— Вечно ты со всякими психами водишься, — зевнула Ритка. — Присядь куда-нибудь на лавочку.

Мы уже прошли больничные ворота. Между корпусами и по асфальту гуляли мужики и тетki в синих халатах.

— Вот почитай стишки, — сказала Ритка, вытаскивая из планшетки Блока. — И не сердись, если чуть задержусь. Я ведь по делу.

— Ничего, подожду, — сказал я.

(Окончание следует)

Два стихотворения

Странник

Из цикла «О времени»

ТАЙНА ВРЕМЕНИ

Непостыдная тайна времени
Не по времени велика:
Тайна бремени, тайна семени,
Чудотворной любви рука.

Мы пред тайною бездны счастливы,
Нам дано лишь смотреть назад.
И, крутясь, как щепка пропащая,
Низвергаемся в водопад.

И кончается время бремени,
Тайна семени, тайна времени.

УХОДИТ ВРЕМЯ

Не хватает нам, не хватает
Этих дней, и откуда взять?
Рыба воздух сухой глотает,
Ей не хочется умирать.

И, когда сойдут эти хрипы
В человеческие уста,

Зацветет белизною липа,
Приготовленная для креста.

Время тает и умирает,
И откуда его нам взять?
Возникает оно и тает,
И приходит к земле опять.

Скоро время совсем устанет,
И поэзии красота
Будет время вдыхать устами
В умирающие уста.

Александр С о л ж е н и ц ы н

«ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛИЗМ —
ПЕРЕДОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ»

*Из полного варианта романа «В круге первом»
(96 глав)*

Г л а в а 88

Понедельник был не на одной шарашке Маврино, но и по всему Советскому Союзу установленный Центральным Комитетом партии день политучебы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье (по неотменному желанию Вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты).

Историю Партии Нового Типа прорабатывали очень углубленно. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина-Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзовизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые пол-

ста лет назад (и с тех пор давно измененные), и разницу между старой «Искрой» и новой «Искрой», и шаг вперед, и два шага назад, и кровавое воскресенье, — но тут доходило до знаменитой Четвертой Главы «Краткого Курса», излагавшей философские основы коммунистической идеологии — и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения (глава написана была самим Лучшим Учеником и Другом Ленина), то единственные причины были: трудности диалектического мышления для отсталых темных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения Четвертой Главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заем, — и политучебы прекращались.

Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание Великого Кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к ее недостаткам и движущим противоречиям, — приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что Четвертая Глава недокончена, — и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом.

Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Маврино на тему «Диалектический материализм — передовое мировоззрение» тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать Четвертую Главу, коснуться ослепительно-гениального произведения Ленина «Материализм и эмпириокрити-

цизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, мавринский партийный и комсомольский кружки на столбовую дорогу современности: работа и борьба нашей партии в период первой империалистической войны и подготовки Февральской революции.

И еще то привлекало мавринских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты (кто написал — оставалось на следующий понедельник, кому перекачивать — можно было перекачать и позже). И еще то манило к этой лекции, что читал ее не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. (Еще одного обстоятельства о лекторе Степанов не знал и сам: Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова — не того Мамулова из секретариата Бери, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо-отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия).

Но несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность ее, мавринские вольняшки тянулись на нее как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться

в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться — не покинуть же эзков без присмотра! — то начальник Вакуумной, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару, отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по Акустической — остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пришел, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверять даже партия.

Кто же, наконец, приходил — приходили не вовремя и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды.

Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций. Сюда раз навсегда было внесено много стульев, а здесь их нанизали на жерди по восемь штук и сколотили навечно. (Такую меру комендант вынужден был применить, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту). Стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад — так, чтобы ногам было привольнее. Между молодежью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки, смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог.

— Товарищи! Товарищи! Это — позорный факт! — свинцово поблескивал очками Степанов,

понукая отставших. — Вы заставляете ждать лектора обкома партии! (Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова).

Предпоследним вошел в залек Ройтман. Не найдя другого места — все сплошь было занято зелеными кителями и кое-где женские платья пестрели меж них — он прошел в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым — хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся свое слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчиненными, а — *партийно-комсомольским коллективом*. Не найдя свободного места позади, Яконов прошел в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана.

После этого Степанов ввел лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом темных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринужденно, как будто зашел в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нем был светлый бостоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пестрый галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо:

— Товарищи! Каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир.

Массивно переключаясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк — и все прислушались. Было та-

кое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодуя воскликнул:

— Многие философы пытались ответить на этот вопрос! Но никто до Маркса не мог сделать этого! Потому что метафизика не признает качественных изменений! Конечно, нелегко (он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы) осветить вам все за полтора часа, но (он спрятал часы) я постараюсь.

Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике, перебил:

— Можно и больше. Мы очень рады.

У нескольких девушек упало сердце (они спешили в этот день в кино).

Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним.

— Регламент! — осадил он Степанова. — Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества? Гениально разработанная ими и продолженная Лениным и Сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма — это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на ее основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи! У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно! Маркс и Энгельс поставили ее на ноги, взяли из нее рациональное зерно, а идеалистическую шерлуху отбросили! Марксистский диалект

тический метод — это есть враг! Враг всякого застоя, метафизики и поповщины! А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта, это то, что... взаимосвязь! Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество это — как бы вам сказать пояснее? — это не мебельный магазин, где наставлено, наставлено, а связи никакой нет. В природе все связано, все связано, — и это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях!

Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришел раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блесевший очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейски-статный лейтенант написал записку и передал ее Тоне, татарочке из Акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх темного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Черный чубик ее упал и свесился, делая ее особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авторучку.

— ...Ну, и число примеров можно увеличивать... Вторая черта диалектики это то, что все движется. Все движется, покоя нет и никогда не было, это факт! И наука должна изучать все в движении, в развитии — но при этом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идет по винтовой лестнице, это нет необходимости доказывать, и все вверх, и вверх, вот так...

Вольным помахиванием руки он показал — как Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в

телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола метра три квадратных и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика — и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства.

— Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Эта очень важная черта помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду, вот хотя бы воду в этом графине, — ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете ее нагревать. Нагрейте ее до тридцать градусов — и она все равно будет вода. И нагрейте ее до восьмьдесят градусов — и все равно будет вода. А ну-ка догреть до ста? Что тогда будет? П а р ! !

Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули.

— П а р ! А можно сделать и лед! Что? Это и есть переход количества в качество! Читайте «Диалектику природы» Энгельса, она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались! Потому что не знали закона

перехода количества в качество! И так во всем, товарищи! Приведу примеры из развития общества...

До всякого лектора и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен ученому, как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семинарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его, медленно поворачиваясь, косо ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек — сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки-анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы.

Голос лектора рокотал:

— Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может э-во-лю-ционно, это факт! Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно! Но социал-регенаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва?! Значит, без революции? Без ломки государственной машины? Парламентским путем? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам! Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржу-

азия никогда без вооруженной борьбы от власти не откажется!!

Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окаемкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса, с недоумением, после чего приложил их к уху.

— Четвертой чертой диалектики, — вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули, — это то, что... противоречия! Противоположности! Отживающее и новое, отрицательное и положительное! Это — везде, товарищи, это — не секрет! Можно дать научные примеры, пожалуйста. — электричество! Если потереть стекло о шелк — это будет плюс, а если смолу о мех — это будет минус! Но только их единство, их синтез дает энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде: тепло — это плюс, а холод — это минус, и в общественной жизни мы видим тот же непримиримый конфликт между положительным и отрицательным. Как видите, диамат впитал в себя все лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мертвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах! И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, не взирая на лицо.

Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились

какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавляемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он еще пытался говорить стоя:

— Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...

Усталость свалила его, он поморгал, опустился на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо:

— ...но наш ЦК дал отпор сокрушительный.

И всю середину лекции он провел так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся.

Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шепота, как будто все складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода:

— Только материя абсолютна, а все законы науки относительны... Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи — относителен... Нет нич-чего абсолютного кроме материи, и движение — вечный атрибут его... Движение абсолютно — покой относителен... Абсолютных истин нет, всякая истина — относительна... Понятие красоты — относительно... Понятия добра и зла — относительны...

Слушал ли Степанов лекцию, нет ли, — но весь вид его, вытянувшегося в стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в мавринских стенах.

Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Еще одна девушка из четвертого ряда в эпонжевом платье вся подалась вперед и слушала с легким румянцем. У нее появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать — какой.

Внимательно смотрел на лектора еще Клыкачев, чья узкая длинная голова высывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал: он сам вел политучебы и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачев просто от скуки изучал лектора — сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом пытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берет от жизни, и жизнь ему мстит.

Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвертый листок из блокнота, еще один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру: он брал ее сперва за один палец, потом еще за один, и так за всю кисть, она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять все шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник 4-й группы рисовал начальнику 1-й группы (тоже на коленях, пряча от Степанова), какую пристройку он думает сделать к своей уже работающей схеме.

Но до всех них хоть обрывками долетал еще голос лектора, — Клара же Макарыгина в однотонном ярко-синем платье открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате, она бродила в том черно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляли ее со вчерашнего руськиного поцелуя. Все запуталось неразрешимо. Зачем был в ее жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську не ж д а т ь ? И как можно было его ж д а т ь ? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд, и снова и дальше г о в о р и т ь ? Перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучебы, и она убежала охотно на лекцию, чтоб отдалить свою встречу с ним. Однако, сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал ее невыносимым упреком. Действительно, как это должно казаться подло — вчера обещать ему, а сегодня...

(Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться: Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в Вакуумной, в самый этот момент, майор Шикин в присутствии начальника Вакуумной взламывал и обыскивал Руськин стол).

Силы снова прилили к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя громил убогую *формальную* логику, порожа-

дение Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики.

Как раз в Маврино достигали самые свежие американские журналы, и недавно для всей Акустической Рубин перевел, и, кроме Ройтмана, уже несколько офицеров читало о новой науке кибернетике. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике: «да» — да, а «нет» — нет, и третьего не дано. И «Двузначная логическая алгебра» Джона Буля вышла в один год с «Коммунистическим манифестом», только никто ее не заметил.

— Вторым большим разделом диалектического материализма — это философский материализм, — погромыхивал лектор. — Материализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями — епископ Беркли, Мах, Авенариус, Юшкевич и Валентинов.

Яконов охнул, так что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом — однако, именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно-внимательным лицом. Вот на это он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц!..

— Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего! — гремел лектор. — Материя неуничтожима, это бесспорно! и это тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно — разве оно исчезло? — нет! оно превратилось в растение, в десяток таких же зерен. Была вода — от солнца вода испарилась.

Так что, вода исчезла? Конечно, нет!! Вода превратилась в облако, в пар! Вот как! Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины, физик Оствальд имел наглость заявить, что «материя исчезла». Но это же смешно, кому ни скажи! Гениальный Ленин в своем бессмертном труде «Материализм и эмпириокритицизм», руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда!

Яконов подумал: вот таких бы лекторов человек сто загнать бы на эти тесные стулья, да читать им лекцию о формуле Эйнштейна, да держать без обеда до тех пор, пока их тупые ленивые головы воспримут хоть — к у д а девается в секунду четыре миллиона тонн солнечного вещества!

Но его самого держали без обеда. Ему уже тянуло все жилы. Он крепился простой надеждой — скоро ли отпустят?

Все крепились этой надеждой, потому что выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра — и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряженнее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошел врасплох, мимоходом — оттого-то позавчера она еще не чувствовала себя готовой. Но весь день вче-

ра и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя ее окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их и все рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может нравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключенных (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!), с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приемку приборов и деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками, и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва он ездил на свидание с женой.

Теперь с горящими щеками, в новом платье, она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни... Маленькая, легко уместившаяся между стесненными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул ее издали казался незанятым.

Темп речи лектора заметно ускорился, как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и оживились. Сменяя друг друга и впопыхах чуть смешанные с

пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли:

— Теория становится материальной силой... Три черты материализма... Две особенности производства... Пять типов производственных отношений... Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата... Скачок в царство свободы... Буржуазные социологи все это прекрасно понимают... Сила и жизненность марксизма-ленинизма... Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, еще высшую ступень!.. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин — сделал товарищ Сталин!.. Победа в Великой Отечественной войне... Вдохновляющие итоги... Необъятные перспективы... Наш гениально-мудрый... наш великий... наш любимый...

И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента еще даже остался хвостик.

— Может быть, будут вопросы? — как-то полуугрожающе спросил лектор.

— Да, если можно... — зарделась девушка в эпонжевом платье из четвертого ряда. Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на нее и слушают ее, спросила:

— Вот вы говорите — буржуазные социологи все это понимают. И действительно, это все так ясно, так убедительно... Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей?

— Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят большие деньги! Их подкупают на сверхприбыли, выжатые из колоний! Их учение называется прагматизм, в переводе на русский:

что выгодно, то и закономерно. Все они — обманщики, политические потаскухи!

— Все-все? — утончившимся голосом ужаснулась девушка.

— Все до одного!! — уверенно закончил лектор, тряхнув патлатой пепельной головой.

Россия и современность

Абрам Т е р ц

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИИ

«Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено
Всё ущелье криком сокола —

вот что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда».

Осип Мандельштам «Четвертая проза»

«Писатель — пописывает, читатель — почитывает...» Эта традиция, сложившаяся в относительно мирном и удобном для литературного творчества девятнадцатом веке, в нашу эпоху была прервана. Русский писатель, не желающий писать по указке государства, перешел на чреватое опасностью и фантастикой положение подпольного автора, то

есть, с точки зрения того же государства, вступил на путь преступления, за которое предусмотрены строгие меры пресечения и наказания. Литература стала делом запретным, рискованным и, соответственно, — еще более завлекательным.

Представьте ситуацию, в свое время обрисованную Анатолием Кузнецовым, на которую с возмущением ссылалась «Литературная газета», рассказавшая со слов Кузнецова, чем он занимался на досуге в уединении, пока не покинул Россию. Оказалось, п и с а т е л ь, начертав кое-какие таинственные манускрипты, запаивал их в стеклянные ампулы и, выбрав ночь потемнее, закапывал в землю в своем саду. Что называется, хоронил концы, зарывал клад, нажитый недобрым путем, как поступали воры и разбойники всех времен и народов. Какой же он после этого писатель?! — негодовала «Литературная газета», не догадываясь в своей простоте, что вся эта сцена, словно списанная со страниц «Острова Сокровищ», — п р е к р а с н а, что, не говоря уже о детях, о подрастающем поколении, следующих всегда романтическому примеру, подобный эпизод о т р а д е н писательскому сердцу, ибо затрагивает какие-то сокровенные струны писательства как такового. Сами же называете: « х у д о ж н и к и с л о в а ». Ведь не в президиуме же сидеть, не за рабочими же бегать, высуня язык, по строительству Братской ГЭС, завязывая с ними, с героями и читателями, какие-то удивительно бестактные, панибратские отношения. Ведь не купцы же мы, в самом деле, не приказчики и не вожди, и даже звание п р о ф е с с о р или а к а д е м и к отдает для нас

излишним оптимизмом. Это же наше первое, разлюбленное, это наше писательское дело такое — закапывать ампулы в землю, а в ампулах — рукописи, а в рукописях... эге-ге! так вам сразу поди и скажи, что в рукописях!..

Чтобы Анатолий Кузнецов собственным умом додумался до запечатывания стеклянных банок из-под компота, потребовалось длительное развитие общества, искусства и литературы в направлении безвыходности (откуда, между нами говоря, в конце концов и находится вдруг наилучший выход). Потребовалось писателя довести до кондиции преступника, правонарушителя, а для этого — предварительно кое-кого затравить до самоубийства, других изъять, третьих запытать, понадобилось сгноить и кастрировать тысячи писателей, чем и занимались в течение десятилетий основатели и буревестники советской литературы, которые теперь обижаются, что вот, дескать, Анатолий Кузнецов, словно какой-нибудь вор, закапывает по ночам на даче свои драгоценные склянки...

Итак, литературный процесс на каком-то этапе принял характер обоюдоострой игры, авантюры, которая сама по себе могла бы составить фабулу увлекательного романа. Авторы превратились в героев еще не созданных, быть может, произведений, почувствовали на губах вкус интриги, которая может плохо кончиться («ешь пирог с грибами — держи язык за зубами!» — предостерегал писателей Н. С. Хрущев со свойственной ему прямотой), но которая зато придает некий высший смысл скудной писательской жизни, веселье, интерес, «бессмертья, может быть, залог». Всё это сообщило русской литературе толчок или стимул

к развитию, и сейчас она, как никогда за время ее раскулачивания, полна сил и надежд на будущее. Сейчас во всем мире самый острый, самый сочный сюжет — русский писатель со своей загадочной судьбой. То ли его посадят, то ли подвешат, то ли выпустят, то ли выдворят. Писатель нынче ходит по острию ножа, но, в отличие от старых времен, когда резали всех подряд, испытывает удовольствие и моральное удовлетворение от этой странной забавы. Писатель нынче в цене. И попытки его урезонить, застрашать или ссучить, сгноить и ликвидировать, всё повышают и повышают его литературный уровень.

По счастью, наши начальники в России, даже окончив два факультета и при знании трех языков, по какой-то врожденной привычке остаются глубоко и безнадежно необразованными людьми. Им всё время кажется, что они сумеют наладить художественный процесс и ввести его в законное русло, применив те или иные меры воздействия. Им кажется, что стоит сказать писателю: «посадим!», как он сейчас же напишет гениальную поэму в честь победившего коммунизма. Они, повторяю, к нашему счастью, не знают истории. Они упускают из виду Оскара Уайльда, которого засадили в тюрьму совсем не за писательство, а тем не менее до сих пор весь мир плачет над его писательской травмой и над «Рэдингской Тюрьмой». Они забывают о Данте, которого изгнали из родного города вовсе не за то, что он был хорошим поэтом, а в итоге появились синонимы: «Данте» — «изгнанник» — «писатель»... И Пушкина убили тоже не за то... А если — за то, то, представляете, какой оборот в истории, в сюжете, обретают приключе-

ния писателя, пусть его, в конце концов, и прикончат!..

Сейчас настало время жалеть не писателей, но их гонителей и насильников. Ведь это им обязана русская словесность своим успехом. Писателю. — ему что? ему море по колено, он сидит себе спокойно в тюрьме, в сумасшедшем доме, и радуется: сюжет! Он, и загибаясь, потирает руки: дело сделано!..

Новый подъем русской литературы лучше всего прослеживается на таможне. Что ищут больше всего? — рукописи. Не золото, не бриллианты и даже не советского завода план, а — рукописи! А что лучше и больше всего ищут при въезде в Россию? — Книги. На русском языке книги. Значит, русская литература, едущая взад и вперед, что-то стóбит. Значит, нужно поставить плотину, запруду, Братскую ГЭС, чтобы книги и рукописи — не проникали. Но они всё равно просачиваются...

Когда у одной моей знакомой, ехавшей отсюда — туда, обнаружили в чемодане экземпляр романа «Доктор Живаго», ее немедленно посадили в гинекологическое кресло и подвергли медицинскому осмотру — не провозит ли она еще какой-нибудь тайный роман?

Это — хорошо. Это — на пользу. Это значит — книга в цене, и ее ищут, за нею охотятся, и она, убегая, и прячась, и закапываясь в землю, набирает силу и вес. Не доллары, а — рукописи копируются нынче на рынке.

Теперь посмотрим — о чем пишут больше всего в этих рукописях? Вряд ли мы ошибемся, если скажем: о тюрьмах и о лагерях. Не над колхозной, промышленной, не над любовной и не над

молодёжной даже тематикой болеет сейчас больше всего душою русский писатель, а на тему — как сажают, куда ссылают, каким образом (интересно же!..) стреляют в затылок. Лагерная тема сейчас — ведущая и центральная. За короткий срок мы тайком, тихой сапой, сумели создать еще невиданную, небывалую в истории серию романов, повестей, поэм, мемуаров на каторжную мелодию. Куда там «Записки из Мертвого Дома»! Сейчас вся Россия воет Мертвым Домом в литературную трубу.

Когда Запад (где все эти книги в конце концов издаются с научными комментариями) прислушивается к этому волчьему вою, он, естественно, приходит в экстаз и в изумление: молчали-молчали, терпели-терпели и даже, случалось, славили, а теперь, теперь! когда никого почти не сажают, вы поете отходную и мешаете нам торговать?! Сколько вас — на весь многомиллионный народ — диссидентов? — раз, два и обчелся. И сколько можно писать про одно и то же?

— Торгуйте, милые, и дай вам Бог не видать никогда того Лиха Одноглазого, той Чуди-Юди из русской сказки. Но, кроме старых ран, я уверен, тут действует литературный закон, повинуюсь которому, русские авторы влюбились в свою неволю. От нее нас теперь пряником не оттянешь. Нас теперь хлебом не корми, как дай рассказать про то, как стреляют в затылок. Что поделаешь: закон сюжета — расстрел...

А вы как думали? Что можно танками давить, и потом какой-нибудь выходец или отказчик не использует ваши танки в художественной прозе? Что голоса мертвых не заговорят, наконец, устами полуживых? Вы убили Бабеля, убили Цветаеву,

убили Мандельштама и надеетесь, что в русской литературе это пройдет бесследно? Не надейтесь. Читайте-ка лучше историю. В каком-то дурацком семнадцатом веке законопатили в яме какого-то никому не нужного протопопа Аввакума. А нам от его писаний в земляной тюрьме до сих пор икается — чуть вспомним...

Однажды один начальник — дело было в лагере — вызвал к себе на воспитательную накачку одного беспризорника, из полублатных, кое в чем натаскавшегося за время мыканья по зонам и пересылкам, и начал его вразумлять. Пятьдесят лет, говорит, наши враги рассчитывают, что мы сгнием, а мы всё растем и крепнем. Так что лучше не суйся, говорит, в это бесполезное дело и принеси все положенные извинения властям.

— А Римская Империя, — отвечал молодой злоумышленник, — еще дольше стояла, а всё ж таки под конец развалилась.

— Какая — Римская Империя?.. Так ведь это ж, это ж — и с т о р и я ! . . (Вздых облегчения.) Я тебе про действительность толкую, а ты — из истории?..

То есть, на взгляд начальника, ни наша героическая современность, ни он сам со своею крепостью — к и с т о р и и не имеют ни малейшего отношения. Такова благодетельная для нас необразованность или полупросвещенность верхов. История — не по их ведомству. Так что ссылки на Аввакума, на Данте — не беспокойтесь — никому не помогут, ничему не научат: история.

Другой начальник — уже на воле — в подобной же задушевной беседе, за неимением других аргументов, не выдержал и тихо сказал:

— Танками вас надо давить! Танками!

То есть опять забыл, бедолага, что из-под танков, как с конвейера, снова попрут в неисчислимом количестве рукописи и книги. Так-то трудно приходится с русской литературой начальникам. Исключают они кого-нибудь из Союза Писателей и радостно говорят: — Да какой же он писатель — он просто уголовник! — А у исключенного писателя от той оценки душа играет: наконец-то сподобился!..

Но довольно лирики, и перейдем к теоретической части. Цитата из Мандельштама, поставленная в виде эпитафии к настоящей статье, гласит, что всякое — даже без отношения к власти — писательство запретно, предосудительно, и в той незаконности, собственно, и заключается весь восторг и весь вопрос писательства. На какое большое произведение ни посмотри — либо взрыв, либо вывих. («В сумасшедшие дома всех вас, писателей, надо помещать!» — сказал мне откровенно сосед — наседка — в камере на Лубянке и в каком-то высоком, метафизическом смысле был прав.) Возьмем ли мы «Евгений Онегин», или выберем для солидности «Воскресение» Льва Толстого, мы заметим, что все они построены на побеге, на нарушении границы. Что сама душа писателя просит — к побегу. Что самый вкус, и смысл, и идеал писательства состоит вовсе не в том, чтобы «правду сказать» (пойди, если хочешь, и говори — в трамвае), но в том, чтобы эту так называемую «правду» положить поперек всеобщей, узаконенной и признанной публично за истину «лжи», и, следовательно, взять на себя роль и должность «уголовника», «преступника», «отщепенца», «выродка» или (ка-

кое новое подходящее слово ввели!) «идеологического диверсанта». Всякий сколько-нибудь значительный, уважающий себя писатель — диверсант (ах! нет динамита!), и, озирая горизонт и раздумывая, о чем бы таком ему написать, — он избирает чаще всего за п р е т н у ю т е м у, будь то лагерь, тюрьма, евреи, КГБ или (что бы еще такое найти запретное?) — секс. Потому-то я и твержу, что свобода слова как раз писателям-то и не идет на благо, что от свободы писатель, случается, хиреет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем. А приятнее для писателя — тьма, лагерь, кнут, узда и запрет (с одновременной возможностью — из тех, кто смелый, — ту узду разорвать и закон — объехать). Писатель всем своим писательским нутром жаждет не свободы, он жаждет — о с в о б о ж д е н и я, как-кто-то сказал из понимающих в этой механике. Сам акт писательства есть освобождение (дайте — цепи!). Важно открыть клапан, а для этого клапан предварительно должен быть достаточно заперт. И, значит, чем туже стягивают петлю на шее писателя (до известных пределов, конечно), тем ему легче и веселее в итоге поется...

Язык литературы, если к нему присмотреться внимательнее, — это язык непристойностей. В широком смысле язык литературы это — матерный язык. Хотя бы на нем говорилось: «Как хороши, как свежи были розы!..» Вы думаете, это — розы? — да нет, это — ругань, которой писатель (в данном случае Тургенев) бомбардирует стены тюрьмы. Так, как пишет писатель, разговаривать в семейном, в человеческом кругу не пристало. Литературный язык — это выход из языка. Литературный язык — это язык откровенностей, от которых

становится стыдно и страшно, язык прямых объяснений с действительностью по окончательному счету, когда ей (действительности) говоришь: «пойдем со мной! не то зарежу!» И тут же ей объясняешь с чувством: «Как хороши, как свежи были розы!» (То есть: «пойдем со мной, не то зарежу!») Действительность, естественно, не верит писателю и отвечает: видали мы таких! Но т а к и х она еще не видала. И если она все-таки не идет (а чаще всего она не идет за писателем, за проходимцем) и остается с более достойными, деловыми людьми, с генералами, с инженерами, он, писатель, подносит ей с укоризною очередную свою непристойность: «Как хороши, говорит, как свежи были розы!..»

Это я выбрал самый приличный пример, а если перейдем на Пушкина, на Лермонтова — так ведь уши заткнете.

Писатель — это попытка завести с людьми разговор о самом главном, о самом опасном. Писатель — это скоропись Морзе, с которой кидаются тонущие на подводной лодке. Тонуть всю жизнь и всю жизнь объяснять стенаниями и ругательствами — удел писателя. Все эти романы, которые называются «По ком звонит колокол» или «Каждый умирает в одиночку», звонят не по кому-нибудь другому, как только по автору, по писателю. Спите спокойно.

Писатель — крайняя, кровавая апелляция человека к человеку. Как, в какой манере в этих случаях говорят — не так уж важно. Говорят — и это ясно с самого начала, едва вы беретесь за перо, если вы писатель, — только одно недозволенное. В противном случае: зачем писать? — пе-

рейдите на вежливый, на общеупотребительный язык в вагоне.

Писатель — это последний, заведомо обреченный на промах, опыт бомбардировки, это способность взывать непрестанно к истине и справедливости безо всякой надежды до них когда-нибудь достучаться. И если какой-нибудь прекрасный автор вам скажет завтра: «я пробился! увидел! идемте за мной!» — вы можете не верить ему, но все-таки идите за ним, потому что он знает, что делает, он сумел нарушить запрет и произносит в последний раз — неведомое, освобожденное слово...

На самом же деле, наверное, до истины, кроме святых, никому не дано дозваться, и в тех прекрасных словах, что произносит писатель, он просто умирает. Неужто вы не слышите, как писатель агонизирует в своих словах?..

Я удивляюсь, как общество еще терпит, признает и даже превозносит писателя. Писатель — это живой мертвец. Это тень человека. Это человек, поставивший на себе крест. Какое мастерство или форма! Форма — гроба? Поэтому мне не понятен Чехов, который советовал всех начинающих писателей сечь, приговаривая: «не пиши!», «не пиши!» Это всё равно что бить людей и животных с призывом: «не умирай!»

А писателя именитого, прожженного не сечь, его гнать надо в шею из порядочного общества. А его чествуют, поздравляют с окончанием очередного романа. Деньги платят. Честное слово, когда я беру деньги, а я их беру регулярно за свои литературные произведения, я всякий раз удивляюсь, а затем уношу их поспешно, придерживая

карман, немного сторбясь, как вор уносит с места кражи столовое серебро...

Не пора ли, однако, вернуться в Россию, на более конкретную и современную почву запретной литературы, за которую ничего не платят, но зато хорошо карают. Мы сидели в лагере и смеялись, читая время от времени доходившую до нас «Литературную газету», периодически извещавшую нас, что вот еще один писатель сбежал или переправил незаконным способом за границу свою вредоносную рукопись, или империалисты воспользовались и напечатали без спроса похищенную повесть. Аркадий Белинков, Войнович, Серебрякова, Твардовский, Светлана Аллилуева, Кузнецов и так далее, пока весь этот список лиц, трудившихся над созданием русской нецензурированной книги, не увенчался Н. С. Хрущевым (который еще недавно плевал в полотна Фалька), тоже на старости лет пустившимся в разгул и напечатавшим сказочным образом свои мемуары на Западе. Казалось, еще немного, и все официальные таланты, включая Федина, С. Михалкова и нынешних членов правительства, примут — тайно друг от друга — персональное участие в параллельном литературном процессе, который уже никакими угрозами не остановишь...

Дурной пример заразителен. К тому же условия несвободы, не столь тотальной, как при Сталине, но всё же несвободы достаточно тяжелой, чтобы дело клеилось и душа резвилась и рвалась бы писать, — способствовали событиям. За небольшой срок, пока мы в лагере сидели (и сам я вблизи тех процессов не наблюдал), у нас появилась если еще не первая по литературному уровню, то во вся-

ком случае интереснейшая в мире словесность — вторая по отношению к выходящей печатной продукции. Печатная, приличная, цензурованная, оплаченная дачами и поездками за рубеж, на встречи с писателями Азии и Африки, как всегда, оригинальностью не блистала, переходя на стиль какого-то убийственного, автоматического письма. Вторая — скромно и просто называлась: «Самиздат». Мы дожили, мы сподобились дожить, Господи, до второй литературы!..

Трудно придумать более точное и более безобидное имя, чем «Самиздат», говорящее только о том, что вот человек взял и написал всё, что ему хотелось, по собственному разумению, и сам же себя выпускает, не заботясь о последствиях, передав горсточку листочков, отбитых на пишущей машинке, приятелю, а приятель двум таким же отшельникам прибежал похвастать, а там, смотришь, и мы уже присутствуем снова в проекте чего-то большого, фантастического, ни с чем не сравнимого, в зачатке российской словесности, что уже однажды, в девятнадцатом веке, осчастливила человечество, а ныне снова тянется к старым тяжбам.

В «Самиздате», помимо новых, неизвестных (даже органам Госбезопасности) авторов, первое время, на рассвете, ходили в списках Цветаева, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, и этого было достаточно, чтобы новое издательство зарекомендовало себя наилучшим образом. (В идеале же, в принципе, не бывает и не может быть ничего слаще для писательского слуха, нежели — «Самиздат»!..) Мы ничего не поймем в истории новейшей, «самиздатской» (в широком смысле) словесности,

если забудем, что у ее колыбели стояли тени величайших поэтов двадцатого столетия. Если, упоывая на будущее русских писателей, мы не поклонимся в первую очередь этим четверем, из которых, считая по пальцам, одна — покончила с собой, другой — сдох в лагере, а самыми благополучными, дожившими до преклонного возраста, оказались — Ахматова и Пастернак. Тот самый Пастернак, который на склоне дней, когда, под бой сковородок, его собирались выгнать из России, носил в кармане пузырек с ядом, чтобы в случае чего пополнить длинный список советских писателей-самубийц. И та самая Ахматова (тоже — повезло!), написавшая о гражданской казни, какой ее подвергли в достопамятном 46-ом году:

Вы меня, как раненого зверя,
На кровавый подымете крюк, —
Чтоб, ликуя, дивясь и не веря,
Иноземцы ходили вокруг...*

Каковы — деепричас? !..

«Реквием» Анны Ахматовой и по сию пору гуляет по России не иначе, как в списках (ничего себе — альбомные стихи). Пастернак же незадолго до смерти, узнав о выходе рукописного, сшитого сплошь из юношеских стихов, нелегального журнальчика «Синтаксис» (на четвертом номере издатель — Алик Гинзбург был арестован), горько сетовал, что не может пройти в тех студенческих тетрадках по разряду начинающих авторов... Вот — заря «Самиздата», вот она, ниточка жизни, сое-

* По памяти — со слов Ахматовой

динившая будущее русской литературы с ее героическим прошлым!..

В начале двадцатого века у нас была самая прекрасная в мире поэзия. Я уверен, тогда не было ни у кого т а к о й поэзии. Но проза, как известно, развивается позже, и ее прихватил мороз. До расцвета русской прозы в нашем столетии дело не дошло. Однако сознание, что где-то в самом начале было даровано России счастье жить в высокую поэтическую эпоху, что эти стихи каким-то чудом дошли до нас и сделались теперь нашими современниками, это сознание обязывало и обязывает русскую литературу, выбиваясь из сил, доказать, что она тоже может быть великой. Поэзия начала века обязывает хотя бы к концу создать недостающую прозу. И если таковая появится (а она начинает появляться), наша вечная благодарность — поэтам, сумевшим уже вначале сообщить российской словесности такой размах и заряд, что она смогла перепрыгнуть через пропасть шириною в тридцать, в сорок лет, когда в России практически не было словесности и, что самое главное, не было уверенности, что таковая когда-нибудь будет.

То время, которое мы условно покрываем жгуемим именем «сталинщины», — в исторической проекции литературного процесса в России — тоже внесло сюда, быть может, свою законную лепту. Быть может, слишком долгое молчание и отчаяние заставили заговорить так страстно и горячо уже в условиях современной, относительно терпимой (и даже, как я сказал, чем-то выгодной писателям) несвободы, то есть — едва авторам удалось раскрыть рот. Если мы сейчас так громко, на весь мир, кричим о страшном и постыдном, что твори-

лось с Россией, так это потому, между прочим, что мы на себе испытали «холод и мрак грядущих дней», которые всем нам предрекал Александр Блок.

О, конечно, и в ту пору кто-то из самых достойных, пока не добились, работал. Но Россия тогда не знала, что в ней всё еще существуют писатели, пишущие на самые важные, на запретные темы и на запретном же языке. Только потом, только сейчас донесся до нас голос Мандельштама из глухоты Воронежской ссылки. Только через тридцать лет каким-то подводным призраком, утопленником той эпохи выплыл роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот как, оказалось, полезно прятать вовремя рукописи, которые «не горят» только оттого, что их глубоко хоронят — под землю, под воду.

Я позволю себе несколько задержаться на этом романе, взяв его лишь в одном и, возможно, не самом серьезном разрезе — собственно писательского, автобиографического, с судьбой самого Булгакова соотнесенного содержания. Ночь, в которую писался роман, была так беспросветна, что только сам дьявол внушал тень доверия. Эту роль дьявола, темного гения, роль Воланда, по каким-то непонятым, таинственным причинам снисходительного к писателю, к Мастеру, в жизни самого Булгакова сыграл — Сталин. Сталин знал о Булгакове и, загнав его в угол, почему-то не велел трогать. То есть он не давал ему никакой поблажки, позволив, однако, поставить крамольную пьесу Булгакова во МХАТе, в единственном театре страны (у Сталина вообще была слабость к единственному числу), куда, на «Дни Турбиных», сам ходил не-

гласно и регулярно (я чуть было не сказал — по ночам). У Сталина даже наметился, хотя и очень тонкий, как нитка телефонного провода, личный контакт с Булгаковым. Между тем автора «Мастера и Маргариты» тогда, по всем раскладкам, следовало расстрелять, и очень может быть, что, если бы Сталин подозревал о существовании романа, Булгакова бы и убили, а рукопись сожгли и развеяли пепел по ветру. Но пока что хватали и стреляли других художников, в том числе самых пролетарских, самых назойливых в своей преданности партии, вроде Авербаха, и в «Мастере и Маргарите» представлены весь содом и бедлам тогдашней литературы, которая давно уже ходила облавой на Булгакова, всенародно заклеив его недостреленным белогвардейцем, а теперь вдруг гибла сама хуже белой гвардии. Булгаков же уцелел по неизвестной иронии рока и, загнанный в угол, описывал в романе свою странную дружбу с Воландом, который, развязав и подстроив всё колдовство, оказывался много добрее казнимого им человечества. Люди стали бесами, а главный бес — меценатом. Единственно, кому помог Воланд, будучи мастером зла, были Мастер со своей Маргаритой (она-то и спасла и сохранила потом рукопись романа), потому что Воланд знал, кто есть кто. Эта мистика их отношений, писателя и вождя (по воровской поговорке: «я большой — ты большой»), получила отражение даже в графической близости имен, где Воланд (через W) несет на себе перевернутый герб Мастера и Маргариты — М.

...Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал, —

— писал тогда же Пастернак на сходную мистическую тему отношений Поэта с Вождем (и конкретно — Пастернака и Сталина).

Да, Сталин умел внушать не только ужас и любовь к себе, но и веру в свои магические силы. В частности, среди теософов, подвергавшихся преследованию и не слишком уж обожавших режим, ходила тем не менее притча, что Сталин знает нечто такое, о чем никто не догадывается, и является инкарнацией Великого Учителя Индии — Ману. Однако булгаковское увлечение Воландом в историческом плане куда более оправдано, ибо в его лице Сталин выступает как удивительный и уникальный в своей профессии фокусник (отсюда его симпатия в романе к профессионалу-мастеру-писателю-Булгакову), отдавший себя всецело искусству запутывания и одурачивания людей, напусканию всевозможных миражей и наваждений. В Сталине, с его расстрелами и показательными процессами, с его коварством и колдовством, с его умением стоять над всеми и в своем сумрачном одиночестве злого, всезнающего и всемогущего духа, Булгаков, должно быть, почуял артистическую жилку и раздул ее в своих грезах о Воланде.

Разумеется, ни Воланд, ни роман Булгакова в целом не сводятся к сталинскому аспекту, как не сводится эта книга к собственной биографии автора. Но через нее мы лучше поймем специфику художественного развития в нашем отечестве, в какую-то минуту полностью замещенного игрою одного Чародея, который самой истории сумел на длительный срок придать силу и видимость сказочной фантастики. Искусство улетучилось, сгнило, чтобы жизнь на время (если посмотреть на

нее сторонним, притерпевшимся к злодеяниям оком) получила эстетический привкус кошмарного и кровавого фарса, разыгранного по правилам сцены и изящной словесности. Взять хотя бы детективное понимание истории, которое вождь сумел привить миллионам, или его любовь к реализации метафор. Метафорические обороты, типа: «лакеи империализма», «предатели рабочего класса», «наймиты капитала», «левый загиб», «правый уклон» и т. д., которые имели широкое хождение до всякого Сталина, но главным образом употреблялись ради партийной перебранки и получали даже научное обоснование, не предполагавшее вначале, что «лакей» непременно стоит с подносом у буржуазного столика, а «наймит» грязными пальцами муслит долларové бумажки, — эти метафоры, повторяю, Сталин реализовал до полного, образного воплощения в жизнь. Пафос 37-го года не только в широте охватившей страну вакханалии и не в том, что дошел черед до истребления «своих», самых рачительных партийцев, но также в необычайно ярком, как в романе, оживлении метафор, когда по всей стране вдруг заползали какие-то невидимые (и потому особенно опасные) гады, змеи, скорпионы под страшными кличками «троцкист» или «вредитель». Вероятно, Сталин хотел внушить народу чувство гадливости к уничтожаемым повсюду политическим конкурентам и просто к подозрительным лицам. Чтобы не больно было убивать вчерашних отцов и братьев. Но вышло так, что Россия наполнилась «врагами» буквальными, пускай и невидимыми, которые действовали, как бесы, и стирали грань между действительностью и вымыслом. Сталин включил (возможно, не

подозревая о том) магические силы, заключенные в языке, и русское общество, падкое всегда на образное восприятие слова, на чудесное преобразование жизни в фабулу романа (откуда проистекают, между прочим, и красота и величие русской литературы), поддавалось этой жуткой иллюзии жить в мире чудес, колдовства, вероломства, искусства, которые у всех на глазах правят реальностью и, подирая морозом по коже, доставляют какое-то острое зрелищное наслаждение. Нашлись, понятно, невинные, искренние Павлики Морозовы, рванувшиеся со всем пылом неиспорченной детской души закладывать родного отца — ради «правды» и «пользы дела». Нашлись жены, доносившие на мужей, делавшие это не за страх, а за совесть, поскольку кровь расстрелянных, хлынувшая по стране, казалась уже кровью народа, которую сосали враги-вампиры, подлежащие беспощадному, как и подобает вампирам, изничтожению. Осиновый кол вам в гроб, враги народа!..

От той баснословной, художественной эпохи до сих пор сохранилась у нас привычка верить в силу слов. Когда мы, например, произносим: «идеологический диверсант», или «отщепенец», или «внутренний эмигрант», или «перевертыш» (вместо старого, доброго слова «двурушник», к сожалению, скомпрометированного многолетним употреблением в период культа личности), или «литературный власовец», — нас охватывает двойное чувство страха и омерзения перед тем, кто удостоился этого печального звания. Казалось бы (согласно логике), «идеологический диверсант» много легче и лучше прямого диверсанта, который взрывает мосты, пускает поезда под откос и подбрасывает в колодцы

стрихнин. Ан нет, — хуже и значительно вреднее. «Идеологический» (ишь как извивается!) означает еще большее изуверство, означает какую-то внутреннюю (как во «внутреннем эмигранте»), увертливую силу, вроде самого чёрта. Это совсем не мальчишка, давший под секретом прочитать товарищу «Доктора Живаго» (а товарищ — донес). Знаю я этих мальчишек. «Лучше бы ты человека убил!» — говорили им следователи. Тут всё дело в скрытой, в подпольной образности слова...

Со мною в лагере сидел старик, осужденный на 25 лет (он уже заканчивал срок) за веру в Бога. Это был православный, из «тихоновцев», то есть из не признавших нынешнюю, официальную церковь (и ему тоже следователи говорили: — Лучше бы ты человека убил!). По теперешним нормативам (смотри «Уголовный кодекс РСФСР») — максимум, что ему причиталось, это семерик лагерей («антисоветская агитация и пропаганда»), ну, в крайнем случае, к этим семи можно еще добавить пять лет ссылки. Но старик сидел в лагере 25 лет по старому, уже вышедшему из употребления указу. Старик был уже отрешен от жизни и «качать права» не желал. Однако мальчишки (из тех идеологических диверсантов, кто сидел и сидит за «Доктора Живаго» или что-нибудь в этом роде) писали за старика прошения и жалобы Генеральному Прокурору, ссылаясь на явное несоответствие «преступления» и «наказания». И, сколько помнится, всегда — в наши либеральные уже времена «соблюдения полной законности» — приходил один и тот же ответ от Генерального Прокурора:

— Нет, осужден правильно. Потому что под видом религиозной агитации занимался анти-советской пропагандой!

То есть — если бы старец в открытую занимался той самой антипропагандой, ему можно было бы дать по закону положенные семь лет. Но вот за то, что он делал это «под видом», так пусть и сидит полностью отмеренный ему четвертак!

«Под видом» — гораздо страшнее. Поэтому «литературный власовец» много ужаснее «власовца» как такового и даже, быть может, хуже самого генерала Власова. Ну что Власов, ну — изменил, ну — предал, перекинулся к Гитлеру (дело понятное, простое). А вот «литературный» ползает между нами, как какая-то неуловимая («идеологическая») гнида, и, поскольку ту змею распознать и расправиться над нею (так чтобы Запад не радовался) значительно труднее, она в своей искусственной, литературной шкуре представляется куда ненавистнее...

Сколько мы ни боремся за соблюдение социалистической законности, сколько ни подписываем международные «Декларации прав человека» (смотря — какого человека!), над нами властвует эмоциональное, художественное восприятие слов, пусть те слова будут какими хотите юридическими и сколь угодно научными. Тоже мне — нашли простачков, «хуманность» там всякую развели, «хнипки», «еделохию». Так ведь ваша «хуманность» хуже татарского ига («иха»). Иго — оно кончено (в случае чего и потянем), а вот «литература», «искусство» — это неизмеримо змеинее: потому что — тихой сапой.

Я опять склоняюсь к жалости и снисходительности к власти. Вы не представляете, как им больно, физически и душевно больно, переживать весь этот, с позволения выразиться, «литературный процесс».

Он выходит на авансцену истории, на трибуну, и читает по бумажке (тоже ведь трудно!) заготовленный референтами текст:

— Хаспада! Ляди и жантильмоны!

И все, сколько есть, господа (во всяком случае — в России) смеются. А он думает, смутно припоминая, что, закончив два института и при знании трех языков, должен еще что-то объяснять и доказывать этой, будь она проклята, ы н т ы л ы х э н с и и. «Ну, думает, змеи, попадетесь вы мне в хорошую погоду — под танки!» И говорит, с надрывом, через силу произнося бессмысленные слова:

— Дифствитяльныисть и исхуйство!

И обводит всех черным, печальным, немигающим оком, и печально помавает бровями — чтоб не смеялись. И все, смекнув, чем тут дело пахнет, стихают. И с серьезными лицами слушают международный доклад о новом, еще высшем подъеме и о всё более глубоком внедрении писателей в жизнь.

«Бабу бы — вместо жизни — поставить р а к о м!» — думает он между тем, поигрывая бровями, отпив, с глубоким вздохом, полстакана нарзана. «Танками бы вас всех! Танками!» («Шаечками! Шаюшечками!..»).

Последние слова (в скобках) заимствованы из анекдота. Лишь анекдот в недавние времена сохранял ту исключительную, спонтанную жизнестойкость, которая присуща искусству и знаменует

что-то большее, чем свобода слова. Сколько на анекдот ни дави (за него в свое время давали и по пяти, и по десяти лет — «за язык!»), он от этих репрессий только набирается силы, причем — не силы злобы, но — юмора и просветления. Анекдоты в течение тридцатилетней ночи и до сих пор сияют, как звезды, в ночной черноте. Да еще доносилась с окраин России блатная песня... Два жанра русского фольклора пережили расцвет в двадцатом столетии — в самых безысходных условиях — и исполнили в некотором роде (когда ничего еще и не грезилось) миссию Самиздата, предполагающего ведь не один только факт публикации на пишущей машинке, но — и это важнее — идею преемственности, традиции, развития, когда один человек что-то скажет, напишет, а второй это сказанное подхватит и продолжит. Будущее русской литературы, если этому будущему суждено быть, вскормлено на анекдотах, подобно тому как Пушкин воспитался на нянюшкиных сказках. Анекдот в чистом виде демонстрирует чудо искусства, которому только на пользу дикость и ярость диктаторов...

До сих пор мы не вышли из полуфольклорного состояния. Когда словесность не имеет силы расправить крылья в книге и пробавляется изустными формами. Но эта участь (участь всякого подневольного искусства) по-своему замечательна, и поэтому мы в награду за отсутствие печатного станка, журналов, театров, кино («И чего-чего у нас только нет! и крупы нет, и масла нет...» — из анекдота) получили своих беранжеров, трубадуров и менестрелей — в лице блестящей плеяды поэтов-песенников. Я не стану называть их имена — эти

имена и так всем известны, их песни слушает и поет вся страна, празднуя под звон гитары день рождения нового, нигде не опубликованного, не записанного на граммофонную пластинку, поруганного, загубленного и потому освобожденного слова.

У меня гитара есть —
Расступитесь, стены —
Век свободы не видать
Из-за злой фортуны,
Перережьте горло мне,
Перережьте вены,
Но только не порвите
Серебряные струны...

Так поют сейчас наши народные поэты, действующие вопреки всей теории и практике насаждаемой сверху «народности», которая, конечно же, совпадает с понятием «партийности» и никого не волнует, никому не западает в память, и существует в разреженном пространстве — вне народа и без народа, услаждая лишь слух начальников, да и то пока те бегают по кабинетам и строчат доклады друг другу, по инстанции, а как поедут домой, да выпьют с устатку законные двести грамм, так и сами слушают, отдуваясь, магнитофонные ленты с только что ими зарезанной одинокой гитарой. Песня пошла в обход поставленной между словесностью и народом, неприступной, как в Берлине, стены и за несколько лет буквально повернула к себе родную землю. Традиции старинного городского романса и блатной лирики здесь как-то сошлись и породили совершенно особый, еще неизвестный у нас художественный жанр, за-

местивший безличную фольклорную стихию голосом индивидуальным, авторским, голосом поэта, осмелившегося запеть от имени живой, а не выдуманной России. Этот голос по радио бы пустить — на всю страну, на весь мир — то-то радовались бы люди...

А что поется по радио? Да по радио нынче ничего не поется, и вы можете это легко проверить, если проснетесь пораньше и слушаете, что творится в эфире ровно в шесть часов по московскому времени. Начинается день, и он, естественно, начинается с гимна. Попробую припомнить слова:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь...

Оборвался. Слов этих больше не произносят, слова пропускают — потому что, выяснилось, в тех словах, сочиненных С. Михалковым, слишком много доброго сказано про Сталина, которого хорошо бы, конечно, поставить на свой пьедестал, но еще время не пришло, и поэтому и гимн заменить нельзя каким-нибудь другим песнопением, но и тех приятных слов про любимого вождя тоже пока употреблять воздержитесь. Россия, вот уж скоро двадцать лет, существует без своего государственного гимна, и оттого по радио утром вы услышите лишь мычание, переложенное на рев духовых инструментов и медных тарелок. Что-то военное, оптимистическое, могущественное, правда, чувствуется, но что именно сказать невозможно. Если вы находитесь в лагере, вы имеете случай всякий день слышать эту музыку, испускаемую одновременно всеми рупорами и громкоговорителями зоны вместо

утренней пробудки. Ради объективности следует добавить, что к этим трубным звукам примешивается всякий раз более мелодичный, хотя и несколько тоскливый, бой в лагерную рельсу (смотри «Один день Ивана Денисовича»), и те колокола — внутренние и внешние — удивительным образом перекликаются, создавая в душе человека ясное представление, что ничто не меняется и он снова проснулся у себя за проволокой. Утро Родины.

Каждый исторический факт символичен, и двадцать лет мычания взамен текста, который и хочется, и колется спеть, тоже символичны, и поэтому, задумываясь над нынешним государственным гимном, вы неизменно придете к выводу, что Россия надолго застыла в какой-то промежуточной стадии, когда и нового нет ничего и старое уже отступило и не в силах произнести, на страх врагам, веское и внятное слово.

А ведь когда-то (опять на заре) слова более менее удавались, невзирая на замотанность кадров, не обладавших к тому же слухом и интересом к развитию языка. Последнее обстоятельство сказалось на множестве слов, созданных в новую эпоху и звучащих дикой абракадаброй, скорее пугавшей население вместо того, чтобы его привлекать к строительству великого здания. Все эти «вчики», «цики», «рабкрины», «губисполкомы» и «наробразы», независимо от воли хозяев, придумавших эти слова, действительно отдавали каким-то душегубством, особенно по ночам. Но вопреки глухоте властей к музыке и лирике три достойных слова, как минимум, появилось, что иначе как милостью свыше не объяснить (и потому, в отличие от злопыхателей, я верю, что начало было не то, чтобы

обязательно светлым, но совершенно неизбежным). Цыкая на вверенное ему население, молодое государство всё же сумело утвердить в народном сознании три хороших слова, которые стоит разобрать по отдельности, потому что они имеют высший смысл.

Первое слово — «б о л ь ш е в и к» (прошу не путать с «коммунистом»). «Большевик» — это значит: больше. А «больше» — это всегда хорошо. Чем больше — тем лучше. Я глубоко убежден, что вся беда меньшевиков состояла в том, что на собственном знамени они начертали — «меньше». Поэтому русский народ выбрал — что «побольше».

Второе слово — «Ч е к а». Чрезвычайная комиссия. Но ни «комиссия», ни «чрезвычайная» ничего не говорят русскому сердцу. А вот «ч е к а» обещает нам много приятного. Потому что это значит — стоять н а ч е к у. А на чеку всегда надо стоять. И тот факт, что нынешняя Госбезопасность старается возродить это слово — «ч е к и с т» и «ч е к а», — говорит не только о том, что ей хочется вспомнить романтику революции и чистые руки Дзержинского (хотя, вероятно, те руки были действительно почище всех последующих рук). Само слово «чека» звучит выразительно. В нем есть какая-то твердость, какая-то чеканность. На это слово можно положиться — не выдаст. Только в лагере я впервые услышал, что слово «чекист» произносится с каким-то странным отворачиванием (как поется в блатной песне: «А на вышке маячит ненавистный чекист...»). А на воле — прямо признаюсь — это слово пользуется большой популярностью.

Третье слово — самое главное и самое заветное — называется: «советская власть». Этому доброму кораблю — большое плавание. Не важно, что советской власти — нет. Это все давно знают, что ее нет, и все без нее прекрасно обходятся. Главное не в том, кто конкретно правит властью и машет руками с мавзолея. Главное — слово-то больно хорошее и со смыслом: «совет» — «свет» — «светлый» — «свой» — «свойский» — «свояк» — «совейский». То есть — наш, то есть — добрый. До сей поры случаются казусы, когда мужик (или баба) кроет почем зря «коммунистов», но защищает при этом «советскую власть». И это не какие-нибудь политические интриги на предмет, что предпочтительнее — «советы» или «партия». Это просто звучание и столкновение слов: а кому нужны ваши коммунисты, когда у нас в запасе своя советская власть?! Мы все здесь свои — и чужим тут делать нечего.

На этих трех словах, как на трех китах, стоял и стоит — строй. Под него не подкопаются. И поэтому мои теперешние речи вовсе не подкоп (как могут некоторые подумать), но — совет: внимательнее относиться к художественному слову. Потому что — что же происходит в последние годы? Никакой поэзии. Ни малейшей изобретательности. Вот назвали целый город именем Пальмиро Тольятти, а народ, населяющий ту Пальмиру, именуется по-старинному, по-простому, по-советскому: Телятин. Или — все эти модные буквенные перестановки, в которых сам чёрт ногу сломит и можно с ума сойти, придя к непозволительным и безответственным гиперболам. Например. Было: В К П Б. Стало: К Г Б. На первый взгляд — ни-

чего, недурственно, даже — лапидарнее. Но в ходе подобных новшеств остается всегда неясность, кто здесь над кем командует и что из чего в результате происходит. Где конец и начало? Где Ленин и Сталин? И куда смотрит С. Михалков, призванный все эти реформы выразить стихами? И потом — простите, товарищи, но, трезво рассуждая, КГБ для русского уха тоже звучит не слишком уж поэтично. КГБ — походит немного на крематорий, на гроб, в лучшем случае — на шаги Командора по гробовым плитам. И что же получается, вы вдумайтесь, в итоге всех этих словесных экспериментов!..

Не лучше ли было оставить России прежнее сочленение? Чтобы во главе сидел «б о л ь ш е - в и к» и при помощи «ч е к а» управлял бы сверху «с о в е т с к о й в л а с ь ю». По-моему, приятнее звучало бы, а главное — много проще и доступнее для народа.

Прошу извинить за эти чуждые вторжения в сферу демократии и в область языка, но без названных слов, согласитесь, литературный процесс в России, мягко говоря, — непонятен. Потому что, когда читаешь книги, выпущенные самиздатовским способом, очень часто, в особенности в первый момент, создается впечатление, что начальство из-за своей перегрузки просто еще не удосужилось прочитать эти книги, а то бы наверняка спохватилось, опомнилось и что-то изменило в режиме нашего уничтожения. Настолько эти книги — письмом своим, фактами, взыванием к лучшим чувствам человечества — представляются убедительнее и доказательнее тех бесчисленных циркуляров, что спускаются и спускаются сверху, в тишине, без

малейших попыток услышать, что же, собственно, происходит в действительности...

Здесь, на этом месте, литературе следует быть настороже и не поддаваться обаянию с чувством, со всей правдивостью произнесенного слова. Опасность, грозящая современной русской словесности, — разумеется, запретной (о другой вообще не может быть и речи, настолько она отстала от художественного процесса — лет на двести), это — перейти на положение унылой жалобной книги, которая подносится мысленно тем же властям (а те и в ус не дуют) или складывается в шкаф, до лучших времен, когда люди научатся жить по правде. Это — застарелый грех девятнадцатого столетия, перешедший к нам по наследству от двух книг с вопросительными заглавиями: «Кто виноват?» и «Что делать?» Мы опять оказываемся перед кровавой дилеммой: с кем вы, мастера культуры? — за кого вы? — за правду или за казенную ложь? При такой постановке вопроса у писателя, понятно, нет выбора, и он гордо отвечает: за правду! И это единственно достойный ответ в подобной ситуации. Но, провозглашая — «за правду!», нужно помнить, что сказал Сталин, когда какие-то храбрецы из Союза Писателей попросили его разъяснить раз и навсегда, что такое социалистический реализм и как достичь практически этих сияющих вершин. Не задумываясь, не моргнув глазом, вождь ответил:

— Пишите правду — это и будет социалистический реализм!

Дошло до того, что правды надо бояться. Чтобы она опять не села нам на шею. Чтобы писатель, отказавшийся лгать, творил бы — и помимо всякого «реализма». В противном случае вся обещаю-

щая, освобожденная словесность опять сведется к отчету о том, как мы мучились и что предлагаем взамен. Сведется к вопросам: «что делать?» и «кто виноват?» И всё пойдет прахом и начнется сначала: «освободительное движение» — «натуральная школа» — «передвижники» — и как естественный венец — «партийная литература» в виде винтиков и колесиков к «общепролетарскому делу»... Хорошо бы этого избежать. Не предлагать готовых рецептов. Открестившись от лжи, мы не имеем права впадать в соблазн правды, которая снова всех нас поведет к социалистическому реализму навыворот. Сколько можно лебезить и заискивать перед действительностью, которая нами помыкает! Писатели все-таки, художники слова.

Не пора ли отрешиться от магии слов, вроде — «реализм», «коммунизм»? Не время ли вынести все эти вещи за скобки, как нечто само собой разумеющееся? Один молодой человек явился в дом и сказал: «я — антикоммунист! я — за правду!» В первый момент это прозвучало. Еще бы: говорит и не боится. Но потом пришли на ум сомнения, аналогии. Допустим, человек то и дело повторяет: «я — антифашист!» Очень мило. Только как-то слишком общо, недостоверно, назойливо. И зачем брать за точку отсчета собственной полноценности то, что для вас потеряло цену? Сколько можно определять себя — негативно? Мы никуда не сдвинемся с реализма-коммунизма, если станем всё время оглядываться на эти слова. Не говорим же мы: «я — антилжец!» Или: «я — антизверь, антипалач!» Если ты — человек, то зачем тебе ежедневно доказывать, что ты давно уже вышел из животного состояния?..

Потому-то я, признаться, побаиваюсь — реализма. Как бы с него не пошла, не развилась на земле новая ложь...

Эпоха научила нас хуже подчас относиться к праведникам, чем к заведомым стукачам. Заведомый — еще посмотрит, подумает: продать тебя сразу, сейчас, или выгоднее — подождать. Праведник, жертвуя жизнью, пойдет и заложит. Ах, эти чудные девочки, выходившие, рискуя собой, на трибуны комсомольских собраний:

— Андрей, встань и ответь перед всеми — скажи правду со всей откровенностью: что ты мне вчера рассказывал про колхозы перед тем, как мы целовались?! А ну-ка, признайся — со всей принципиальностью!

Честные, голубоглазые девушки... Вот он — реализм!

А может, всё же попробуем вынести его за скобки (на свалку)?..

Я понимаю, что всё, что здесь говорится, пройдет впустую — как чистая лирика. Что слишком велик еще гнет государства, чтобы мы могли отделиться, эмансипироваться — от «коммунизма», от «реализма». Мы осознаём себя всё еще слишком зависимо, слишком негативно. И только тот гнет еще — наше оправдание...

Вот недавно снова спустили (привет!) писателям медаль за отвагу имени Александра Фадеева. Фадеев же, как всем известно из газетных столбцов, из правительственного отклика на его преждевременную смерть, покончил с собой по причине хронического алкоголизма и ничего достойного своей золотой медали не сделал — разве что раскаялся под конец в нанесенном отечественной словесно-

сти ущербе. И невольно возникает (не хочется — а возникает) вопрос. Как долго можно большому и самостоятельному государству обходиться без литературы и искусства, с которыми, едва они появляются, проникая по тем же слабым каналам Самиздата, государство считает своим первым делом и главным долгом — бороться? Генералов напускать, сталеваров, газосварщиков, которые легко и просто курочат писателей с их бумажным скарбом. Ну еще понятно, когда Чехословакия, маленькая страна, вдобавок, вероятно, не совсем самостоятельная, все последние годы, говорят, прекрасно существует безо всякой литературы и ничего себе, процветает, и ей не стыдно. Но мы же — не Чехословакия. Мы же эту Чехословакию, извините, — и в нос и в рот! И что нам Мадагаскар или Новая Гвинея, которые тоже в недалеком будущем подпадут под нашу руку? «И Африка мне не нужна!» — как поется в песне совершенно официально. Захватим Африку, захватим Америку — прекрасно! А с чем останемся? — С медалью Александра Фадеева за отвагу?..

Всё это похоже на кардиограмму слабеющего сердца. Это похоже на монолог перед совершенно беззвучным экраном. Звук — выключен, и слова не доносятся с экрана, только видишь, как что-то читают по бумажке и машут руками, маршируют и аплодируют друг другу в ответ на беззвучные речи. И закрадывается подозрение, когда долго на это смотришь, что, может быть, как мы, сидя перед экраном, ни слова не слышим, так они не слышат и не понимают, что делается здесь, в этом литературном процессе, который всё что-то пытается объяснить своему правительству и предлагает его вниманию то одну, то другую книгу, которые ка-

жуются нам абсолютно неопровержимыми, замечательными, обещающими, ну а до слуха этих теней на экране те слова попросту не доходят. Книги им не слышны, не нужны... Я пытаюсь передать взаимоотношение литературы и общества в России.

В нашем лагере сидела группа ребят, осужденная в дальней провинции за составление листовок коммунистического направления, но, понятно, с кое-какими поправками и советами в сторону смягчения и снисхождения к народу. Разбросав свои революционные листовки, наши комсомольцы, куда их не арестовали, приняли резолюцию — купить новые брюки и туфли своему несколько обносившемуся лидеру и все свободные часы проводить перед телевизором и слушать внимательно радиопередачи из Москвы — для того, чтобы не пропустить тот исторический момент, когда власти, прочтя листовки и вникнув в их смысл, по радио и по телевидению обратятся за моральной поддержкой к нашим доброжелателям, находившимся, естественно, на полуподпольном положении и потому для начальственного глаза пока не доступным. То есть ждали, когда кликнут клич и позовут в гости, расчувствовавшись от таких правдивых и полезных обществу листовок. Для того и штаны были необходимы, и ботинки — на случай встречи с правительством.

Всё это из той же оперы — вера в силу слова. И народ верит, и писатели, и власти (которые, по всем правилам, исследовав те листовки, тех правдоискателей незамедлительно выловили и изолировали), и сочинители бесчисленных писем, жалоб и обращений по адресу тех же властей. Поэтому — пишут, и поэтому — не велят писать. Поэтому —

молчат, и поэтому — сажают. Помимо печальных и комических сторон этого дела, здесь можно обнаружить глубоко положительные начала, присущие русской жизни и русской словесности. Слово для нас всё еще слишком живо, слишком пылко, вещественно, действенно по своей внутренней секреции, чтобы к нему относиться с прохладцей, как на Западе, где все слова произносятся, пишутся без особых как будто препятствий, но и без особого, вероятно, задора со стороны пишущих. Западу наши проблемы, может быть даже, совсем непонятны. Непонятно — зачем кого-то нужно истреблять за слова? Непонятно — почему официальная и большая часть литераторов, громадная писательская армия, не может слова вымолвить без того, чтобы не оглянуться, как всё это согласовывается с планами и языком вышестоящих организаций? И почему в этой армии нет-нет, а что-то проскочит и кто-то вскинется и пойдет кричать, да так запальчиво, как будто он думает весь мир перевернуть?

Мы для Запада всё равно, что для нас — китайцы. Много мы плачем по Китаю? Да только в том отношении, чтобы нас не замал, а так пусть себе живет на здоровье, как знает, и ловит за хвост своего Конфуция на смех курам, и мы готовы отдать ему всё, что у нас самих есть в багаже смешного и безобразного, — пускай расхлебывает эту кашу. На тебе, убоже, что мне не гоже. Китай ведь это всегда что-то странное. Им, китаяцам, наверное, так и надо, они — привыкли...

Но, относясь скептически к надеждам силою слова что-то изменить и поправить в этом мире, можно и должно воспользоваться нашей вековой, чисто российской привычкой воспринимать

слово реально, как будто оно само по себе и есть уже целое дело, за которое к стенке ставят, — для того, чтобы на этой навозной, плодородной почве попытаться вырастить нечто удивительное, экзотическое, пусть не в жизненном, так в собственно словесном, литературном значении. Гору не сдвинем, но сказка, может быть, и появится.

Когда арестовали Аркадия Белинкова (это было, кажется, в 44-ом году) за написание романа, так и не увидевшего свет, следователь направил рукопись на рецензию двум выдающимся литературоведам страны — Е. Ковальчик (она заведовала кафедрой советской литературы в Московском Университете) и В. Ермилову. Рецензии были написаны на высоком академическом уровне, с тщательным разбором, по косточкам, всего романа, с применением даже стилистического анализа, который заканчивался одним практическим выводом:

— Бешеным псам не должно быть пощады! Этот лозунг трудящихся был усвоен филологической наукой еще с полосы расстрелов середины тридцатых годов. Итак, куда ни кинем взор, видим поразительную способность России принимать писателя за чистую монету, то есть в его художественных образах читать действительно что-то такое грозное и опасное для жизни. Так вот этой способностью, говорю, и стоит воспользоваться...

Не обязательно ссылаться на отрицательные примеры. В истории литературы содержится немало фактов, свидетельствующих о высоком исполнении писателем своего долга перед родиной. На вечере памяти Эдуарда Багрицкого (это было уже после кончины Сталина, но еще до полного развен-

чания культа его личности) ныне покойный, а в свое время боевой, комсомольский, журналист и писатель М. Колосов рассказал молодежи, захлебываясь, такой эпизод. Они жили с Багрицким на одной лестничной площадке и находились в добром přátельстве. Но вот однажды вечером Багрицкому позвонил телефон, и неизвестный голос агента госбезопасности предложил к двенадцати ночи явиться по указанному адресу, сохранив этот вызов в тайне даже от членов семьи, — так вот Багрицкий тогда, несмотря на старое приятельство, ничего не раскрыл своему сожителю и выполнил в точности спущенную по телефону инструкцию. Сожитель же, как лицо партийное и доверенное, кейфовал, зная заранее, что здесь кроется, и заскочив нарочно в тот вечерок к Эдуарду — посмотреть, как тот станет вертеться около полуночи. К одиннадцати примерно Багрицкий начал нервничать, поглядывать на часы и, видя, что гость не уходит, мрачно объявил наконец, что намерен прогуляться. Колосов, посмеиваясь, предложил проводить, тем более, что аналогичный маршрут сам получил накануне и просто испытывал бдительность своего знаменитого друга. Что тут поднялось!.. Багрицкий накричал, чтобы его оставили в покое, одного... А через час они столкнулись носом к носу в доме Горького, куда таким же звонком были созваны многие литераторы из наиболее достойных — для дружеской встречи со Сталиным. В ту ночь и были выданы советской словесности новый устав и паспорт — «социалистического реализма»...

Пока Марк Колосов дорисовывал портрет Эдуарда Багрицкого (честность, прямота, умение соблюдать военную тайну и т. д.), нам, слушателям,

представилась необычайная в самом деле картина, позволяющая схватить весьма существенные, хотя почти незаметные, звенья, из которых, как цепь, складывается литературный процесс. Представьте и вы, читатель, ночную Москву начала 30-х годов, по которой, хоронясь друг от друга, как воры, со всех концов столицы, вызванные полицейским звонком и не ведающие еще, зачем их по секрету затребовали, — сползаются писатели, «инженеры человеческих душ». Вот это и есть консолидация, это и есть конспирация писательского сознания, говорящего одним своим ночным, зловещим колоритом, что русская литература это вам не щи хлебать, не пописывать пером по бумаге, но нечто неизмеримо ответственное и бесконечно запретное.

Правда, сейчас той внутренней силы и веры, двигавших писателями, которые с радостным страхом собирались ночью, по одиночке, под крылышком у Горького, — уже не воротить. Писатели сейчас скорее расползаются по ночам в разные стороны, кто куда. В советской литературе начался разброд и разъезд. Но даже в этом разброде чувствуется целеустремленность (только в разные стороны) того процесса, который в иные времена знаменовался — консолидацией. Конспирация же — еще пуще возросла. И почему бы опять-таки не употребить эти славные качества, очевидно органически присущие русскому духу, на пользу дела, оставив его, это дело (пока хотя бы), на уровне — слова?... Какие бы романы полились, пьесы, стихи!.. Как бы мы опять удивили мир загадочностью русской души!..

Русская книга (если брать ее по серьезному, по большому счету) всегда писалась и пишется кро-

вью, и в этом ее преимущество, в этом ее первенство в мировой литературе. Оттого теперь так проигрывает Госиздат перед Самиздатом, хотя силы далеко не равны. И оттого-то Сталин, прекрасно разбиравшийся в человеческой психологии, устроил для художников слова подобающую художественную инсценировку, в виде сходки на конспиративной квартире, после чего, естественно, писатели, как герои, были готовы беззаветно жертвовать собою... Нынче опомнились и жертвуем посвоему. Какая же все-таки бездна талантов нужна России, чтобы всю историю своей литературы, то есть занятия сравнительно мирного, не пыльного (сиди и пиши), устилать трупами! Чтобы всё развитие страны, начиная чуть ли не с Ивана Грозного (до этого не помним — память отшибло), следовало не путем накопления и сбережения ценностей, но — дорогой раскола, когда целые семьи, сословия, категории населения (например, те же «раскольники»), подчас самые как раз талантливые, нравственно чуткие, интересные наконец, способные принести славу нации, периодически изничтожались, либо выбрасывались прочь, как мусор. Какая, однако же, богатая страна, что так щедро, так расточительно разбрасывается людскими запасами и, оскудев, вновь наполняется — для новой жатвы, для новой диаспоры...

Сейчас на повестке дня Третья эмиграция, третья за время советской власти, за пятьдесят семь лет. Пока что ее подавляющую часть составляют евреи, которых более менее выпускают. Но, если бы выпускали всех, еще не известно, кто бы перевесил — литовцы, латыши, русские или украинцы... Хорошо, что выпускают евреев, хоть —

евреев. И это не просто переселение народа на свою историческую родину, а прежде всего и главным образом — бегство из России. Значит, пришлось солоно. Значит — допекли. Кое-кто сходит с ума, вырвавшись на волю. Кто-то бедствует, ищет к чему бы русскому приткнуться в этом раздольном, безвоздушном, чужеземном мире. Но всё бегут и бегут. Россия-Мать, Россия-Сука, ты ответишь и за это очередное, вскормленное тобою и выброшенное потом на помойку, с позором, — дитя!..

Без евреев Россия, конечно, обойдется, как обходилась она без церкви, без дворянства, без интеллигенции, без литературы... У нее, в конце концов, хватит сил и средств восполнить и этот урон. А все-таки грустно нынешнюю Россию видеть без евреев. Империя все-таки, и кого в ней только нет — и татары, и чуваша, и греки, и даже ассирийцы... Как же без евреев? Это скучно будет. Одноцветно. И потом, на кого мы свалим тогда наши очередные грехи?..

Здесь уместно сказать мне несколько слов в защиту антисемитизма в России. То есть: что хорошее скрыто, в психологическом смысле, в русском недружелюбии (выразимся так — помягче) к евреям? Русский человек не в силах допустить, что какое-то зло от него, от русского человека, исходит. Потому что внутри (как всякий человек, вероятно), в душе, он — хороший. Он не может представить, что в Русском государстве русские люди чувствуют себя плохо по вине таких же русских или по своей собственной вине. Русский — это свой (свойский, советский). От своих зла не бывает, зло всегда от чужих. Российский антисемитизм — это форма отчуждения зла, это — спи-

хивание собственных пороков на «козла отпущения», на евреев...

Понятно, еврею от этого не легче. Но я прошу учесть в данном случае и нравственную сторону русского человека, который, натворив столько бед над собой и над другими, никак не может взять в толк, как же это всё получилось, и, не иначе, здесь какие-то «вредители» замешались, «шпионы» и «диверсанты», тайно захватившие власть и всё доброе в русском народе обратившие в плохое. В лагере, например, простые мужики (особенно из долгосрочников) по сей день уверены, что всё правительство в нынешней России, и все судьи, и все прокуроры, и, главное, КГБ — сплошь состоят из одних евреев. И объяснить им, что еврею сейчас на такие высоты просто не пробраться, что евреям теперь самим не сладко, — совершенно невозможно. Решающий довод:

— Неужто ты думаешь, что русский человек мог бы давать ни за что — двадцать пять лет?! Это только еврей может!..

И бессмысленно ссылаться на имена управляющих, вроде Ивана Ивановича Иванова: «знаем-знаем — все они изменили имена и фамилии, перекрасились, у, жидаы! — ненавижу!..» И бессмысленно демонстрировать напечатанные в «Правде» портреты какого-нибудь Политбюро, ЦК или Президиума Верховного Совета, где господствуют толстые, курносые, простодушные, великодержавные ряжки:

— У-у-у, жидовская морда. Да ты посмотри — типичный жид!..

Чтобы не вышло диффамации, не стану называть имена уважаемых и стопроцентно русских товарищей, к кому эти реплики относятся.

Ссылки на политику, известную всем из газет, что Советский Союз в войне арабов с Израилем поддерживает арабов, — тоже не помогут. «Знаем-знаем: тайно они всё равно помогают Израилю! Ты не знаешь, какие они — змеи!» И одновременно — в шестидневной войне — всё сочувствие на стороне Израйля: приятно, когда маленький бьет большого...

Это — не дикость, не бескультурье, как думают многие евреи. Это — стремление себя уберечь от всепроникающего и вездесущего духа. Жажда отказаться от зла. Не надо быть наивным и надеяться (как надеются некоторые евреи), что антисемитизм в России — это исключительно насаждаемый сверху, государственной властью, порядок, падающий на слепую, необразованную почву. Э-э-э, русский мужичок не так уж прост и совсем не слеп. Он давно знает, что и Ленин — еврей, и Сталин — тоже (грузинский еврей), и даже Лев Толстой — еврей (доводилось сталкиваться и с этой версией). Правда, примеры Ивана Грозного с опричниной, Чингиз-хана и Мао Цзе-дуна, которые при всем желании никак уже не могут быть евреями, несмотря на все чинимые ими бедствия, несколько озадачивают (а впрочем — кто их знает?). Короче говоря, еврей в народном понимании это — бес. Это — чёрт, проникший нелегальным путем в праведное тело России и сделавший всё не так, как надо. Еврей — объективированный первородный грех России, от которого она всё время хочет и не может очиститься.

Не нужно думать, что здесь влияют только реминисценции революции, двадцатых или тридцатых годов, когда евреи играли не последнюю роль в русской истории. Тема эта шире, много шире — даже советской власти. Это, если угодно, метафизика русской души, которая пытается в который раз (и революция из-за этого произошла) вернуться в первоначальное, райское состояние. А всё не получается — всё какой-то «жид» мешает и путает все карты. «Жид» — он где-то между нами, позади нас и, случается иногда, внутри нас самих. «Жид» — посреди зудит, он ввинчивается повсюду и всё портит. «Не жидись!» — это сказано с сердцем, с сознанием, что русский человек не должен, не может быть плохим. «Жида одолели!» — как вши, как тараканы. Как бы от них избавиться!

А избавиться — трудно. Татарина, например, или цыгана — за версту узнаешь и заводишь с ним свои хитрые, свои русские, в общем-то простые, понятные (советские) отношения. А жид почти как русский — почти?! Его с первого взгляда не всегда угадаешь (и примешь за Ивана Ивановича). Жид — настырен, увертлив (а что ему остается?). Жида надо вылавливать, распознавать. Жид — это скрытый раздражитель мирной российской жизни, которая, не будь жидов, пошла бы по маслу... И мы были бы в раю, когда б не эти бесы.

Нынешняя антисемитская политика государственной власти зиждется во многом на том народном представлении (и потому ее никак «антинародной» не назовешь), что, стоит отринуть зло и предать его анафеме под видом ли «буржуев», «правого» или «левого» уклона, под названием ли «фашистов», «врагов народа», «убийц в белых халатах», или,

проще сказать, под именем «жидов», как настанут спокойные, блаженные времена, поскольку внутри себя, посреди «своих», мы же все хорошие, образованные, и лишь «жиды» не дают, чтобы всё образовалось...

Если в лагере зав. политчастью говорит молодому человеку, посаженному как «особо опасный государственный преступник» за «антисоветскую агитацию и пропаганду» (и говорит искренне, с болью в голосе):

— Как вы смеее не ходить на политзанятия, когда сейчас в мире идет такая острая идеологическая борьба?!..

— если в лагере приехавший из центра лектор, обращаясь к аудитории, состоящей сплошь из шпионов, диверсантов, террористов и ярых антисоветчиков, всё же произносит полушепотом:

— С Китаем у нас сейчас очень сложные, напряженные отношения. Только я прошу, чтобы всё это осталось между нами...

— то это значит, что здесь мы все свои, «советские» люди (а как же может быть по-иному?!), значит, сор из избы нельзя выносить. «Империалисты», живущие во внешнем, недостижимом пространстве (у Козьмы Индикоплова всё это отлично размещено и объяснено в его «Топографии»), только и зарятся на наши земли, на наши души, «империалисты» — это жиды, весь мир — жиды, но мы им никогда и ни за что не поддадимся!

Когда-то Салтыков-Щедрин, кажется, острил на счет «унутреннего врага». Так вот жид в России сейчас и есть самый важный «унутренний враг», которого лучше выгнать во внешнюю зону (изгнание бесов), а потом (во вне — это гораздо легче де-

лается) — раздавить танками. И для этого, вероятно, мы пока что, на будущий случай, посылаем наши танки — арабам.

Вы меня спросите: а какое всё это имеет отношение к русской литературе? Тем более, что вы (то есть — я) заявляете, что, кроме художественных забот, у вас вообще нет никаких претензий. Вопрос — законный. И я, лая, как собака, и встав на четвереньки, попытаюсь ответить.

Во-первых, еврейский вопрос имеет самое непосредственное, самое прямое касательство к литературному процессу. Во-первых, всякий русский писатель (русского происхождения), не желающий в настоящее время писать по указке, — это еврей. Это — выродок и враг народа. Я думаю, если теперь (наконец-то) станут резать евреев в России, то первым делом вырежут — писателей, интеллигентов не еврейского происхождения, чем-то не подпадающих под рубрику «свой человек».

И в более расширительном смысле всякий писатель — француз ли он, англичанин, американец, которому никто не угрожает, — еврей. Которого надо бить (и тогда он, может быть, что-то напишет).

Во-вторых, нынешний еврейский «исход» из России во многом совпадает с тем, как уходят и уходят из России рукописи. Вы подумайте об этих рукописях, переправляемых за границу. Каждая — рискует. Каждая уже заранее занесена в список тех, кого надо истреблять, как жидов, которые мешают и не дают жить. И вы представьте, как они себя чувствуют сейчас, эти рукописи, убежавшие из России и не знающие толком, что им теперь, без России, делать. Всё там осталось. Вся боль, позво-

ляющая писать... Евреи! Братья! — сколько нас? — раз, два и обчелся...

...Когда мы уезжали, а мы это делали под сурдинку, вместе с евреями, я видел, как на дощатом полу грузовика подпрыгивают книги, по направлению к таможене. Книги прыгали в связках, как лягушки, и мелькали названия: «Поэты Возрождения», «Живопись древнего Пскова». К тому моменту я уже от себя всё отряс. Но они прыгали. «Салтыков-Щедрин» в сочинениях, которого я не люблю и никогда не любил, подаренный другом юности, с которым мы разошлись однажды — на очной ставке. Книги — тоже уезжали, независимо от того, хотелось им или нет. Поворачивались дома, улицы Москвы, с которыми мы прожили — с этими книгами — всю жизнь. Мелькнул памятник Лермонтову (новостройка) — в позе молодого офицера, и сгинул. Но книги в связках прыгали вокруг меня и повторяли: «прощай». Я их увозил, эти книги, на свой страх и риск, не зная, что их ждет, ничего не обещая. Я только радовался, глядя на пачку коричневых книжек, что вместе с нами, поджав ушки, уезжает сам Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин...

Машину очень трясло. Дощаник под ногами — под книгами — раскачивался. Мы уезжали — навсегда. Всё было кончено и забыто. И только один, которого я никогда не любил, Михаил Евграфович, может быть, упирался, хотя тоже подпрыгивал.

Мы выехали на Каланчевку. Даль была открыта нашим дальнейшим приключениям. А кни-

ги — прыгали. И сам, собственной персоной, поджав ушки, улепетывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин...

Июнь 1974

Париж

ПАРАДОКСЫ ГРЕНОБЛЬСКОЙ ВЫСТАВКИ

О неофициальном советском искусстве

Выставка восьми московских художников, проходившая в этом году в Гренобле, давала как бы новый угол зрения на так называемое неофициальное советское искусство. Одно дело — видеть эти работы в естественной для них обстановке: в Москве, в квартирах (реже в мастерских) их авторов, рядом с московским бытом, из которого они произошли и отпечаток которого несут на себе, или — в редчайших случаях — на официальных выставках, где, среди погонных километров заказной живописи, они воспринимались как редкие нити в разорванной ткани традиции русского авангарда. Другое дело — видеть их вырванными из естественной среды, перенесенными в атмосферу современного западного музея.

Среди провинциальных музеев Франции Гренобльский музей пользуется известностью своим первоклассным собранием современного искусства и интересом к самым новейшим художественным течениям. Старое здание несколько помпезной архитектуры прошлого столетия руководители музея постарались приспособить к новым целям. Пространство его просторного вестибюля модернизировано системой легких перегородок, в одной из

них — узкое круглое отверстие, вступив в которое мы оказываемся в длинном темном туннеле; глухо и раскатисто звучат шаги по поверхности гофрированного железа и, ведомые во мраке тусклым светом вмонтированных в боковые перила лампочек, мы после продолжительного гулко-торжественного шествия оказываемся в огромном зале бывшей библиотеки, стены которой задрапированы многометровыми панно с абстрактной геометрической росписью. Здесь стоят, свисают с потолка, выступают из стен произведения новейшего искусства: гигантские подвесные конструкции из стальных трубок, вращающиеся металлические скульптуры, гнутое железо, пластик, папье-маше, бетон — все это без единого прикосновения кисти или резца. В соседних помещениях экспонировалась тогда выставка Теодора Балли, и его скульптуры, похожие на ярко окрашенные объемные дорожные знаки, в качестве символов современности были расставлены даже среди старой живописи. А рядом в двух просторных светлых залах висели работы московских художников: скособочившиеся бараки О. Рабина, хрупкие фантазии Б. Свешникова, коллажи с игральными картами В. Немухина, белые формы на белом фоне В. Вейсберга, картины и рисунки Д. Плавинского, А. Зверева, А. Харитонов и Д. Краснопевцева. Два мира, датированные одним временем, встретились в музейных залах: открытый, не скованный никакими канонами, свободный в проявлениях мир западной художественной культуры и замкнутый, сосредоточенный на себе, интимный мир московских художников; культура материала, выдумки, концепции, интеллекта и культура внутреннего сосредоточения, ду-

ха, переживания; сталь, бетон, распылители, электросварка и вырванные из альбомчиков листки ватмана, масло, перо, карандаш...

С точки зрения поверхностного западного зрителя, уже привыкшего судить об искусстве прежде всего по его формальным новациям, то, что он видел на выставке в Гренобле, — это не авангард. Все это уже было на Западе, и он был склонен узнавать в картинах московских художников лишь влияния экспрессионизма, сюрреализма и других течений, ставших сейчас уже классикой искусства XX века. Примерно так же смотрят на этот предмет и многие не менее поверхностные западные критики, пишущие о русском искусстве. Итальянский профессор Франко Миеле в своей недавно вышедшей толстой книге на эту тему дает следующую убийственную характеристику новому неофициальному движению в советском искусстве: «Ввиду отсутствия первоклассных талантов и ограниченности поля действия скульпторов и художников, их продукция является результатом не углубленного внутреннего созревания, а косвенным процессом восприятия западной проблематики, не точно и фрагментарно понятой»*. О наличии или отсутствии талантов в художественной культуре современной неофициальной России можно спорить, что же касается второй части характеристики Миеле, то она бесспорно является прямым результатом «неточно и фрагментарно» понятой им проблематики русской культуры и действительности, на почве которой она вырастает. Очевидно,

* Franco Miele. *L'avanguardia tradita. Arte Russo dal XIX al XX sec*, Roma, 1973, p. 477.

даже тридцатикратного (как сообщает профессор) посещения им Советского Союза оказалось недостаточно для этой цели.

Расценивать художественную культуру одной страны по критериям другой и выдавать на этом основании одной из них патент на прогрессивность — занятие обычное для массового зрителя, но мало плодотворное для историка. Бывают культуры авангардные, обгоняющие свое время, но наряду с ними существуют и другие, сохраняющие связи с прошлым, переводящие категории старой традиции на новый язык. Современникам первый тип представляется прогрессивным, а второй отсталым, консервативным, плетущимся в хвосте у эпохи. Однако, на проверку временем часто оказывается, что как раз культурам «отсталым» удавалось не только создавать новые ценности, но и сохранять что-то от старых, утраченных «прогрессивными». Хорошо известно, например, что в XV веке развивались параллельно культуры итальянского Ренессанса и Северной Европы. Смещение критериев в их оценке заводило в тупик целые поколения историков и искусствоведов. Думается, что нечто подобное происходит сейчас при сопоставлении неофициального советского и западного искусства.

Конечно, эта историческая аналогия весьма относительна. Во-первых, трудно сравнивать продукцию горсточки работающих сейчас в Советском Союзе подпольных художников с общей картиной западного искусства последних десятилетий (но если предположить, что число этих художников все время растет, и к тому же не ограничивать русскую художественную культуру чисто изобразительной, т. е. включить в нее хотя бы литературу,

то непропорциональность масштабов заметно сгладится). Во-вторых, само это расхождение между современным русским и западным искусством возникло в результате генетического парадокса: органически, шаг за шагом развивающаяся западная культура шла ко все большему разрыву с традициями, пока (в крайних своих течениях) не отбросила их окончательно, а русская культура, традиция которой была насильственно прервана, поругана и уничтожена, в своей наиболее авангардистской части тяготеет к наибольшему традиционализму (конечно, не в узко советском, а в самом широком смысле этого слова). Естественно, можно понять недоумение западных обозревателей перед такой «нелогичностью» русской культуры*.

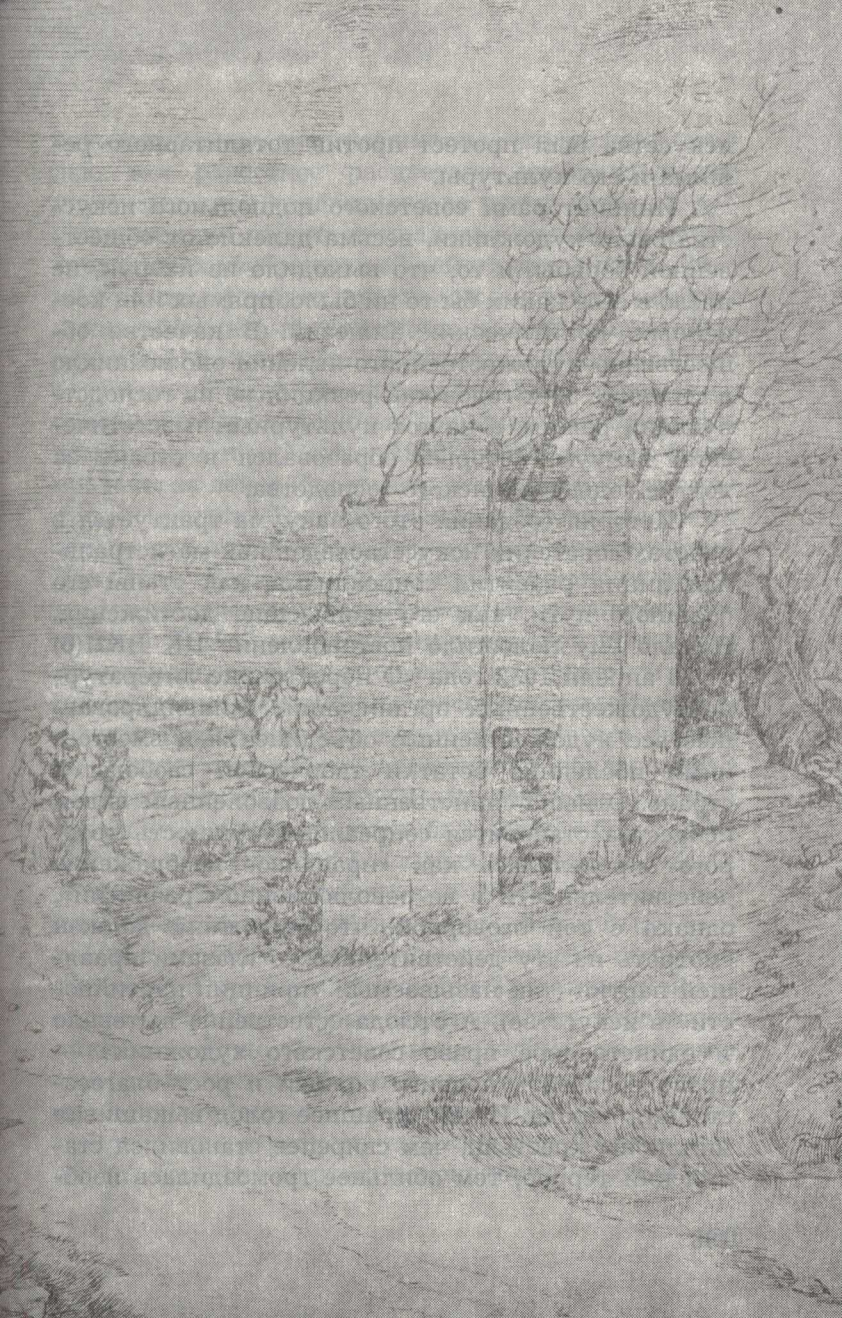
Художники, чьи произведения были показаны на выставке в Гренобле, не исчерпывают картину неофициального искусства в Советском Союзе. За последние два десятилетия здесь появились и свои абстракционисты, и чистые формотворцы, занимающиеся проблемами взаимоотношения света, цвета, объема, движения, и последователи поп-арта, концепционного искусства и других новейших течений, развивающихся сейчас на Западе. Среди них есть очень серьезные художники, и с формальной точки зрения они, казалось бы, продвинулись дальше по пути художественного прогресса. И все же мне кажется, что ядро этого движения, его нерв, его авангард составляют не нова-

* Франко Миеле в качестве чуть ли не главного отрицательного признака русской культуры выдвигает отсутствие в ней как логики развития, так и лежащей в ее основе логической философской концепции.

торы формы и новых творческих концепций, а новаторы видения мира, открыватели его новых интерпретаций.

Традиционализм современного русского авангарда есть результат не влияния советской идеологии, не компромисса с ней и не желания приспособить «фрагментарно понятую» западную проблематику к несозревшим вкусам местной аудитории. Этот художественный парадокс органически возрос в атмосфере парадоксальной советской действительности последних двух десятилетий и определяет уникальность советского неофициального искусства как общественного явления и эстетического феномена.

Специфика этого феномена заключается отнюдь не в его неофициальности или подпольности. Многострадальное наше столетие знало многие формы подобного искусства, ибо везде, где творческая свобода подавляется тоталитарными режимами, возникает и естественная реакция на это подавление, принимающая и художественную форму. В 30-40 годы неофициальное искусство получило распространение в фашистской Италии, в глубоко подполье оно существовало на территории Третьего Рейха и в странах, оккупированных нацистами. Достаточно вспомнить имена немецких мастеров Эрнста Барлаха и Кете Кольвиц, Ганса и Леа Грундигов, ранних французских и итальянских неореалистов (Гуттузо, Мукки, Фужерона, Таслицкого), польского скульптора К. Дуниковского, венгерских экспрессионистов и многих других. Часто они совмещали свое творчество с политической борьбой и импульсом, движущей силой их



искусства был протест против тоталитарного режима и его культуры.

Инициаторами советского подпольного искусства были художники, весьма далекие от общественной борьбы, и то, что выходило из их рук, не несло в себе каких бы то ни было, прямых или косвенных, политических аллюзий. В качестве общественно-художественного явления оно возникло в середине 50-х годов как реакция не на господствующий режим, а на тот культурный и эстетический вакуум, который образовался в стране за долгие годы сталинского господства.

История создания этого вакуума трактуется в работах советских искусствоведов как магистральная линия развития соцреализма, как этапы его большого пути, как его наивысшие достижения. Начало ему положило постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидировавшее все художественные объединения и вместе с ними последние остатки творческой свободы в стране. Отныне единственным дозволенным видом искусства становится соцреализм, сущность которого определялась как «правдивое изображение действительности в ее революционном развитии», однако с той оговоркой, что художник должен смотреть на эту действительность глазами правящей партии (так называемый «принцип партийности» в искусстве). А отсюда естественно вытекало и единственное право советского художника — право воспевать подвиги вождей и рост благосостояния народа. И чем страшнее голод выкашивал миллионы крестьян, чем свирепее становился сталинский террор, тем обильнее громоздилась изоб-

раженная снедь на праздничных колхозных столах, тем радостнее расцветали изображенными улыбками лица трудящихся во время встреч с руководителями партии и правительства на холстах «правдивых изобразителей действительности». 30-е и 40-е годы проходят под знаком жестокого искоренения всего, что не подходило под стандарты соцреализма. За четверть столетия в стране не было устроено ни одной выставки, не было издано ни одной книги, посвященных современному зарубежному искусству. Между 1929 и 1937 годами были проданы за ненадобностью иностранным капиталистам сокровища Государственного Эрмитажа (15 из сорока холстов Рембрандта, лучшие произведения Ван Эйка, Рафаэля, Веласкеса, Тициана и др., а деньги, очевидно, употреблены на колючую проволоку). В 1947 году был ликвидирован Музей нового западного искусства в Москве (одно из лучших в мире собраний импрессионистов, Сезанна, ранних Пикассо и Матисса и др.), и в его здание на Кропоткинской въехала вновь образованная Академия художеств СССР. В 1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом, был закрыт Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина — единственная в Москве коллекция классической западной живописи, и там была устроена постоянно действующая выставка подарков товарищу Сталину. Экспозиции Третьяковской галереи и Русского музея заканчивались передвижниками, и даже Левитан в последние сталинские годы вызывал подозрительное отношение своей якобы склонностью к импрессионизму. Все это неизбежно вело к резкому падению художественного вкуса общества и профессионального уровня ху-

дожников, к тому, что можно назвать культурным вакуумом.

Едва ли можно говорить о существовании в сталинские годы какого-либо неофициального или подпольного искусства. Хотя внешние условия для этого были: тогда еще продолжали работать зачинатели советского авангарда, не принявшие для себя символ веры новой официальной художественной идеологии. Однако разрыв между нею и всей мировой культурой XX века был настолько велик, настолько упал уровень художественного сознания в стране, что не только произведения Малевича или Татлина, но и картины Врубеля или Ренуара в глазах подавляющего большинства публики были неотличимы от мазков хвостом по холсту того самого осла, который стал подразумеваемым автором всякого искусства, отклоняющегося от ставших привычными стандартов соцреализма. При полном отсутствии аудитории искусство иного рода не приобрело, да и не могло приобрести, характера общественного явления.

Это случилось позже — в годы так называемого хрущевского либерализма, когда несколько приподнялся железный занавес, прочно отделявший страну от всего остального мира как в пространстве (от современной культуры), так и во времени (от всего культурного прошлого человечества), и культурный вакуум начал интенсивно втягивать в себя атмосферу, находившуюся по ту сторону этого занавеса. На зарубежных выставках, устраивавшихся с середины 50-х до начала 60-х годов (выставка VI всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве 1957 года, на которой было представлено свыше 4,5 тысяч произведений молодых художни-

ков 52-х стран мира, выставки Пикассо, Леже, английского, французского, американского искусства, а также Дрезденской галереи, картин из Лувра, мексиканского искусства и т. д.), советские художники и зрители впервые за четверть столетия увидели живое искусство XX века, вдохнули в себя свежую атмосферу его поисков и новаторства. Дело не в том, что молодые художники подпали под разлагающее влияние Запада (как по недобросовестности или недомыслию трактуют этот феномен соцреалистические теоретики). Столкновение это имело куда более серьезные последствия: художники открыли то, что было изгнано из окружающей действительности, но продолжало подспудную жизнь внутри каждого из них. То есть они открыли существование огромного мира культуры, к которому они принадлежали по праву рождения и к пожизненной высылке из которого они были приговорены мистическими законами материализма, управляющими обществом.

Борис Петрович Свешников, может быть, самый крупный из работающих сейчас московских художников, рассказывал, что в 1954 году, в день возвращения из восьмилетнего заключения в лагерях, он прямо с вокзала отправился не домой, не в ресторан и не к друзьям, а в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В воркутинском аду, куда восемнадцатилетний художник, успевший закончить лишь два курса художественного училища, был брошен машиной сталинского террора, он жил ценностями мировой культуры и смотрел на каторжную действительность сквозь призму этих ценностей. Свешникову повезло: после двух лет тяжелейших физических

работ, доведших его до полного физического истощения, ему удалось устроиться ночным сторожем на лагерный склад и здесь, тайком, по ночам, он начал рисовать. Северные пейзажи напоминали ему космические ландшафты Брейгеля, лагерные строения превращались в величественные развалины, люди обитали на той же земле, согревались тем же солнцем, любили, безумствовали, умирали как всегда и везде — в кошмарах Босха, в фантазмагориях Гойи, в пасторалях Ватто. И в эту страну безвременья художник уходил от настоящего, жить в котором не было сил. В этих условиях творчество не имело никакой практической цели. Не было даже надежды, что эти рисунки когда-нибудь попадут на волю и станут достоянием людей. В этих условиях творчество из профессиональной деятельности превращалось в форму существования, в средство создать свой мир и жить в нем, сохраняя себя как человека. И при этом оно обретало такую интенсивность, остроту и содержательность, каковыми редко обладает в обычных обстоятельствах. Возможно, если бы Свешников не писал, если бы он не создал для себя этот мир, он бы не выжил.

Случай Свешникова — это не исключение, а скорее правило для художников, работающих сейчас в Советском Союзе. Где бы ни работал художник — в своей комнате, мастерской или лагерном бараке — он создает свой мир, чтобы жить в нем, ибо за пределами этого мира — и это, быть может, самое сильное и острое ощущение каждого интеллигента в современной России — лежит вакуум, пустое пространство, лишенное атмосферы, где могут существовать лишь разрешенные картины,

утвержденные книги, санкционированные пьесы и апробированные симфонии, продолжающие не культурные традиции (и даже не ниспровергающие их ради создания новых), а последние партийные директивы. И как только (после смерти Сталина) смягчилась угроза за несогласие с последними быть сразу и автоматически переселенным из мастерской в тюремную камеру, художники начали интенсивно создавать (а зрители столь же интенсивно потреблять) то, что получило сейчас название советского неофициального искусства. Они жадно посещали зарубежные выставки, поглощали книги, журналы, репродукции. Древнерусская иконопись, зарубежная классика, искусство советского авангарда 20-х годов, современная западная живопись — все то, что в течение десятилетий тщательно скрывалось от них, оказалось совершенно непохоже на то, к чему их приучали в учебных заведениях. Праву называться членами Союза Советских Художников и пользования причитающимися благами они предпочли быть гражданами мировой культуры. Они работали грузчиками, санитарами, сторожами, а в своих каморках, подвалах и на чердаках писали то, что подсказывали им сердце и талант, и так, как их учили великие образцы искусства прошлого и настоящего. И встав на этот путь, они автоматически исключили себя из официальной художественной жизни. Не потому что их искусство было политически направленным, антиобщественным или нереалистичным, а потому что оно, так сказать, переменило гражданство.

Итак, сидя в комнате, в мастерской, в камере, ощущая окружающий вакуум, советские художни-

ки пишут... — что? Тут мы подходим к исходному пункту недопонимания, возникающего при столкновении русского авангарда с современной западной культурой.

Бывало немного странно видеть в каком-нибудь московском подвале художника, создающего монтажи в духе американского поп арта или покрывающего холст концепционными формулами. Как если бы портной пришивал пуговицы к еще не скроенному жилету. В то же время этот процесс вне России воспринимается совершенно естественным. Дело в том, что материал действительности на Западе уже тысячу раз скроен, пошит и перекроен механизмом культуры, он прошел эстетическую обработку в различных ее сферах — в литературе, кино, телевидении и т. д., и на долю художника остается сейчас, быть может, лишь формообразование и изобретение творческих концепций. Русская же действительность, все, что происходило здесь в течение долгих десятилетий и происходит сейчас, оказывается вне сферы культурной обработки, не находит своего отражения и интерпретации. И каждый подлинный работающий здесь художник принимает на себя функцию интерпретатора этой все еще неинтерпретированной действительности, не рискуя при этом повторить то, что уже сделано до него.

Если художники в России работают сейчас в атмосфере культурного вакуума, то западные художники — в атмосфере инфляции культуры (слишком много создается культурных ценностей, слишком они доступны и в силу этого обесцениваются). Может быть в основном поэтому нонконформизм западного авангарда проникнут духом нис-



провержения всех устоявшихся, в том числе и эстетических, структур. Их представители называют себя левыми, и часто их эстетическая левизна совпадает с политической. Художников-нонконформистов в Советском Союзе тоже называют левыми, но — и в этом заключается еще один русский парадокс — их творчество отнюдь не определяется духом борьбы, протеста и ниспровержения ценностей предшествующей культуры. Скорее они — хранители этих ценностей, и поэтому, с точки зрения Запада, принадлежат больше к правой, чем к левой художественной идеологии (не случайно многим здесь ближе разрушительный пафос Э. Неизвестного, чем углубленное духовидчество Б. Свешникова, поиски новых концепций И. Кабакова, чем обогащение традиционных средств Б. Биргера).

Все эти затрудняющие понимание сути дела парадоксы свидетельствуют лишь о том, что политическая терминология (правое-левое, прогрессивное-консервативное и т. п.), опрокинутая на искусство, работает в этой области не лучше, чем, скажем, в области анатомии (где левая нога никоим образом не вступает в антагонистические противоречия с правой и едва ли может претендовать на прогрессивность). На путях искусства важны не поставленные цели, а естественность и органичность процессов.

Органичность же процессов в неофициальном движении советского искусства определяется вышесказанным. В создавшемся культурном вакууме эти художники, волей или неволей, стремятся восстановить разорванные связи времен, а за их поисками всегда присутствует тоска по культуре, исчезнувшей с поверхности жизни, но таящейся

где-то в глубине души человека. Поэтому в работах Свешникова проходят образы прошлых эпох, звучащие как знакомые мелодии в сумбурной оркестровке XX века, а в стиле его рисунков ощущается то готическая ломкость дюреровского штриха, то сухая, протокольная точность старых фламандцев, то изящная линия рококо. В ташистских пейзажах Зверева вдруг прорывается бурная красочность романтизма прошлого столетия. Рисунки Плавинского плетут подчас причудливую вязь древнеславянского шрифта. Фантастический мир Харитоновва живет по эстетическим законам старых времен, а особым способом положенная краска на его холстах иногда напоминает разрушающуюся фактуру старой фрески. Рабин в своих урбанистических пейзажах кривые московские переулки, созданные для людей, предпочитает широким проспектам, созданным для машин и парадов, вывески — лозунгам, кирпичные колокольни — шлакоблочным башням. Они как бы перебрасывают мосты от сиюминутного к вечному, от проблематики временной и социальной к общечеловеческим, экзистенциальным ценностям. Если бы это искусство нуждалось в определении, я бы определил его как искусство изобразительное по форме и ностальгическое по содержанию.

Подобная ностальгия по культуре естественно не предполагает ни общественной критики, ни социального протеста. Это искусство ни к чему не призывает, никуда не ведет, ничего не ниспровергает. Его определяют в первую очередь не искания в области чистой формы, а традиционализм в широком диапазоне всей русской и мировой культуры. И тут возникает вопрос, ответ на который

тщетно искали западные зрители: почему же оно в таком случае подпольное? Почему же вместо того, чтобы блистать на официальных советских выставках, эти картины мирно осыпаются за шкафами и под кроватями их авторов, упрятанные туда от посторонних глаз? Конкретный пример, быть может, лучше поможет разрешить эти недоумения.

Борис Биргер* всю войну провел на фронте, после демобилизации закончил Московский художественный институт им. Сурикова и начал выставляться с 1953 года. Его ранние работы были сделаны в духе «Бубнового валета» и других «левых течений», он экспериментировал с цветом и формой, внося в затхлую атмосферу послесталинского времени свежую струю поиска и эксперимента. Вскоре он завоевал известность и советская пресса стала писать о нем как об «одном из ведущих молодых художников». Лишь в зрелом возрасте Биргер обрел собственный путь в искусстве. Формальные поиски сменились стремлением утвердить собственное видение и выработать живописную технику для его воплощения. Он обратился к идущей от Рембрандта традиции одухотворенной свето-живописи, разработав сложнейшую технику многоцветного мазка, при которой каждый миллиметр холста составлен из нескольких красочных пигментов. Его творчество эволюционировало от условности к реализму (в этом он сходен с Р. Фальком), и сейчас среди московских художников едва ли можно назвать имя более тонкого портретиста и

* Произведений Б. Биргера мало на Западе и их не удалось собрать для выставки в Гренобле.

выразителя внутренней жизни вещей. Но как только Биргер достиг уровня, намного превысившего советские эстетические стандарты, его обвинили в формализме, исключили из МОСХа и перестали выставлять.

Такова судьба многих русских художников. Еще в 1919 году талантливейший критик Николай Пунин, погибший в сталинских лагерях, писал: «Реалисты бездарны не как личность, а как школа, как форма. Не потому среди реалистов нет талантливых, что случайное безвременье постигло школу, а потому, что все талантливое бежит от этой школы, как жизнь бежит от вчерашнего дня к завтрашнему»*. Это высказывание Пунина сейчас, спустя 50 лет, с еще большим основанием можно отнести к соцреализму, который возник в условиях сталинского режима, умер вместе с ним, а теперь реанимируется его апологетами. Творчество его представителей сформировалось в ситуации резкого падения художественного уровня, на официальных заказах они потеряли последние крупинцы таланта и профессионального мастерства, но тем не менее продолжают и по сей день занимать руководящие позиции в советском искусстве (достаточно вспомнить, что президентом Академии Художеств СССР является сейчас скульптор Томский — бывший придворный сталинский портретист, наводивший в свое время страну тысячами его изваяний). Они, подобно обитающим на чердаке персонажам Кафки, могут существовать только в душной атмосфере культурного вакуума и глоток свежего

* Н. Пунин. Пролетарское искусство. «Искусство коммуны», № 19, 13. 4. 1919.

воздуха мировой культуры для них смерти подобен. Поэтому борьба официального и неофициального искусства в СССР — это не столкновение двух различных политических идеологий. Это борьба антикультуры (соцреализм можно назвать антикультурой в точном научном смысле этого слова, ибо он уже давно существует не созданием новых ценностей, а искоренением последних) с культурой, всего бездарного, косного, приспособленческого с талантливым, новым и искренним. Сейчас на советских выставках можно изредка увидеть плохой «формализм», но почти невозможно встретить талантливое искусство, хотя бы и реалистического толка.

В этом заключается последний и, быть может, наиболее болезненный для советских художников парадокс, произросший на почве тотального сюрреализма советской действительности последних десятилетий.

**В тексте статьи фрагменты из работ московского художника
Бориса Свешникова**

Александр Пятигорский

ЗАМЕТКИ О «МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ»

Эта маленькая статья — не более, чем впечатление. И отнюдь не первое. Скорее — последнее. Последнее не от того, что вещи, о которых собираюсь говорить, изменятся настолько, что станут неузнаваемы, а от того, что сам изменишься и не сможешь их увидеть прежними глазами.

«Считаете ли вы, — спросил меня один мой друг, живущий в Англии, — что метафизические идеи в современной России действительно интересны?» — На это я ответил: «Конечно, не считаю. Но само по себе существование метафизических идей в современной России есть факт необычайно интересный. Ведь раньше, при множестве других, внешних, казалось бы, гораздо более благоприятных обстоятельств, в России о метафизике вообще не думали, или думали очень мало (как в короткий, четвертьвековой послесоловьевский период). А сейчас думают, и до странности много».

Формы этого думанья удивительно причудливы и эфемерны. Метафизику не преподают в университетах, не занимаются ею в научно-исследовательских институтах, о ней не дискутируют в учебных обществах, ей не посвящают статьи в научных журналах, метафизики не выступают по радио и телевидению.

Но было бы вовсе неправильным сказать, что русская метафизика живет в подполье. Ничего подобного! Она не здесь и не там. Как и многое другое в России, она пребывает в некоторой «странной промежуточности» русской духовно-интеллектуальной жизни.

Я знаю одного очень старого человека, который всю жизнь читал в каком-то институте электротехнику и одновременно у себя дома вел нескончаемый семинар на тему «Платон, Гегель, христианство и наша жизнь». И это были не какие-нибудь случайные разговорчики. Начавшись в 1949 году, этот семинар до 1971 года прерывался, кажется, только один раз (когда тяжело заболел кто-то из главных его руководителей). Он не прекращался даже на летнее отпускное время. После смерти его основателя выяснилось, что архив семинара составляет около тридцати тысяч печатных страниц. Другим «ведущим метафизиком» является (слава Богу, по сю пору живой) преподаватель марксистской философии (диамата, истмата) одного из индустриальных институтов. Прочтя очередную лекцию на тему, скажем, «Первичность материи и вторичность сознания», он отправляется на дачу к своему другу химику, где читает доклад «Иллюзорность материального мира и реальность сознательного бытия». Третий, живущий под Москвой художник, уже двадцать лет возглавляет семинар «Оккультизм и богочеловечность». Но все это формы сугубо неофициальные. Бывает и совсем иное. Однажды мне позвонили из профкома одного авиационно-конструкторского института и попросили прочесть лекцию о философии буддизма. Перед началом лекции (там собралось человек двести уче-

ных, инженеров и техников) ко мне подошел член профкома (как потом выяснилось, он был также секретарем своей первичной парторганизации) и сказал: «Я только вас очень прошу, А. М., расскажите нам что-нибудь, что *нигде нельзя прочесть*, а то надоела вся эта... (далее следовало нецензурное слово, адекватно характеризующее действительное положение вещей в официальной философии). Или еще так (явный случай «промежуточности»): после одной из лекций «об Индии вообще», которые меня иногда просило читать руководство института, где я работал, ее устроители (кажется, это было на одном из московских химических заводов) попросили меня «к столу» и там, за едой и питьем, буквально в течение четырех часов расспрашивали меня о том, как можно «совместить» (это — любимое нынешнее, да и не только нынешнее, выражение, прекрасно выражающее «промежуточность») религию с позитивным научным знанием.

Однако, метафизики просто *говорят и пишут*. Говорят не на семинарах, а просто со своими друзьями, тоже метафизиками. Пишут не для опубликования, а просто, чтобы не забыть. И ни в коем случае не надо думать, что они метафизикой «утоляют умственный голод» или «заполняют пустоту жизни». Эти люди очень заняты умственно, а жизнь их весьма «заполнена» и без метафизики. Чистое умствование и свободное философствование — это сама их судьба, возносящая их над конформизмом большинства, уводящая их от оппозиционности меньшинства.

Здесь я хотел бы изложить лишь несколько идей из тех, что занимают нынешних русских

(«русский» — это страна; у метафизика нет нации!) и особенно московских метафизиков. Особое значение в последние годы получила для них *проблема осознания своей ситуации*. Но что, наконец, означает само слово «ситуация», если с метафизикой *ничего не происходит, ничего не случается, никак не обстоит?* (И, между прочим, такому подходу удивительно соответствует эфемерность и промежуточность жизни русских метафизиков, хотя, может быть, как заметил мой английский друг, именно эти чисто жизненные, так сказать «обстоятельные», особенности русской экзистенции и побуждают к метафизике, а иначе электротехник был бы себе электротехником, как все остальные, химик оставался бы химиком, а профессор марксизма читал бы лекции *по метафизике*, но метафизиком бы в реальности не был, хотя его остальная «неметафизическая» жизнь была бы уже не эфемерной, а в реальности происходящей.) Но, так или иначе, а «ситуация» означает именно в понимании ее метафизиками, с которыми я неоднократно об этом говорил (и при всех различиях в толковании этого слова), только одно: то, что может происходить, случаться, обстоит с людьми, оказавшимися в *поле метафизических идей и понятий, в сфере воздействия безличной силы сознания*. (При том, конечно, что само это поле предполагается абсолютно не подверженным никаким индивидуальным или социальным воздействиям со стороны «попавших в него людей».) Занимающийся в самые последние годы метафизикой (и феноменологией) московский психолог Т. сформулировал это так (в одной из *непубликуемых* им статей): «Безличная сила сознания всегда делает что-то с менталитетом, психи-

кой, памятью, мышлением, поведением «попавших» в сферу ее воздействия людей. И чем они глубже в этой сфере, чем точнее их язык понимания этой сферы, тем сильнее сила сознания с ними делает что-то».

С конца 60-х годов нашего века метафизика в России осознается все более и более, как абсолютно чуждая всяким и любым «натуральным» спецификациям, т. е. особенностям, которые полагаются природно обусловленными. Она не знает родины, страны, расы, народа, но возникшее или возникающее поле ее реализации *в людях* есть не только пространство, где они (эти люди) *живут*, но и где они *жили*.

В истоке «метафизической ситуации» лежат два важнейших *исторически* (а не метафизически!) отмеченных обстоятельства. Первое. В России начала 19-го века уже вполне завершилось неестественное (более того, противоестественное, извращенное) разделение философии на *религиозную*, т. е. с молитвенным, медитативным и богословским опытом, восходящим к Традиции, и *светскую*, т. е. постоянно питаемую новой (а затем и новейшей) европейской философией*. «Неестественное» здесь — не этическая оценка. (Но поскольку внутри моего впечатления всякое чистое философствование уже является религией, пусть в неспецифическом смысле этого слова, пусть в *нередуцированном* понимании этого понятия, то я думаю, что это разделение всегда вызывало искусственное разъедине-

* Причем, — и это уже связано с чисто историческими обстоятельствами *русской* жизни, — как первая всегда оставалась чуждой «официальной церкви», так вторая — официальной науке.

ние душевных сил мыслящих людей, их бесплодную трату.)

Второе. Уже с самого начала регулярного восприятия западной философии (все равно — чисто метафизической, или любой другой, хотя всегда явно преобладала «любая другая») в этом восприятии господствовал (сколь бы декларативно оно ни называло себя теоретическим, истинностным) *прагматизм*, использование философии в целях и решениях проблем сегодняшнего дня, и, прежде всего, *культурно-социальный* прагматизм. Философия всегда была нужна (или — полагалась ненужной, что одно и то же) для чего-то, либо (в лучшем случае) полагалась возникшей вследствие чего-то. Она выступала то в качестве «оправдания действительности», то в качестве «осуждения действительности», то как «орудие борьбы», то как «обоснование примирения». И всегда негативная сторона решительно преобладала над позитивной, всегда все тонуло в спорах, взаимных упреках, поисках ошибок друг у друга, выяснениях, кто прав, кто виноват, при почти полном отсутствии углубленной *личностной философской работы*. Едва став сопричастным какой-либо философской идее, человек сразу же превращал ее в средство *группового самоотжествления*, в орудие (или признак) противопоставления «мы» (а не «я») одной группы — «они» в другой.

«Философская горячность» периодически охватывала философствующих в России, вне зависимости от степени их одаренности или бездарности: гегельянский бред Белинского, Герцена и Бакунина, фейербахианский идиотизм Чернышевского, антикатолицизм Достоевского и «учительство

жизни» Толстого представляются, в этом смысле, рефлексами одной и той же глубинной религиозно-метафизической несерьезности*. И неудивительно поэтому, что на фоне всего этого социально-прагматического разгула философски мыслящие люди почти не знали о жизни и смерти Серафима Саровского (современника Белинского!) и едва ли серьезно оценили философское значение Вл. Соловьева. Кто знает, может быть, здесь сказалось и известное отсутствие философского профессионализма, и уважение к этой странной профессии, ибо это — профессия: философ не только тот, кто хочет и может философствовать, но и тот, кто едва ли может (не говоря уже о желании) делать что-либо иное**.

Большие изменения в метафизической ситуации пришли с волной культурного ренессанса конца 90-х годов прошлого века и 10-х годов нашего столетия. Активное философское переосмысление и переосознание христианских идей, возвращение философствования к его естественной религиозно-мистической подоснове, переход к действительно свободному философствованию, полностью отодвинувшему (во всяком случае, в тенденции) социально-культурный прагматизм, поиски новых конст-

* Очень забавно, что молодой Набоков в «Даре» увидел только половину правды, ибо для него Чернышевский и Достоевский явились как бы антиподами «по дару». Он не заметил, что они были родными братьями по *монизму, нетерпимости, ненависти к абсолютной свободе.*

** Именно наличием профессиональной философии и феноменальным уважением к ней можно объяснить тот факт, что младший современник Серафима, Рамакришна, был адекватно воспринят в «нищей и разоренной» Индии.

рукций и композиций для традиционных идей — всем этим было отмечено думанье Розанова, Булгакова, Флоренского, Бердяева, Шестова и немногих других религиозных мыслителей. Но что именно важно в них для нынешнего времени (т. е. в смысле ситуации), так это то, что их труды, может быть, в силу насыщенности православными идеями, оказались благодатнейшим материалом не только для православного восприятия, но и для религиозного восприятия вообще.

Последующее внешнее вытеснение православной религии в 20-х — 30-х годах, заступивший его место официальный подъем православия в 40-х годах и, наконец, «религиозный либерализм» 50-х — начала 60-х годов имели одно наистраннейшее и совсем уж непредвиденное последствие (непредвиденное не потому, что его невозможно было предвидеть, а потому, что его *некому* было предвидеть): конкретно мыслящие люди стали обнаруживать на своем собственном мышлении, что всякое *последовательное* философствование неизбежно приводит именно к религиозной метафизике.

Однажды Ш. позволил себе метафору: «Все конкретные конфессиональные религии — это разные инструменты божественного оркестра. Не смешным было бы, если скрипач, вместо того, чтобы играть, стал бы лупить смычком валторниста, утверждая, что вся музыка — это скрипка? Однако, так делалось и делается. И это — не вина скрипки, а ошибка скрипача, происходящая от того, что он еще (или уже) не осознает себя *музыкантом*. От того, что он, так сказать, «не доигрался» до *музыки вообще*». Тут возможны самые раз-

ные понимания, и почти все они будут правильными. В начале 60-х годов один мой добрый приятель Р., лингвист-теоретик, на мой вопрос, убежден ли он в существовании Бога, ответил: «Для меня точное позитивное знание — это матрица, которая не может существовать хотя бы без одной *пустой* ячейки. Эта ячейка — Бог». Здесь примечательно то, что Р. «перевернул» мой вопрос: как истинный ученый он был убежден не в том, что Бог существует, а в том, что наука не может существовать без Него, как сам он (Р.) — без науки. В этом сказался уже метафизический плюрализм Р. (затем ставшего одним из ведущих теоретиков семиотического направления).

Многие ученые позитивистского направления сначала *бессознательно* (в силу только *естественной* последовательности мышления) переходили на метафизические позиции, и почти всегда это происходило *через отказ* от какой-то единственной точки зрения, через избавление от *монизма*. И в этом смысле один факт представляется особенно знаменательным (т. е. несущим особое значение): весьма часто к концепции Бога ученые приходили в результате критического анализа языка своих собственных концепций. Важнейшей чертой, которой отмечено современное метафизическое думанье в России, служит особое понимание проблемы самоотождествления в связи с номинацией.

Надо сказать, что отношение к номинации (называнию в смысле двух уровней — «нулевого» и «мистического») сформировалось у меня под сильнейшим влиянием Ш. и П. Именно в разговорах с ними (я имею в виду — с каждым из них в от-

дельности) стала обнаруживаться возможность «редукции» самого понятия «номинация», т. е. возможность его сведения к определенным элементарным содержательностям сознания. Так в отношении номинации мистического уровня Ш. говорил: «Божественное название личности ее именем, означает, что она уже не осознает, не может осознавать (или называть) себя личностью, «Я», ибо как личность, как индивид она уже интенционально растворена в Божественной Интенции и Воле, и знает, что ее «Я» не существует. П. говорил: «Для меня такие имена как Сократ, Декарт, Кант, суть обозначения, названия той безличной Силы Сознания, которая в своих выплесках, пиках, вспышках, обнаруживается в моментах времени и точках пространства, получивших наименование Сократ, Декарт, Кант».

Около года назад лингвист Т. после часового разговора о буддийской метафизике мне сказал: «Я — православный, но я православный — в не существующей абстрактной позиции. Конкретно же говоря, если меня спросит об этом директор моего института, то я отвечу ему, что я — православный, но если меня об этом спросит священник, то ему мне придется ответить, что я крещенный, ибо у священника я должен предполагать такой уровень религиозно-мистического постижения (вне зависимости от того, есть он или его нет, о чем я не могу знать), на котором я — неверующий». Теологически интерпретируя это высказывание, Ш. ответил парафразой из Никиты Стифата: «все они — не крещенные, а оглашенные», имея в виду только «означенность», но не мистическую сопричастность, фиксируемую в словах «верующий»,

«крещен», коль скоро они не проходят через контроль метафизической мысли. Возможно, что принцип этого уровня внешне может выглядеть как крайний рационализм. Мне он больше представляется лишь другим выражением древнейшего буддистического понятия (притом — чисто мистического, т. е. могущего быть познанным лишь в опыте особых состояний сознания) «пустотность всех понятий» или христианского понятия апофатического опыта. Но принцип контроля совсем не обязательно должен исходить изнутри конфессиональной религии. Известный математический логик В. во время долгого спора о языке метафизики вдруг сказал: «А ведь интересно! Наша антирелигиозная пропаганда возвещает, что «Бога нет». Но ведь ни в одном христианском тексте не говорится «Бог есть», а говорится «Бог есть Троица». Этим он подчеркнул именно метафизическую очевидность того факта, что официальная атеистическая позиция *не имеет своего языка*, т. е. выражаясь уже буддистически, можно было бы сказать, что она не имеет того языка, который *можно контролировать: ее «язык» — это только средство описания ее реакции на нечто, что она считает религией*. Ведь в принципе высказывание «вы верите в Бога, а я — атеист», в такой же мере метафизически бессмысленно, как высказывание «вы — атеист, а я верю в Бога», ибо там и там фиксируется определенная *негативистическая* позиция, решительно несовместимая со свободой религиозно-метафизического мышления.

Последнее обстоятельство особенно важно вот в каком отношении. «Прорезывание зубов» у русской метафизической ситуации совпало во времени

(особенно в Москве) с весьма сильным христианским, иудейским и буддийским неопитством. Мне представляется, что дело здесь не в «совпадении», а скорее, в каком-то едином импульсе, давшем различные эффекты на различном человеческом (персонологическом) материале. Но конфессиональная религия дает неконтролирующему себя индивиду гораздо большие возможности для самоотождествления, чем метафизика. Совсем недавно один московский физик А. В. после нескольких моих совершенно бесплодных попыток обнаружить у него метафизическое мышление сказал: «А ведь как было бы хорошо, А. М., если бы вы, буддист, объяснили бы нам, евреям, как вы с вашей точки зрения видите современное положение евреев в стране». Сначала я подумал: «Господи! Да ведь для меня, как буддиста, не может быть ни русских, ни евреев, ни страны, ни положения. Да ведь и для них, как для евреев, не должно существовать ничего, кроме Торы и Воли Господней. Что же я им смогу объяснить?» А потом я подумал: «Господи! Да ведь я такой же буддист, как они — евреи. Мы тонем в самоотождествлениях. Может быть, они не знают, что я — еврей, а они — буддисты»*.

* Ровно через два месяца после того я, уже в Европе, встретился с исключительно приятными, добрыми и обаятельными евреями, единственным недостатком которых, пожалуй, было лишь то, что они точно знали, кто еврей, а кто — нет. Согласно этому определению евреем считается всякий еврей, который принадлежит по религии иудаизму, либо является атеистом. Но если он придерживается каких-либо неиудаистских религиозных убеждений, то он — не еврей. Мой физик метафизически был гораздо осторожнее.

Но вот в том-то и штука, что здесь мы имеем дело с экзистенциальной потребностью в самоотождествлении, которая может быть религиозно отрефлексирована. Именно в отношении рефлексии московская метафизическая ситуация обнаруживает с начала 60-х годов все более и более резкое разделение теоретически мыслящих людей на методологов, систематологов и чистых метафизиков, разделение, которое никогда (и слава Богу!) не было никак организационно оформлено, но всегда было весьма четко персонологически мотивировано.

Метафизики понимают, что номинация — губительна, ибо она есть всегда — «минус самоосознание» и «плюс самоотождествление», и что рефлексия (хотя бы на начальных ступенях религиозного постижения) «помогает индивиду» стать, сделаться «личностью». П. очень точно выразил эту идею примерно такими словами: «Простой человек *уже знает*, что он — русский, еврей, верующий, атеист, но если он будет постоянно *работать*, то он не будет этого знать, не *сможет* этого знать, как тот, кто *уже давно не слышит*, как его называют другие (ибо он *только читает* свое думанье, свою «работу»).

Когда на одном из методологических семинаров Т. называли «русским индивидуалистом», то в его ответе оказались забавно (и правильно!) совмещенными буддийский и феноменологический подход. Он отвечал: «Я русский, поскольку ряд лиц (включая вас) так меня называют, и мне неинтересно ни соглашаться с этим, ни этого отрицать. Термин же «индивидуалист» предполагает двойственное содержание. Он может обозначать

того, кто не хочет, чтоб другие смешивали его с другим (включая и самих себя), или, выражаясь словами Померанца, господин не хочет, чтобы его смешивали с «рылами», т. е. он хочет быть *индивидом*. Но тот же термин может обозначать его желание быть индивидом, *чтобы стать личностью*. Это две совершенно разные интенции». И когда Ш. утверждает, что нет «простой веры» (поскольку *стоит вопрос о вере*), но что есть «освобождающее теологическое — догматическое думанье», то это почти однозначно «экзистенциальному воплю» Бердяева о том, что *есть только абсолютная свобода* (в «самопознании»), а не свобода «от чего-то».

В отношении нынешних русских метафизиков к *проблеме номинации* (я здесь не касался социальных импликаций этой проблемы), пожалуй, в наибольшей степени сказывается *религиозная неспецифичность* метафизической ситуации в России. Я думаю теперь, что это — благо: чем неспецифичнее религиозная метафизика, тем *объективно неизбежнее* контакт с нею современной позитивной науки в той мере, в какой она последовательно и корректно развивает свои исходные посылки, важнейшей из которых, на мой взгляд, является «посылка об абсолютном релятивизме языка».

Восточноевропейский диалог

БЕСЕДА С МИЛОВАНОМ ДЖИЛАСОМ

Дом расположен в тихом переулке, неподалеку от белградского парламента. Высокие деревья дарят здесь свою тень. Домашние хозяйки возвращаются с послеобеденными покупками. Несколько мужчин погрузились, по-видимому, в беседу. Затем подъезд: лестничная клетка тридцатых годов с тем легким налетом несвежести, который так обычен в жилых домах при социализме. Медная дощечка с надписью кириллицей: Милован Джилас. Недоверчивая домашняя работница (а, может быть, родственница) едва приоткрывает дверь. Но вот и сам он стоит передо мной — бывший коммунист и профессиональный революционер, во вторую мировую войну — партизанский командир, друг и соратник маршала Тито, борец за коммунизм и бунтарь против него, человек, ради правды отказавшийся от политической власти и блестящей карьеры и на многие годы пошедший в тюрьму того самого государства, в создании которого он сам участвовал с оружием в руках.

Поседел он с тех пор, как мы виделись в последний раз. Странно, как различны следы, которые годы оставляют на лицах людей, сколько их становится жесткими, исполненными горечи, но мне кажется, что у Джиласа это — наоборот. Партизанский командир и коммунистический аппарат-

чик прошлого, перед которым дрожала интеллигенция Белграда и Загреба, пережил много горестного и смягчился. Жесткость, столь присущая его лицу на его юношеских фотографиях и на снимках партизанского периода, исчезла. Его сухопарое телосложение заставляет вспомнить фрески на стенах древних сербских и черногорских монастырей. Герой переродился в мудреца. Но в глазах сохранился прежний огонь. Они повествуют нам о молодости, исполненной революции и борьбы.

Он приглашает меня в свой кабинет. Письменный стол, кровать, книги на полках вдоль стен. На столе стопой лежит рукопись. Это, говорит он, новейшая его книга и посвящена она геноциду, убийству целых народов. Описывается конкретный исторический пример: резня, учиненная христианским православным населением среди мусульманских жителей Черногории сразу после первой мировой войны. Джилас, сам привыкший быть действующим лицом в истории и в политике, хочет уяснить себе вопрос вины, но приходит он к выводу, что в такие роковые времена вина не поддается обычному определению. Вступает в действие столько обстоятельств, столько не поддающихся никакому учету факторов, столько страстей, что поверхностно на вопрос о вине ответить становится нельзя.

На этом примере мы видим, что, распрощавшись с коммунистической идеологией, Милован Джилас не остановился на полупути. Трагизм человеческого действия и его бездействия он познал на самом себе. Он понял, что простых ответов не существует. Верит ли Джилас в Бога? Нет, говорит он, религия для него не имеет значения. Если бы

Бог и существовал, говорит он, то ведь не стало бы это Высшее Существо, полагает Джилас, заниматься мелочами и мелочностью человеческого бытия.

Быть может, подобный героический агностицизм объясняется наследием его родной земли — Черногории, земли, где епископы были воинами, а воины епископами, и где христианство было способом борьбы против чуждого владычества турок. Затем мы переходим на Солженицына, говорим об «Архипелаге ГУЛаг», который Джилас прочел строку за строкой. Он берет со своего письменного стола экземпляр книги и показывает тщательно отмеченные в ней карандашом места. Это — наиболее значимая книга нашего времени, говорит он. Ему, Джиласу, Солженицын близок, как никто иной. Ведь он впервые до конца раскрыл всю сущность коммунистической идеологии. На вопрос, не намерен ли и он, как это сделал Сахаров, вступить с Солженицыным в дискуссию, Джилас качает головой. Против Солженицына брошены вся мощь Советского Союза, КГБ, коммунисты всего мира. Нет, он, Джилас, против этого человека не произнесет ни слова критики. Ощущается у Джиласа нечто от векового единства черногорцев с русскими, нечто от партизанского товарищества. Не долго думая он открывает огонь, чтобы прикрыть фланг друга и соратника.

Решающая ошибка коммунистов в том, говорит Джилас, что они продолжают развивать революцию, которая в современных условиях никуда дальше развиваться не может. Все попытки сохранить жизнь коммунизма обречены на неудачу, потому что нет больше тех исторических условий, которые коммунизм породили. Осталась лишь внеш-

няя сила и игра понятиями, давно утратившими свой первоначальный смысл. Но Джилас, которого его бывшие единомышленники в Югославии сторонятся, как чумы, и которому не выдают паспорта для поездок за границу (чем его положение и отличается от положения большинства граждан его страны), далек от огульного осуждения. Нельзя не почувствовать, что о Тито он говорит с уважением. Проводимая Тито внешняя политика, говорит он, — для Югославии единственно правильная и возможная. Как-то в другом случае Джилас сказал, что Тито знает советских руководителей и их способы действия лучше, чем какой бы то ни было иной политический деятель за пределами стран Варшавского союза. Не грусть ли по ушедшим в прошлые годы борьбы и воодушевления проскальзывает в этих словах Джиласа, политически вышедшего на пенсию?

На Запад Джилас смотрит не пессимистически. Отрицательные явления в жизни западного общества, начиная с роста преступности и кончая порнографией, имеют побочное значение. Они не затрагивают сущности и не меняют того положения, что западные формы общественной жизни намного превосходят коммунистические.

В своей родной стране Джилас живет сегодня, как будто он иностранец. Есть, очевидно, люди, которые побаиваются с ним заговаривать. Особенно на «низшем уровне» ему причиняют множество мелких и издевательских обид. И все-таки Милован Джилас взирает на будущее с надеждой. Он не грустит по власти, которой он некогда обладал. Стремись он к власти, говорит он, жизненный путь его принял бы иной оборот. Политика, — так гово-

рит этот человек, сам долгие годы занимавшийся политикой — в известном смысле все-таки остается грязным делом. Решающее значение имеет только то, обладает ли политический деятель нравственной и моральной установкой, которая осмыслила бы его дело и ограничивала бы произвол его власти.

В заключение он жалуется, что писать ему уже не так легко, как в прежние годы. Но думается, что этот человек, одинаково познавший и деятельную жизнь, и созерцание, далеко еще не произнес своего последнего слова. Из жесткости и скудости Балкан, из смуты гражданской войны вырос человек, распространяющий вокруг себя мудрость и доброту. За одно то, что он ему показал такой пример, мир должен быть благодарен Милловану Джиласу.

Беседу вел К. Штрем

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ!
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ВЫ СМОЖЕТЕ
ПРОЧЕСТЬ!

Повесть Иосифа Богораза — «Наседка»

Стихи Александра Галича

Статьи:

Наума Коржавина

Лешека Колаковского

Роберта Конквиста

Материалы с предисловием
Александра Солженицына

А также:

Окончание повести Владимира Корнилова

Продолжение мемуаров
кардинала Миндсенти

Редакция «Континента»

Людек П а х м а н

НОВАЯ «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА» — ВОПРОС И ЗАДАЧА

Собственно говоря, эту статью можно было бы назвать иначе: — «Что делать?», если бы только это словосочетание одного русского гуманиста не подверглось впоследствии такой дискредитации со стороны другого русского революционера и уже не такого гуманиста.

Когда мы шесть лет назад были у себя в Чехословакии поставлены перед необходимостью решить этот вопрос, мы подумали было — странным образом недостаточно учтя столь богатый опыт прошлого — что на этот вопрос возможен ответ, который находился бы в соответствии и с тем, и с другим. Мы видели свою задачу не в разрушении системы, а в ее очеловечении; мы не отвергали ее идеологии, а хотели ее только очистить. Правда, употребляемое здесь слово «мы» не охватывает всех чехов и словаков вообще, а относится только к тем нескольким сотням тысяч «коммунистов-реформаторов», которые весной 1968 года под водительством «политика с грустными глазами» Александра Дубчека устремились к созданию «социализма с человеческим лицом».

В те месяцы они могли опереться на большинство населения. Объективно проведенный опрос показал, что целых 67 процентов населения нашей

страны стояло на стороне Дубчека, то есть на стороне руководства КПЧ, следовавшей его программе действия. Из остальных 33 процентов небольшую кучку составляли те, кто мечтал только о социализме, без какого-то там особого лица, иные ни о чем вообще не думали, или уж во всяком случае не желали никакого социализма.

Ни в один момент своей истории коммунистическое движение не располагало такой широкой поддержкой народа, как это было весной 1968 года в Чехословакии. Когда-нибудь историки должны будут обратить внимание на то, что по невообразимой иронии судьбы советские танки в августе 1968 года задавили не только вновь зарождающуюся независимость, достоинство нашей страны, ее свободу и счастье, но уничтожили и последний, очевидно, шанс коммунистического движения, после всех искажений и преступлений прошлого, хоть где-то сыграть еще положительную роль. Этот представившийся ему шанс совершенно не был заслуженным и потому в гибели его под гусеницами советских танков — не только ирония, но и логика истории.

Что же должно было решиться весной 1968 года? Мощное стихийное движение народа требовало всего лишь малого и вместе с тем столь неизмеримо многого: свободы человека в той форме, в какой она со времен Платона стала основной идеей европейского общества; свободы как неотъемлемого права личности, как основы его человеческого достоинства, как элемента, определяющего положение личности в обществе. Вот — программа, которая воодушевила четырнадцать миллионов человек, дала им силу трудиться и нести жертвы, а

главное — дала им ощущение обыкновенного человеческого счастья. Поток всеобщего подъема был таков, что увлек за собой даже самое консервативное, самое реакционное движение всех времен — коммунистическую партию.

Говорят, в свободе мысли бывает заинтересована одна лишь интеллектуальная элита, а рабочих интересует уровень зарплаты, а не эта самая свобода. Но в 1968 году мы оказались свидетелями того, что именно рабочие прежде всего потребовали свободы печати и свободы слова, а с повышением своей весьма скудной заработной платы готовы были и подождать. Когда позже, уже осенью 1968 года, возникла угроза большой волны фабричных забастовок, конфликт возник вовсе не вокруг тарифных ставок, а — быть может впервые в истории рабочего движения — из-за попытки закрытия передовой рабочей газеты — «Репортера». На заводах начали возникать «комитеты защиты свободы печати». После этого «Репортер» смог опять выходить, хотя оккупационная власть и потребовала в категорической форме его запрета.

Простого человека приводила в восторг, к примеру, возможность беспрепятственно путешествовать. Потоки наших туристов весной и летом хлынули в страны Запада. Каждому было предоставлено право эмигрировать из страны, но никто этим правом не воспользовался. И это — в то самое время, когда жители ГДР при своих отчаянных попытках преодолеть автоматы смерти вдоль своих границ гибли десятками.

Впервые за двадцать лет были проведены свободные выборы в профсоюзные органы. Буквально за ночь профсоюзы превратились в огромную по-

литическую силу, но ринулись они не на социальную борьбу, а провозгласили сбор средств для «золотого фонда республики».

«Коммунисты-реформаторы», на стороне которых стоял тогда и я, и к которым принадлежало огромное большинство писателей, журналистов, ученых, видели в возвращении к обычаям свободного и цивилизованного общества путь осуществления первоначальных идеалов социалистического движения — социального равенства, преодоления отчуждения между людьми, развития производительных сил, свободы художественного творчества. Создавались первые столь любезные Марксову сердцу органы рабочего самоуправления, обсуждалась новая политическая система. Начало распространяться поистине революционное убеждение, что и коммунистическая партия смеет оставаться у власти только в том случае, если ей на это даст свои полномочия народ. Только небольшая кучка аппаратчиков, стукачей и дряхлых «старых коммунистов» высказывала опасения, что это будет концом коммунистической партии, как партии, находящейся у власти. Все остальные считали, что лишь теперь она только и сможет стать, наконец, общественным авангардом и повести страну вперед по пути прогресса.

Теперь уже никто не докажет и не опровергнет жизненности или же тщеты таких представлений. Может быть, система мало-помалу под влиянием знаменитых «законов Паркинсона» вновь выродилась бы в гегемонию чудовищного аппарата, но возможно и то, что путь развития повел бы ее естественным образом к индивидуализации экономики. Возможно, что нам для осуществления на-

ших тогдашних идеалов опять не хватило бы какой-нибудь мелочи, как например той, что Земля по-прежнему осталась бы населенной людьми, а не ангелами. Но не исключено и то, что именно общество, охваченное таким подъемом, так опьяненное свободой как раз и способно было совершить чудо и создать нечто совершенно новое.

Осуществлению таких надежд воспрепятствовали не только советские танки, но и — главным образом — наши собственные ошибки. Ошибки и иллюзии. Разве это не был бредовый сон — думать, что другие позволят нам, одной из центральных губерний, невозбранительно строить общество в соответствии с нашими собственными представлениями, отвечающими нашим традициям и представлениям нашего народа? Мы мечтали остаться союзниками, друзьями, неукоснительно и впредь соблюдать заключенные договоры о союзе, продолжать прежнюю линию во внешней политике, но по неразумию считали, что так нам все это и сойдет.

«Если мы сохраним верность заключенным нами договорам, советское вооруженное вмешательство немислимо, — мысль об этом просто абсурдна», не раз повторял Александр Дубчек своим сотрудникам: «Как вы, товарищи, вообще можете помыслить о том, чтобы братская социалистическая страна на нас напала?».

Эти последние слова Дубчек произнес в июле 1968 года, после того как наша армия получила секретный приказ верховного командования вооруженных сил стран Варшавского договора, в котором утверждалось, что возникла «непосредственная угроза» нападения на нашу страну Бундесвера и расположенных в Германии войск НАТО, а на-

шей армии приказывалось произвести концентрацию своих сил вдоль границы с Западной Германией и тем самым «обеспечить оборону ЧССР и всего лагеря социализма».

Александр Дубчек и его сотрудники знали тогда, что на территории Польши и в ГДР производится сосредоточение советских войск. Но они видели в нем только «средство для оказания политического давления». А поскольку «братская социалистическая страна» на нас напасть «не могла», мы и подчинились этому безумному приказу. В период времени между 15 июля и 15 августа практически вся чехословацкая армия была переброшена на границу с Федеративной республикой. Из двенадцати вооруженных по последнему слову военной техники дивизий целых одиннадцать было брошено на защиту того единственного отрезка границы, которому вообще никто не угрожал. Как только этот маневр был доведен до конца, в нашу страну тут же вторглись 600.000 войск при поддержке 7.000 танков. Нам была оказана международная братская помощь.

Причиной того, что нашим красивым мечтам был положен столь скорый конец, было наше заблуждение, будто свою коренную перестройку, которая не могла бы не оказать притягательного влияния и на другие народы Восточной Европы, мы сможем провести в жизнь с согласия Кремля. На самом же деле единственным шансом на успех было — продемонстрировать решимость оказать при любых обстоятельствах сопротивление всякой иностранной интервенции. Впоследствии были получены данные, позволяющие недвусмысленно заключить, что Советский Союз в тот момент не мог

себе позволить войны в столь чувствительном районе, как Средняя Европа.

Вступить в открытую конфронтацию с советским руководством? Перебросить танки не на западную, а на восточную границу? Да разве мог такое помыслить вышколенный в Москве деятель, разве могли примириться с такой мыслью те несколько сот тысяч «коммунистов-реформаторов»? Когда мне ночью 11 июля в голову начали приходить мрачные мысли, я сел за стол и написал советскому послу письмо, предупреждающее его о последствиях возможной военной интервенции. Я начал свое письмо словами: «Я обращаюсь к Вам во имя глубокой дружбы, десятилетиями объединяющей наши страны, которую наш народ считает основой своего существования как нации».

Не вспомнил я тогда, что «глубокая дружба», о которой я писал, за двадцать лет приобрела такие не совсем обычные формы, как уничтожение 176 ни в чем не повинных людей, лишение свободы 60.000 других, столь же неповинных, безудержное выкачивание наших экономических ресурсов, полная ликвидация нашего государственного суверенитета, установление власти бюрократического аппарата и страшной машины тайной полиции. Так что и я, чудак, апеллировал к дружбе, в то время, как исторический час требовал мобилизации на жестокую, пусть даже безнадежную борьбу.

Разве могу я после этого упрекать такого профессионального аппаратчика, как Дубчек? Только в ночь с 20 на 21 августа пришло пробуждение как от физического, так и от мысленного сна. Пробил «час правды», тяжелый час, но он принес с собой и полезное противопоставление давних заблужде-

ний реальной действительности, позволил нам — не без боли — освободиться от наших иллюзий.

Многие в те часы обещали самим себе и другим, что борьба эта не может кончиться ничем иным, кроме смерти или нашей победы. Что никаких компромиссов не будет, потому что компромисса не может быть между истиной и обманом, между правом и бесправием, между свободой и порабощением.

О победе в этой стадии борьбы было уже поздно думать, у нас хватило сил только на отчаянные арьергардные бои, продолжавшиеся еще около восьми месяцев. Эти восемь месяцев нашей решимости не были напрасными, ибо они дали нам познание. К концу этих восьми месяцев не было уже в Чехословакии никого, кто бы не познал, что свобода нам не дастся даром. Одни, потеряв иллюзии, смирились с горькой судьбой, другие решились на ту борьбу, в которой уже не может быть отступления.

История часто движется вперед извилистыми путями. В ней есть глубокий смысл, но люди не сразу его распознают. Но наличие смысла в истории приводит к тому, что поражения могут быть обращаемы в победы. Я безусловно верю в то, что некогда нам раскроется смысл 21 августа и его последствий. Стремительное падение с вершины восторженного упоения на самую низкую точку нашего национального бытия после 1939-1945 и после 1950-х годов, привело к значительным сдвигам в душах наших народов. Пробуждение от иллюзий заставило нас по-новому взглянуть на общество и на перспективы его развития, но взглянуть по-новому также и на саму жизнь и на смысл жизни.

Весной 1968 года марксизм представлялся у нас жизнеспособной идеологией, осенью он был разжалован и стал всего только нудным предметом преподавания. Вопреки гонениям начало подниматься на новые высоты христианство.

В трудные времена пересматривают свой жизненный путь отдельные люди, пересматривают свой путь и народы. Я испытал на себе, как глубочайшее несчастье обращается в посещение высшей благодати. В часы и в дни, проведенные между жизнью и смертью, приоткрылись мне глубинный смысл и высшая правда жизни. Господь Бог из философского понятия стал самой основой моего существования, Сын Божий — моей надеждой, на этот раз уже неизменной. И я вновь и вновь ставлю перед собой вопрос: а разве не проходит сейчас процесс такого преображения весь наш народ, разве не приведет он его от подавленности и падения к познанию новых задач, к определению новых целей, которые он перед собой поставит?

Весной 1968 года у нас не привлекли к ответственности ни одного виновного в преступлениях режима. Даже наиболее погрязшее в злоупотреблениях учреждение, запятнавшее себя столькими преступлениями, неожиданно стало пользоваться незаслуженным им доверием всепрощающего народа. После августа 1968 года это учреждение вновь погрузилось в свой летаргический сон, вновь стало привеском тупых догматиков и патологических насильников. Путь его трагичен и поучителен. Одни и те же члены ЦК партии голосовали (почти всегда единодушно) в сентябре 1967 года за репрессирование бунтующих писателей, в январе 1968 года за устранение Новотного, в апреле за

Программу действия КПЧ, в мае за замедление темпов ее осуществления, в ноябре за ее отмену, в апреле 1969 года за смещение Дубчека и, наконец, в сентябре за проведение новой волны террора. Мало во всей мировой истории отрезков времени, с помощью которых с такой наглядностью можно было бы проиллюстрировать гибельную сущность какого-нибудь политического движения, его неспособность к какому бы то ни было развитию, его топорные методы.

После 1969 года в КПЧ остались только циничные прагматики, одержимые жаждой власти насильники и психопаты-одиночки. Коммунизм в нашей стране сыграл свою роль, в сознании народа он теперь, несмотря на кажущийся временный расцвет его власти, выброшен в помойную яму истории.

Борьба, которую вели такие жгучие сердца, не умирает. Принесенные ими жертвы не могут оказаться напрасными. «Пражская весна» еще не ушла в прошлое. Историей стали только ее формы, но ее главный идеал — свобода личности — указывает путь в будущее. Этот идеал в нашей стране уже не может быть забыт. Шесть лет прошло с насильственного пресечения успешно начатого процесса, но пражский режим более чем когда-либо продолжает во всем зависеть от поддержки советских войск. Нет у него никакой опоры в народе, нет даже тех 10 процентов населения, которые могут обеспечить деспоту безмятежное властвование согласно известным теоретикам власти. Десятки тысяч людей и после шести лет жалких условий прозябания не соглашаются проделать унижительную процедуру «самокритики» и заявить о своем

верноподданничестве. Ученые, писатели, журналисты предпочитают оставаться разнорабочими, ночными сторожами, чистильщиками стекол, могильщиками. Оставаясь за границами своей профессиональной и общественной жизни, они хранят чистоту своих убеждений.

«Пражская весна», однако, окончательно выполнит свою задачу лишь тогда, когда опыт ее станет достоянием не только нашего, но и других народов. Сейчас мы наблюдаем в международном масштабе новые иллюзии и новое упоение, и опасаемся, как бы не пришлось снова очнуться какой-нибудь жаркой летней ночью, когда будет слишком поздно. На этот раз опьянение носит название не социализма с человеческим лицом, а разрядки и сотрудничества. Конечно, в интересах каждого человека избежать новой войны. Конечно, именно западный мир не должен герметически замыкаться в себе или отказываться от контактов. Но сначала надо прийти к ясному пониманию того, что нельзя добиться прочного мира, ставя его в зависимость от милости преступников и насильников, что ни мира, ни свободы нельзя обеспечить духовной и материальной демобилизацией сил, а гарантировать их можно только будучи сильным, решительным, а если надо — и твердым.

Неразумно полагать, что одним народам можно обеспечить вечную свободу, отказывая в ней навечно другим. Свобода неделима, потому что агрессивна по своей природе несвобода. Она всегда одержима желанием распространиться, а потому единственный шанс свободы устоять — это самой добиваться своего распространения. Фронт борьбы проходит через все страны, через все народы. Разница

лишь в формах борьбы — одни обороняются, другие наступают, одни отстаивают достигнутое, другие стремятся к новому, — но нет разницы в целях и задачах отдельных народов. Наш опыт учит других, что полагаться надо на свою силу, а не на улыбки представителей преступных организаций. Политические деятели, которые отказываются этот опыт учесть, берут на себя тяжкую ответственность.

Еще менее разумны те, кто общественные проблемы свободного мира хочет разрешить по рецептам, которые у нас уже привели к материальному и духовному краху. Есть еще полуобразованные умники, которые все еще видят в марксизме какой-то путь к «высшей свободе», к «общественному прогрессу», хотя этот путь и обошелся уже человечеству более чем в 60 миллионов погибших, навек умолкших, казненных, умерших от голода, замерзших, верят в него, несмотря на то, что всякие надежды, связанные с ним, рухнули, как рухнула иллюзия весны 1968 года. Карл Маркс учил, что «практика — единственный критерий теории». После почти 57 лет практики пора прислушаться к ней и произвести оценку или переоценку теории не по одним только пережеванным, лишенным содержания формулам. Кто не учится на опыте других и желает обязательно сам совершить еще раз те же самые ошибки, тот должен считаться со справедливым возмездием. Кто не хочет в условиях благоденствия задуматься над смыслом своей жизни, тот да поймет, что он прямо-таки призывает тяжкие испытания на свою голову, которые отрезвят его и покажут, чего стоит немудрая попытка замены высшей Правды неразумными построения-

ми человеческого ума, но тогда будет слишком поздно. Кто полагает, что атеизм — это современность, а христианство — старина, тот должен будет как-нибудь в тяжелую минуту убедиться в том, что самое высшее снисхождение Божие в том, что Он и тогда не дает Себя изгнать из нашей жизни, если мы сами этого, по глупости своей, долгие годы добиваемся.

Было бы самоубийством, если каждый народ и каждое поколение обязательно стремились бы к тому, чтобы весь тернистый путь исторического опыта пройти самому, только потому, что не желают внимать опыту других. Точно так же было бы трагично, если современная Европа оказалась бы не в состоянии противопоставить нависшей над ней небывалой угрозе все свои силы. Есть задачи, требующие немедленного разрешения, и есть задачи дальнего прицела. Мы показали бы себя семьей сумасшедших, если бы начали мыть посуду в то время, как наш дом горит. Но ведь именно этого многие добиваются. Европа расколота и значительная ее часть лишена свободы. Есть страны, есть даже города, разделенные глубокими рвами, разбиты семьи и у них нет надежды вновь соединиться. И при всем этом в университетах в качестве решения всех общественных проблем нам всерьез предлагают рецепт, по тупоумию своему прямо-таки гениальный: давайте, просто перейдем и установим у себя полностью провалившуюся у других систему несвободы и тоталитаризма! Отправим еще миллионы завтрашних мучеников вперед, навстречу светлому будущему!

Священная задача всех, кто приобрел за последние десятилетия собственный опыт, вновь и

вновь предостерегать от такого безумия. Неверно, будто люди, живущие в изгнание, бессильны что-либо сделать.

Им не нужны инструменты силы и принуждения, их оружие — правда. Незабываемые месяцы 1968 года показали нам, каким мощным оружием становится как раз эта «солженицынская правда», если только не препятствовать ей пробивать себе путь. Наш народ пришел в движение через несколько дней после того, как перестала действовать цензура и возрожденные средства массовой информации начали разоблачать всю правду о нарушениях и преступлениях предшествующих двадцати лет диктатуры. Эту правду пришлось принять даже руководящей группе и провозгласить ее своей программой. Правда эта была так сильна, что сама собой творила чудеса. Устои диктатуры пошатнулись настолько, что только советские танки могли предотвратить ее падение. Придет время, когда уже не хватит танков, чтобы остановить победу правды. Надо только прокладывать пути для нее, будить равнодушных, звать тех, кто пока по ленивой сытости или трусливому приспособленчеству не желает ее слышать.

И другому учит нас опыт 1968 года: трудно, а быть может, и невозможно добиться свободы в одиночку. Нет вопроса чехословацкого, польского или русского, есть только вопрос европейский. Вряд ли когда-нибудь наступит особая пражская, будапештская или варшавская весна. Чудесный цветок весны должен расцвести в общем саду Европы.

КАК Я ПОНИМАЮ «ПИСЬМО ВОЖДЯМ»

Передо мной тонкая брошюрка — изданное в Париже на русском языке письмо Солженицына вождям Советского Союза. Письмо датировано 5 сентября 1973 г., т. е. за несколько месяцев до изгнания писателя из родной страны, до того, как вышел в свет «Архипелаг ГУЛаг» и, наконец, — как мы узнаем из приложенного ныне к письму краткого авторского вступления — до того, как экземпляр «Архипелага» попал в руки КГБ.

Прежде чем до меня дошел полный текст письма Солженицына в подлиннике, я много о нем слышал, читал в западных газетах разные изложения и комментарии. На основе этих изложений мне не удалось составить себе мнения о документе, который, принимая во внимание его автора, необычайно меня интересовал. Еще меньше можно было извлечь из разговоров с людьми, знавшими — даже только что приехав с Запада — в лучшем случае только резюме во французской или английской печати. Мне бросился, однако, в глаза факт, что, как правило, письмо Солженицына — в той форме, в какой его знали — неприятно всех удивило. Я слышал высказывания, что писатель скомпрометировал себя этим текстом, что Солженицын, говорилась, братается в своем письме с Брежневым и К°, предлагает им соглашение на почве русского на-

ционального объединения, предостерегает перед китайской опасностью. Автор книг о бесчеловечности господствующей в СССР системы разоблачил свою сущность русского националиста.

Что ж, известно, что националистические течения среди русских довольно сильны. Некоторые группы этого толка пользуются в Москве официальной поддержкой, имеют возможность оглашать свою идеологию в печати (напр. в журнале «Молодая гвардия») и влияют на формирование в податливой к этому части общества своеобразного конгломерата шовинистско-коммунистических взглядов. Другие группы находятся в оппозиции к коммунизму и поэтому преследуются, но лозунги русофильского мессианизма, ими провозглашаемые (часто с помощью самиздата), не будят среди нас, поляков, симпатии к этой части диссидентов. И вот Солженицын своим письмом властителем Кремля якобы поставил себя где-то между русскими националистами, «почвенниками» и приверженцами великодержавной доктрины.

Центры формирования общественного мнения, которым мы обязаны этим толкованием, продолжают, это толкование поддерживать — и уже не в форме намеков, а с помощью однозначных ярлыков. Московский корреспондент «Монд» в номере от 17 апреля с. г. определяет дух письма Солженицына как «в основе своей реакционный, целиком обращенный к прошлому и решительно националистический». При этом он ссылается не только на разочарование западных левых, которые до того «плохо знали Солженицына», но и на критику тезисов Солженицына представителями оппозиции в СССР, а в особенности — академиком Сахаро-

вым. Академик Сахаров, как можно предполагать, знает обращение своего друга в подлиннике и, вероятно, свое суждение сформулировал не только под влиянием разочарованных парижских левых и полулевых, а значит... Все это вместе взятое начинало меня искренне огорчать, поскольку мне хотелось далее сочетать восхищение великим писателем и борцом за правду, с чувством сердечной солидарности. Но все возможно. Когда один знакомый привез с собой из поездки подлинный текст письма, я брал его в руки, готовый ко всему.

Теперь, после неоднократного и внимательного прочтения изданной в Париже книжечки, я могу с облегчением и полной уверенностью заявить: это не так. Солженицына прочитали неверно, в западной печати цитировали, не заботясь о передаче сущности его взглядов и стремлений, всячески, однако, стараясь представить дело в самом сенсационном свете. А что касается многочисленных «потребителей» из вторых рук — они слишком доверились плохим посредникам. Про реакцию же профессора Сахарова можно сказать, что не так уж редки случаи, когда внутри группы, борющейся за некую фундаментальную цель, — по отношению к которой многие годы существует полное единомыслие, — в какой-то момент обостряются раскрывшиеся второстепенные различия, и начинает казаться, что некоторые детали формулировок товарища по борьбе не совсем совпадают с тем, что хотелось бы сказать самому, заслуживают публичного опровержения. Солженицын и Сахаров, кстати, никогда не скрывали неполной тождественности своих взглядов. Не думаю, однако, чтобы это давало кому-либо право встревать между двумя

замечательными оппонентами и злорадно раздувать различие их взглядов. А уж во всяком случае подпирать авторитетом Сахарова (возможно, также произвольно цитируемого) «утраченные иллюзии» очень прогрессивных (но не слишком хорошо разбирающихся в вопросе) западных интеллигентов — занятие, мягко говоря, недостаточно обоснованное. Тем более, что — как признает упомянутый корреспондент «Монд» — Сахаров не опровергает главного диагноза Солженицына, а ставит лишь под сомнение предлагаемые Солженицыным средства...

В возникшей ситуации мне показалось необходимым попытаться выступить посредником между автором письма и теми польскими читателями, интересующимися Солженицыным, у которых мало шансов непосредственно познакомиться с подлинником письма. Быть может, чрезмерная самоуверенность с моей стороны — заявлять, что именно я — не профессиональный политик и не журналист — хотел бы предпринять эту попытку. Полагаю, однако, что мне удалось понять письмо Солженицына более соответствующим его намерениям образом, чем это смогли сделать (или хотели сделать) французские и др. авторы. Поэтому я считаю попытку поделиться своим пониманием этого документа с соотечественниками чем-то вроде гражданского долга.

Солженицын не голландец

В Варшаве рассказывают о беседе двух литераторов в кафе. Первый, презрительно выпячивая губы, сказал о Солженицыне: «Вылез из него рус-

ский в конце концов». На что второй (как будто Антони Слонимский) ответил: «А разве он когда-либо выдавал себя за голландца?»

В начале «Письма вождям» Солженицын определяет свою тему: «что я считаю спасением и добром для нашего народа» — и сразу же добавляет: «я желаю добра всем народам и чем ближе к нам живут, чем в большей зависимости от нас — тем более горячо. Но преимущественно озабочен я судьбой именно русского и украинского народов, по пословице — где уродился, там и пригодился, а глубже тоже — из-за несравненных страданий, перенесенных нами».

Этот мотив повторяется во многих местах письма, и когда, например, писатель выдвигает программу своеобразного *изоляционизма* русского народа в мире, сталкиваемом с множеством трудностей, он чувствует необходимость объяснить: «я не счел бы нравственным советовать политику обособленного спасения среди всеобщих затруднений, если бы наш народ в XX веке не пострадал бы, я думаю, больше всех народов мира: *помимо* двух мировых войн мы потеряли от одних гражданских раздоров и неурядиц, от одного внутреннего «классового», политического и экономического, уничтожения — 66 (шестьдесят шесть) миллионов человек!!! (. . .) После *таких* потерь мы можем допустить себе и небольшую льготу, как дают больному отдых после тяжелой болезни. Нам надо излечить свои раны, спасти свое национальное тело и свой национальный дух. Достало бы нам наших сил, ума и сердца на устройство нашего собственного дома, где уж нам заниматься всею планетой.

И опять-таки, по счастливому совпадению, весь мир от этого — только выиграет».

Оставим предположение Солженицына, что русский народ пострадал в XX веке больше всех. Нашлось бы, вероятно, еще несколько народов, которые могли бы приступить к соперничеству по количеству жертв и мук — если такое соперничество могло иметь хоть какой-либо смысл.

Правда, однако, что десятилетия, прошедшие со времени большевистской революции, были для русского народа эпохой неизмеримых пыток и потери крови — и трудно удивляться, что русского, русского писателя, долголетнего узника русских лагерей, очевидца невиданного геноцида в России, больше всего потрясли те страдания, которые пришлось на долю его сородичей.

«Что я считаю спасением и добром для нашего народа» в трактовке А. Солженицына — это его РУССКОЕ ДЕЛО, совершенно очевидное и ничуть не более предосудительное или морально сомнительное, чем «Польское дело», которым всегда жила польская литература.

Не могу в этом обнаружить национализма.

Ведь Солженицын нигде не утверждает, что он считает свой народ ЛУЧШЕ других, что он предназначен к ГОСПОДСТВУ над другими, к ВЕРХОВЕНСТВУ над другими, не доказывает, что за великие несчастья народ русский получил право на *территориальные возмещения*, он не хочет прибавить славы своему народу военной, политической или экономической ЭКСПАНСИЕЙ. Наоборот: он предостерегает от экспансии, советует свернуть существующие плацдармы и отказаться от создания новых. Он убеждает: «Вся мировая история

показывает, что народы, создавшие империи, всегда несли духовный ущерб. Цели великой империи и нравственное здоровье народа несовместимы». Солженицын усиленно требует перенесения центра внимания «с внешних пространств на внутренние», а также «с внешних задач на внутренние». При этом он говорит буквально следующее: «Конечно, такое перенесение рано или поздно должно привести к тому, чтобы мы сняли свою опеку с Восточной Европы. Также не может быть и речи о насильственном удержании в пределах нашей страны какой-либо окраинной нации». Окраинной нации — т. е. народов, граничащих с внешним миром, географическое положение которых делает реальным их обособление от России: эстонцев, латышей, литовцев, белорусов, украинцев, крымских татар (если они вернутся в Крым), армян, грузин, азербайджанцев, туркмен, таджиков... Возможно, впрочем, что Солженицын предпочел бы, чтобы некоторые из этих народов (напр., украинцы и белорусы) не воспользовались бы шансом разрыва с Россией и остались с ней в некоем добровольном союзе. Но достаточно того, что он исключает возможность удержать какой-либо из этих народов при России силой. Патриотическая (имеющая целью добро своего народа) программа Солженицына не превращается в топчущую надежды, права и достоинство других народов программу.

Этим она, между прочим, и отличается от некоторых национальных движений нашей эпохи, не отступающих перед террором, кровопролитием, войной, и тем не менее, поддерживаемых без оглядки прогрессивной западной интеллигенцией.

Программа эта отличается и от «интересов государства» (принимаемых «Монд»), из-за которых Франция откалывается от союза свободных демократий, не только пасуя перед московско-арабским шантажом, но и активно затрудняя совместную защиту от агрессии коммунизма и нефтяного империализма.

Возвращаясь в этой связи к польскому делу, как не прибавить, что русский патриот, провозглашающий ликвидацию империи — хотя побуждают его к этому не столько наши интересы, сколько собственное понимание добра своего народа, — лучший союзник польского дела и можно только желать, чтобы таких союзников было больше!

Да, есть в России народы, независимость которых кажется Солженицыну просто нереальной. Речь идет о сибирских народностях, по отношению к которым, как говорит Солженицын, на России лежит «исторический грех»: во время колонизации Сибири многие ее коренные обитатели были истреблены, других прогнали с принадлежащих им территорий. «Да, это было — продолжает Солженицын, — было в XVI веке, но ЭТОГО исправить уже никаким образом нельзя. С тех пор малочисленными, даже безлюдными лежат эти раскинутые просторы. По переписи всех народностей Севера — 128 тысяч, они редкой цепочкой разбросаны по огромным пространствам, освоением Севера мы ни сколько их не тесним. Напротив, сегодня мы естественно поддерживаем их быт и существование, они не ищут себе обособленной судьбы и не могли бы найти ее. Изю всех национальных проблем, стоящих перед нашей страной, эта — самая мягкая, ее и нет почти».

То есть: по отношению к свершившимся фактам — и свершившимся в далеком прошлом — трудно найти альтернативные решения, ибо они, к сожалению, уже не имеют объекта. (Разве иначе выглядит, например, вопрос американских индейцев?) Мнение Солженицына, что исторического греха России перед сибирскими туземцами не исправить, принадлежит к утверждениям, важным для его образа настоящего и будущего России, но не влияет на систему этических взглядов, не является поправкой к системе, которая подрывает суждение о Солженицыне как о патриоте, а не русском националисте.

И вот это — то, что он чувствует себя русским и горячим, страстным поборником своего замученного коммунизмом народа — можно прочесть в письме вождям об Александре Солженицыне.

Но это и не новость: каждый в меру проникательный читатель его произведений — от «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матренина двора» до «Архипелага ГУЛага» — мог и должен был уже давно представить себе именно таким облик великого писателя.

Никогда, ни прямо, ни косвенно — через свои темы, образы, сюжеты, навязчивые идеи — Солженицын не выдавал себя за голландца.

Предпосылки «Письма вождям»

Предпосылка первая: жизнь в СССР невыносима, страна погибает от нищеты, неисправимо порочной экономики (особенно разрушенного коллективизацией и далее разрушаемого сельского хозяйства), отсутствия перспектив, всеобщего воровства,

лжи, пьянства, падения культуры, развращения молодежи, эксплуатации женщин, бездумного истребления природы. «Неужели это и есть тот манящий социализм-коммунизм, для которого и клались все жертвы и гибли 60-90 миллионов?»

Но вторая предпосылка: «...Из русской истории стал я противником всяких вообще революций и вооруженных потрясений, значит, и в будущем тоже: и тех, которых вы жаждете (не у НАС), и тех, которых вы опасаетесь (у НАС). Изучением я убедился, что массовые кровавые революции всегда губительны для народов, среди которых они происходят. И среди нашего нынешнего общества я совсем не одинок в этом убеждении».

Первая предпосылка — это осознание неопровержимого факта, вторая — вывод из ряда фактов, к которому следует отнестись с уважением, хотя можно с ним согласиться не полностью, или же совсем не соглашаться. Меня лично раздирает противоречие: зло революции мне хорошо известно, вот уже по меньшей мере более десятка лет я постоянно о нем размышляю, и, в принципе, прихожу к тому же заключению, что и Солженицын. Но в то же время мне трудно поверить в добровольную эволюцию какого-либо зла к добру, и я знаю, что теми небольшими уступками правителей управляемым, какие случались в Польше, теми частичными торможениями процесса зла, какие мы наблюдали в 1956 и 1970 гг., мы были обязаны все-таки бурным проявлениям народного протеста, каким-то, скажем прямо, микрореволюциям. И если я жду, вместе с другими, падения советской империи, то честно говоря, надежда моя лишь на потрясения внешние и внутренние. Но вместе с тем

я прекрасно понимаю и уважаю принципиальный отказ Солженицына от революции. А если так, то я должен серьезно отнестись к вытекающим отсюда очередным предпосылкам письма, а прежде всего к тому (и это — третья предпосылка), что имеет смысл обращение к властителям Кремля, попытка представления им своих взглядов, оценок и предложений, направленных на улучшение жизни русского народа.

В авторском вступлении Солженицын признается, что написал свое письмо с минимальной надеждой на его эффективность, но и не без всякой надежды. Эта надежда опиралась на исторический прецедент: «хрущевское чудо» 1955 - 1956 гг., состоявшее в неожиданном и неправдоподобном освобождении миллионов невинных заключенных. «Этот порыв деятельности Хрущева перехлестнул необходимые ему политические шаги, был несомненным сердечным движением, по сути своей — враждебен коммунистической идеологии, несовместим с нею (отчего так поспешно от него отшатнулись и методически отошли). Запретить себе допущение, что нечто подобное может и повториться, значит полностью захлопнуть надежду на мирную эволюцию нашей страны».

Если отбросить антикоммунистическую революцию как несомненное зло (не потому, что антикоммунистическая, а потому, что революция), предпосылка о возможности «сердечного движения» со стороны Брежнева и присных хотя и проблематична, но защищает от абсолютного отчаяния и безнадежности.

В поисках надежды в разговоре с вождями Солженицын, однако, не впадает в крайнюю наивность.

Он отлично знает — и это очередная предпосылка «Письма», — что его адресаты не выпустят добровольно из рук власти. «...Я не забыл ни на минуту, что вы — крайние реалисты, на том и начат разговор. Вы — исключительные реалисты и не допустите, чтобы власть ушла из ваших рук. Оттого вы не допустите доброю волей двух- или многопартийную парламентскую систему у нас, вы не допустите реальных ВЫБОРОВ, при которых вас могли бы не выбрать. И на основании реализма приходится признать, что это еще долго будет в ваших силах. Долго, но — не вечно».

Если реализм учит, что об отказе от власти не может быть и речи, то Солженицын волей-неволей соглашается на ее сохранение адресатами письма. Он предлагает лишь некоторые изменения, которые сделают эту власть менее страшной, менее гнетущей, менее абсурдной для подданных. Он взывает к ограничению беззакония, произвола партийных царьков в пользу ЗАКОННОСТИ, которая даже в авторитарном строе не обязана и не должна быть бумажной. Восстановление реальности законов, пусть даже в виде возобновления некогда объявленной «власти советов», пусть даже в форме применения конституции 1936 г., которая «не выполнялась ни одного дня и потому не кажется способной жить» — было бы благословенной переменой для жителей СССР. «Авторитарный строй, — напоминает тут Солженицын, — не значит еще, что законодательная, исполнительная и судебная власти не самостоятельны ни одна и даже вообще не

власти, но все подчиняются телефонному звонку от единственной истинной власти, утвердившей сама себя». Помня, что он замкнул себя в «рамках жестокого реализма», писатель с ироническим смирением говорит: «Вы, конечно, не упустите сохранить свою партию как крепкую организацию единопособников и конспиративные от масс («закрытые») свои отдельные совещания». Но далее — реализм это или минимализм? — «любой государственный пост пусть не будет прямым следствием партийной принадлежности, как сейчас». И пусть изменятся задачи, которые ставит перед собой партия: пусть она откажется от ненужной и неосуществимой миссии господства над миром в пользу основных национальных целей: спасения от войны с Китаем и от технологической гибели. «Руководить нашей страной должны соображения ВНУТРЕННЕГО, нравственного, здорового развития народа, освобождения женщин от каторги заработков, особенно от лома и лопаты, исправления школы, детского воспитания, спасения почвы, вод, всей русской природы, восстановления здоровых городов, освоения Северо-Востока...»

Распространено недоразумение: Солженицыну приписывают охотное соглашение на авторитарный строй и сочетающуюся с этим антипатию к демократии. В действительности, после изложения таких принципов, как отказ от возможной революции и неверие в добровольное отречение от власти коммунистических вождей, писатель иронизирует (кстати, никто, как будто, не заметил, что адски серьезный Солженицын *бывает* и насмешливым и ироничным): «В таком положении что ж остается нам? Приводить утешительные соображения о зе-

лености винограда». И в этом контексте следует критика несовершенства демократии, верная, впрочем, и близкая многим из нас, издали наблюдаящим, как, например, «любая профессиональная группа научилась вырывать себе лучший кусок в любой тяжелый момент для своей нации», или как «вовсе оказались беспомощными самые уважаемые демократии перед кучкою сопливых террористов». Они верны, повторим, эти грустные наблюдения, но хотя труднее всего судить, верно или неверно следующее за ними предположение об исторической незрелости России для иного, чем авторитарный, строя — остается фактом, что все эти замечания предварены сигналом о зелени винограда, т. е. (кто же не помнит Лафонтена) — о чем-то желанном и недостижимом...

Не защищая далее Солженицына от упрека не по адресу — о поддержке авторитарного строя, — вернемся еще раз к предложениям, которые писатель выдвигает по отношению к этому строю, пока, по его мнению, является он единственной реальностью в России. Милосердия к узникам! — восклицает писатель, и говорит: «Уж конечно придется отказаться навек от психиатрического насилия и от негласных судов, и от того жестокого безнравственного мешка лагерей, где провинившихся и оступившихся калечат дальше и уничтожают».

И еще: «Чтобы не задохнулись страна и народ, чтобы они имели возможность развиваться и обогащать нас же идеями, свободно допустите к честному соревнованию — не за власть! за истину! — все идеологические и все нравственные течения, в частности *все религии*. (...) Допустите свободное искусство, литературу, свободное книгопечатание

не политических книг, Боже упаси! ни воззваний! ни предвыборных листовок — но философских, нравственных, экономических и социальных исследований, ведь это все будет давать богатый урожай, плодоносить — в пользу России».

Признаюсь, что это положение Солженицына — что при сохранении авторитарного строя и теперешнего состава на руководящих постах в России возможны такие реформы, как введение честного судопроизводства, свободы совести, печати и т. д. — мне кажется самым утопическим. Писатель подкрепляет его многократно повторяемой мыслью о том, что те, к кому он обращается, такие же русские, как и он, а значит, — по всей вероятности, патриоты, связанные со своей землей, народом, историей, не совсем глухие к идее принесения счастья этому народу, быть может, наконец, чувствующие скрытую потребность искупить роковое прошлое, к которому они приложили и свою руку... В какой степени писатель сам в это верит, а в какой — хочет внушить все это своим «партнерам», чтобы получить хотя бы такую отправную точку (ибо какую другую мог бы он им предложить!) для дальнейшего диалога? Позднейшее по времени вступление к письму включает и такой комментарий: «Это письмо родилось, развилось из единственной мысли: как избежать грозящей нам национальной катастрофы? Могут удивить некоторые практические предложения его. Я готов тотчас и снять их, если кем-нибудь будет выдвинута не критика остроумная, но путь конструктивный, выход лучший и, главное, вполне реальный, с ясными путями. Наша интеллигенция единодушна в представлении о желанном будущем нашей страны (са-

мые широкие свободы), но так же единодушна она и в полном бездействии для этого будущего. Все завороченно ждут, не случится ли что *само*. Нет, не случится».

Таковы основные предпосылки письма Солженицына вождям СССР и принципы изложенных в этом письме предложений.

Две главные опасности

Угроза национальной катастрофы для России, о которой говорит писатель, вызвана, на его взгляд, прежде всего двумя опасностями. Это «война с Китаем и общая с Западной цивилизацией гибель в тесноте и смраде изгаженной Земли».

Войны с Китаем выиграть нельзя, ибо Россия встретится с противником таким многочисленным (почти миллиард населения), как никогда в своей истории, с противником, обладающим чертами, отнюдь не благоприятствующими разложению армии и тыла (трудолюбие, упорство, самопожертвование, тоталитарная дисциплина «нисколько не уступительнее нашей»). Нельзя питать обманчивой надежды на победоносный блицкриг, война будет долгой и трудной, будет напоминать проигранную американцами войну во Вьетнаме. Россия потеряет в ней еще 60 миллионов голов, а это будет означать практическое истребление русского народа вообще. «И уже только одно это, — убеждает Солженицын, — будет означать *полный* проигрыш той войны, независимо от всех остальных ее исходов (во многом безрадостных, в том числе и для вашей власти, как вы понимаете). Разрывается сердце: представить, как наша молодежь и весь лучший средний

возраст пошагает и поколесит погибать в войне, да какой? — *идеологической*, за что? — главным образом за мертвую идеологию. Я думаю, даже и *вы* не способны взять на себя такую ужасную ответственность! Щемящее сочувствие вызывают и рядовые китайцы — потому что они будут самыми беспомощными жертвами той войны...

А вот и вывод: «Все это гибельное будущее, по темпам приближения совсем уже недалекое, ложится бременем на нас сегодняшних — и на тех, кто имеет власть, и кто силу имеет повлиять, или кто только голос имеет, чтобы произнести: этой войны не должно быть вообще, *эта война вообще не должна состояться!*»

Как кажется, никому из читателей сенсационных титров: «Солженицын предостерегает Брежнева перед китайской опасностью» и пр. не пришло в голову, от чего в действительности предостерегает Солженицын и к чему он призывает. Он предостерегает не просто от войны и зовет не к победе над китайцами, а к уклонению от столкновения с ними!

Писатель считает, что есть две причины, ведущие к советско-китайской войне. Он ставит на *втором* месте жадное поглядывание перенаселенного Китая на все еще не освоенную, все еще пустую Сибирь. На *первом* же месте — стоит у него идеологическое соперничество: «Вот уже 15 лет между вами и вождями Китая идет спор о том, кто вернее понимает, толкует и продолжает Отцов Передового Мировоззрения. И помимо и острей государственного столкновения между нами вырастает это глобальное соперничество, претензия едино-смысленно толковать коммунистическое учение и в

нем вести именно за собою все народы мира». При таком понимании главной причины конфликта тем более абсурдным кажется Солженицыну, что 60 миллионов русских должны сложить головы «за то, что именно на 533 странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 355-й, как утверждает наш противник». К тому же, для проведения этой войны обе воюющие стороны в собственных рядах должны будут сделать множество идеологических уступок, как должен был сделать в свое время Сталин, мобилизуя людей против Гитлера не под недостаточно притягательными, как оказалось, коммунистическими лозунгами, а под старыми знаменами русского духа и православия. Русско-китайская война вызовет точно такое же изменение курса, и не лучше ли провести его раньше, и тем самым — по мнению автора — избежать войны?

«Отдайте им эту идеологию!» — уговаривает Солженицын. — «Пусть китайские вожди погордятся этим короткое время. И за это взвалят на себя весь мешок неисполнимых международных обязательств, и кряхтят, и тащат, и воспитывают человечество, и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в день одной Кубе, и содержат террористов и партизан южных континентов. Отпадет главная лютая рознь между нами и ими, отпадет множество пунктов нынешнего состязания и столкновения во всем мире, — и военный конфликт отодвинется намного, а может быть — *и не состоится вовсе никогда*».

Трудно устоять перед впечатлением, что Солженицын сильно переоценивает роль доктринальной дискуссии в советско-китайском конфликте. К

вопросу о преувеличении Солженицыным идеологических мотивировок в сегодняшнем коммунизме вообще предстоит вернуться несколько ниже. Но суть дела в другом: письмо — это попытка убедить вождей Кремля делать ставку не на войну, а на мир с Китаем, добровольно отдать китайцам территории деятельности своих явных и тайных агентов в мире, так или иначе засыпать тлеющий многие годы на Востоке очаг грозного конфликта...

Кроме Китая, с которым «лучше не воевать вообще», никто больше, по Солженицыну, не угрожает военной силой Советскому Союзу. Отсюда — требование основательного ограничения вооружения и военных приготовлений, а при этом — очистки неба от рева реактивных самолетов на бесконечных учениях, возвращения стране *тишины*. «Пришла пора — говорит писатель — и освободить русскую юность от обязательной всеобщей воинской повинности, которой нет ни в Китае, ни в Соединенных Штатах, ни в одной большой стране мира. Мы эту армию держим все из той же генеральской и дипломатической суеты — для престижа, из чванства; для внешнего расширения, от которого надо отказаться, физически и душевно спасая самих же себя; и еще — от ложного представления, что мужскую молодежь нельзя *воспитать* государственно полезной иначе, как пропуская ее через армейский котел долгими годами». Так Солженицын восстает не только против ориентировки на войну с Китаем, но и вообще против советского милитаризма, всех его проявлений и последствий.

Вторая опасность, угрожающая в перспективе нескольких десятилетий почти неизбежной (если ей не противодействовать сейчас же) катастрофой,

связана с проблематикой, вот уже некоторое время известной западному обществу и не подверженной особому запрету и в Польше. Речь идет о вызванном ускоренным развитием цивилизации и приближающимся со все растущей быстротой (по принципу экспоненциальной кривой) пределе возможности сохранения жизни на Земле. Комплекс этих проблем включает, между прочим, резко возрастающее количество населения и ограниченную возможность обеспечения его питанием, затем — прогрессирующее истощение различных естественных богатств (например, топлива), наконец — растущее вместе с развитием индустриального производства загрязнение земли, воздуха, воды, которое ведет к такому полному отравлению естественной среды, что биологическая жизнь перестает в ней существовать. Авторы так называемого «Римского Доклада» — самой известной публикации группы ученых, исследующих эту проблематику, — после изучения разных ее аспектов и проведении необходимых расчетов с помощью ЭВМ, пришли к заключению, что дальнейший «слепой прогресс» меньше, чем за сто лет приведет человечество к катастрофе, от которой не будет спасения. Во избежание этого они предлагают, пока не поздно, применение «политики сознательного ограничения роста». Необходимые технические решения — утверждают ученые — «регенерация запасов, устройства, ограничивающие загрязнение среды, противозачаточные средства — будут абсолютно решающими факторами для будущего человеческого общества, но *при условии сочетания с сознательным ограничением роста*». Спасти можно будет лишь мир в состоянии равновесия, которое определяется

так: «количество населения и капитал в принципе постоянны, а силы, которые могли бы их уменьшить или увеличить, находятся в тщательно контролируемом равновесии». И далее: «Состояние равновесия не будет свободно от напряжений, ибо никакое общество не может быть от них свободно. Это равновесие будет требовать жертвования некоторыми человеческими свободами — как право иметь неограниченное количество детей или неограниченно пользоваться естественными запасами — в пользу других свобод, таких как освобождение от загрязнения среды и тесноты, а также от угрозы разрушения мировой системы». Я не буду делать подробного разбора «Римского Доклада», который доступен читателям в Польше и который популяризуется также (иногда в порядке борьбы с ним) армией квалифицированных журналистов. Иначе, насколько мне известно, дело обстоит у наших восточных соседей, где на страницы газет не проникает ничто, нарушающее обязательный и всеобъемлющий оптимизм — умалчиваются даже большие землетрясения и авиационные катастрофы. Поэтому слова Солженицына о «тупике цивилизации» и о том, что «не может дюжина червей бесконечно изгрызать одно и то же яблоко», должны там казаться откровением или ересью. Открыто ссылаясь на труды Римского Клуба и Общества Тейара де Шардена, Солженицын формулирует на своем образном языке по сути дела те же предостережения, что и западные исследователи, но не по адресу всего человечества, а единственно — своей страны и ее властителей.

К этому присоединяется особый момент: насмешка над русскими фанатиками «бесконечного,

безграничного прогресса» и упрек социализму, который не сумел использовать шанса создать свою, оригинальную модель цивилизации, перенимая все наихудшее из осуждаемой на словах капиталистической модели: «Казалось бы, — издевается Солженицын, — «первая в мире социалистическая страна», которая показывает образец другим народам Запада и Востока, и такая «оригинальная» в следовании некоторым уродливым доктринам — о крестьянстве, о мелком ремесле, — почему же были так уныло неоригинальны в технологии, так безмыслие и слепо шли за западной цивилизацией? (...) При центральном плане, которым мы гордимся, уж у нас-то была кажется возможность не испортить русской природы, не создавать противочеловеческих многомиллионных скоплений. Мы же сделали все наоборот...»

«Тупик» прогресса — общий для всех, но писатель все же считает, «что западная цивилизация не погибнет. Она столь динамична, столь изобретательна, что изживет и этот нависающий кризис, переломает вековые ложные представления и в несколько лет приступит к необходимой перестройке». Что же касается неразвитых стран Африки и Азии, те своевременно выслушают предостережение и *«вообще не пойдут по западному пути»*. Хуже всего дело обстоит в коммунистической сверхдержаве: «Но — *мы??* С нашей неповоротливостью, косностью, с нашей неспособностью и робостью менять хоть единую букву, хоть штрих один в том, что сказал Маркс о промышленном развитии к 1848 году. Экономически, физически — мы вполне можем спастись. Но на пути нашего спасения стоит, перегораживает — Единственно Передовое Ми-

ровоззрение: если отказаться от промышленного развития, то как же тогда рабочий класс, социализм, коммунизм, безграничный рост производительности труда и т. д.?».

Солженицын пытается убедить вождей, чтобы те не боялись ярлыка «ревизионистов» и, решительно пересматривая существующие в этой области догмы, приступили бы немедленно к построению новой модели цивилизации, опирающейся на принципы *стабильности*, равновесия, а не неразумного, жадного «прогресса».

Именно у России, наряду с тремя другими странами — Австралией, Канадой и Бразилией, — исключительные шансы успеха в связи с изобилием еще не освоенных, целинных земель. На этих землях, т. е. в Сибири, можно начать новую жизнь, разумную и более безопасную, чем до сих пор... «Скажут, что мы и там много *делали*, строили — но не столько строили, сколько людей губили, как на «мертвой дороге» Салехард-Игарка, да уж не будем тут все лагерные истории перебирать. Так строить, чтоб затоплять Кругбайкальскую железную дорогу, а обходную бессмысленно гнать горами, сжигая тормоза; так строить, как целлюлозные комбинаты на Байкале и Селенге, поскорей к вырубке и к отраве, — так лучше бы и повременить. По темпам века мы сделали на Северо-Востоке очень мало. Но сегодня можно сказать — и к счастью, что так мало: зато теперь можем делать все разумно с самого начала, по принципам стабильной экономики. (...) Итак, наш выход один: чем быстрее, тем спасительнее — перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности... с далеких континентов, и даже из

Европы, и даже с юга нашей страны — на ее Северо-Восток. (...) Экономика не-гигантизма, с дробной, хотя и высокой, технологией, не только позволит, но даже потребует построения рассредоточенных городов, мягких для человека». И т. п. и т. д. — не нужно приводить здесь все детали солженицынского видения будущего. Его направление однако ясно: убежать от угрозы гибели цивилизации к созданной на девственных землях Сибири экономике равновесия. В этих вымечтанных писателем условиях новой жизни люди станут лучше, чище, духовно богаче...

Призрак идеологии

«Идеология» — т. е. марксистско-ленинская доктрина — считается Солженицыным не только главным препятствием на пути мирного решения советско-китайского раздора, он видит в ней также главный тормоз, препятствующий необходимому изменению модели цивилизации, а впрочем, и вообще главного виновника всего зла в функционировании государства и коммунистической системы. Все свои предложения он определяет, как выражение «патриотизма — и значит отрицания марксизма». Марксизм же — кратко определяя — «велит не осваивать Северо-Востока и оставить наших женщин с ломами и лопатами, но торопить и финансировать мировую революцию».

Я согласен с Солженицыным, когда он насмехается над примитивными марксистскими общественно-экономическими шаблончиками, когда припоминает доктрине все ее неисполнившиеся проро-

чества, ошибочные диагнозы, немощные идеи устройства мира.

Я думаю, однако, что Солженицын ошибается, демонизируя роль доктрины в качестве предполагаемой руководящей линии в действиях коммунистических политиков. Может быть, когда-то так и было, не знаю. Но с уверенностью можно сказать, что давно это перестало быть правдой. Не потому СССР финансирует и подстрекает к диверсионным действиям разных арабов и латиноамериканцев, что требует того марксистский «интернационализм», а потому, что нужно это с точки зрения имперских интересов сверхдержавы. «Интернационализм» не движет никакими начинаниями, он является лишь их лицемерным обоснованием, маскировкой их внеидеологической сущности.

Анафема, которой в разное время марксистская церковь предавала мнимых отступников от неизменной доктрины (Троцкий, Бухарин, Тито, Гомулка и др.), всегда была производной от политических решений и ситуаций — была связана со стремлением Сталина к полноте власти в партии и Коминтерне, с борьбой за стратегические позиции на Балканах, с ликвидацией сопротивления ускоренной советизации Польши. Если заклеяменному отступнику не успевали заблаговременно отсечь голову, он мог на следующий день — в несколько ином контексте — выплыть в роли признанного ортодокса марксизма-ленинизма.

Сила доктрины состоит в том, что с ее помощью можно доказать любой тезис, приклеить противнику любой ярлык, а прежде всего — *шантажировать* его этой возможностью.

Думаю, например, что усердные мероприятия

в странах-сателлитах «народной демократии» — такие, как ликвидация ремесла или коллективизация сельского хозяйства — вытекали не столько из доктринальной непоколебимости местных вождей, уже сознававших, какие последствия вызвали подобные операции в «первом социалистическом государстве», сколько из их страха быть обвиненными в отступничестве от доктрины. Этим шантажом Москва стремилась, в свою очередь, как можно более уподобить страны-сателлиты центру, добиться «социалистической интеграции». Там, однако, где ситуация формировалась специфическим образом — как в польском сельском хозяйстве после 1956 г., — очень скоро отказались от доктринальных обвинений, что не значит, разумеется, что отказались от осуществления далеко идущих планов.

Возможно, что если бы дошло до дискуссии о предложениях письма Солженицына, пошли бы в ход и идеологические аргументы. Но и в этом случае речь, по существу, шла бы не об идеологии, а о заклеймении мыслителя, осмелившегося противопоставить политике КПСС альтернативную программу.

И наоборот, если бы мировая и внутренняя обстановка заставила Брежнева и К° серьезно подойти к этой альтернативе, думается, что мощь доктрины оказалась бы весьма жалкой и была бы слабым препятствием на пути реформ.

В то же время, я прекрасно понимаю доктринофобию человека, которого на протяжении 55 лет жизни в СССР на каждом шагу осаждала идеологическая фразеология, самым головоломным способом приклеиваемая к каждой жизненной ситуации.

Горох о стенку

Брежнев с коллегами не реагировал, однако, на утопию Солженицына. Диалог на тему об устройстве России не получился, зато была реакция — мы знаем какая — на другие высказывания великого писателя, высказывания, которые не проектами и попытками убедить, а раскрытием исторических фактов, казалось, потрясали основы государства. 12 февраля 1974 г., накануне изгнания, Солженицын написал очередное воззвание, на этот раз уже не коммунистическим диктаторам. О них он говорит в этом новом тексте только:

«Переубедить их — невозможно.

Единственно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу?»

Так как письмо властителям оказалось — чего можно было ожидать, чего и ожидал ведь сам Солженицын — швырянием гороха в стенку, писатель снова обращается к своей истинной аудитории: к соотечественникам, современникам, прежде всего — к русской интеллигенции.

Программа, которую он предлагает этим адресатам, гораздо проще представленной им — не без своего рода отчаяния — вождям. Вот она: *не принимать участия во лжи, не поддерживать сознательно лжи*, которая в СССР является главным союзником насилия. Каждый, кто выберет этот путь:

«— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли; (...)

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли. Не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются...»

Это все тот же Солженицын, который несколькими месяцами раньше пытался побудить авторитарных властителей СССР к реформам. Теперь он обращается к своим «нормальным» соотечественникам и учит их первым, основным шагам на пути сопротивления. Облик оратора не изменился — вопреки всем, кто ругает первый, а хвалит второй

текст, между тем и другим нет противоречия — есть только разница в адресе и есть своего рода очередность в обращении к разным шансам воздействия на действительность.

Если попытка диалога с вождями была утопией, будет ли более реальной попытка соглашения с согражданами, предложение им образа жизни в коммунистическом государстве против этого государства? Время, конечно, покажет, но, по-видимому, трудно надеяться, что призыв Солженицына сразу же подхватят широкие массы.

Не бесплодны ли и безнадежны поэтому усилия русского писателя? С таким заключением трудно согласиться тому, кто, как я, — хотя и не соотечественник Солженицына, — в каждом тексте этого автора, пусть не в каждой детали с ним соглашаясь, нахожу источник надежды и урок для себя и моих сородичей.

Голос из Варшавы

Редакция журнала «Культура»

Вниманию читателей:

СПРАВКА О ЖУРНАЛЕ «КУЛЬТУРА»

В июле 1972 года польский журнал «Культура», выходящий в Париже, отметил свое 25-летие. В предельно лаконичном «Отчете», опубликованном в юбилейном номере, основатель журнала и бессменный его руководитель Ежи Гедройц вспоминает: в начале 1946 года было заложено издательство «Литературный институт» — полтора года оно выпускало только книги; с июля 1947 года стал

выходить журнал. В отчете сказано: на 1972 г. вышло столько-то номеров «Культуры», столько-то книг в «Библиотеке Культуры». За минувшие два года число это возросло. Польская «Культура» 1974 года отмечена номером 323. Вышедший в этом же месяце «Архипелаг ГУЛаг» Александра Солженицына в блестящем переводе Михаила Каневского — 247 по счету выпуск «Литературного института».

Цифры эти достаточно красноречивы. Но никакие цифры не могут передать особенностей «Культуры», делающих ее журналом, быть может, уникальным.

Первая особенность состоит в том, что, выходя в Париже, «Культура» не стала журналом эмигрантским, иными словами — сохранила неразрывную связь с Польшей. Связь эта выражается не только в том, что в «Культуре» печатаются — под псевдонимом или под своим собственным именем — интереснейшие польские писатели и публицисты. Журнал, печатающий материалы на волнующие поляков темы, материалы, написанные не только со скрупулезной объективностью, но и с подлинным знанием предмета, приобрел верных читателей в самых различных слоях общества.

Вторая важнейшая особенность «Культуры» — открытость, превратившая журнал, если можно так выразиться, в Форум, на котором встречаются и сталкиваются самые различные взгляды на настоящее и будущее Польши и всего мира.

Наконец, третья особенность «Культуры» — острое чувство неразделимости судьбы Польши, народов СССР и Восточной Европы, чувство братства всех народов, стремящихся к свободе и независимости. Великолепным символом, выражающим это чувство, может быть «Декларация Прав Человека», изданная «Литературным институтом» летом 1974 г. на польском, русском, украинском, белорусском, словацком, литовском и чешском языках.

Восток — Запад

Карл Густав Штрём

РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ И БУДУЩЕЕ ЕВРОПЫ

На первый взгляд следовало бы предположить, что последние пятьдесят лет европейской истории должны были породить смертельную ненависть между русским и немецким народами. На самом деле, по ту и по другую сторону можно привести достаточное количество причин для обоснования подобной вражды. Война Гитлера, как очень скоро выяснилось, по крайней мере по своему замыслу, была войной для истребления русских и славян вообще. Обращение немцев с русскими военнопленными и, за редким исключением, вся германская оккупационная политика в занятых во время второй мировой войны частях России относятся к самым мрачным главам немецкого прошлого.

Но и ответная реакция советской стороны ни по размаху, ни по применяемым средствам не была ни в коей мере лучшей. Неопишуемые преступления, которые творились при вступлении в Восточную Германию Красной армии, судьба множества немецких военнопленных, аннексия Восточной Пруссии, превращение города Кенигсберга в «Калининград», раздел Германии, сопровождаемый к

тому же попыткой навязать части немецкого народа советскую систему, — все это вряд ли может рассматриваться, как исходная точка для развития здоровых взаимоотношений между нациями и государствами.

Тем более удивительно, что между русскими и немцами не наблюдается в настоящее время ни ненависти, ни отталкивания. Немцы, прошедшие долгие годы в советском плену и в сталинских концентрационных лагерях, вернулись в Германию, исполненные глубокого отвращения к советской политической системе, но без малейшего намека на ненависть или отталкивание от русских как народа, или от отдельного русского человека. Напротив: большинство этих бывших пленных подчеркивало, что жилось им скверно, но никак не хуже, чем самому русскому населению. Многие, вернувшись из России, рассказывали о том, как простые русские люди проявляли к ним человечность и сочувствие. Любой немец, который в наши дни поедет в Советский Союз и сумеет, оторвавшись от официальной программы «Интуриста», поговорить с подлинными русскими людьми, а не с показательными «советскими», специализированными на пересказе западным иностранцам передовиц газеты «Правда», должен будет заметить почти полное отсутствие у них ненависти к немцам. Скорее наоборот. Если не принимать во внимание безразличия и апатии, возникших вследствие десятиков лет нужды и разочарований, то для русского народа скорее характерно отношение к немцам

из Федеративной республики Германии, как смесь почтительного любопытства и уважения. Немцы же из «ГДР», которых в отличие от «настоящих» немцев из Западной Германии несколько пренебрежительно величают «нашими» немцами, такого интереса к себе не вызывают, потому что каждый русский в Советском Союзе понимает, что они так же — не свободны, а следовательно, и не станут говорить откровенно. В общем же и целом русские люди ощущают, что деление немцев на «восточных» и «западных» — искусственно. Сам факт, что пропаганда в Советском Союзе непрерывно рекламирует «Германскую демократическую республику», достаточно убедительно показывает, как низко котируется коммунистическое германское государство даже в пределах самой советской сферы властвования.

Но и для немцев, живущих в Федеративной республике Германии, — а только они ведь и могут высказываться вполне свободно, — Россия, вопреки всему, что случилось в годы второй мировой войны, несмотря на раздел страны советами и не взирая на весь отрицательный опыт советского коммунизма, осталась страной, привлекающей к себе их внимание и вызывающей у них самый глубокий интерес. Начиная с русской литературы и ее столь многочисленных переводов на немецкий язык и кончая областью популярной музыки с ее мотивами из кинофильма «Доктор Живаго» и ее подражаниями русским напевам, повсеместно находишь свидетельства непонятного на первый взгляд по своей благожелательности отно-

шения немцев из любых слоев населения к русским. Причем такой симпатии к русским в большинстве случаев сопутствует глубочайшее недоверие к советской системе. Касаясь прошлого, один крупный политический деятель Западной Германии как-то выразился, что перед русским народом он как немец несет свою долю вины, но перед советской системой — никакой.

После второй мировой войны советские руководители беззастенчиво обыгрывали отрицательный опыт гитлеровской агрессии и все то, что русским людям пришлось перенести под немецкой оккупацией, чтобы нарисовать перед населением Советского Союза и народами других коммунистических стран призрак немецкого «реваншизма» и возбудить, тем самым, известный рефлекс страха и повиновения, но в иных случаях они столь же бесцеремонно старались обыграть также и исторические традиции русско-немецкой дружбы. В некоем смысле даже политика партийного генсека Брежнева в отношении Бонна представляется повторением давным-давно пройденного. Конечно, и готовности Федеративной республики Германии пойти на сближение с Москвой советские руководители постарались дать историческое обоснование.

Беда только в том, что ссылки на исторические параллели, если только они исходят из уст (или из пропагандистских громкоговорителей) советских коммунистов — не искренни. Советско-коммунистическая идеология препятствует искренности советских руководителей даже тогда, когда они к ней субъективно, быть может, и стремятся.

В этом — корень исторического заблуждения всех тех, кто не прочь помечтать о новом русско-немецком союзе по образцу наполеоновских времен (Таурооггенская конвенция) или бисмарковских (Перестраховочный договор). Ибо тогда договоры и конвенции заключали равные с равными, в пределах единой шкалы ценностей и одинакового общественного порядка. (Столь многократные ссылки на Рапалльский договор приходится оставить без внимания: обе стороны пошли на заключение этого договора, побуждаемые к этому своей тогдашней слабостью, и эффективность этого договора не следует переоценивать).

К традициям русско-немецкого сотрудничества можно будет безусловно вернуться, если в один прекрасный день отпадет идеологический компонент политики Москвы. Тогда станет очевидным то, что сейчас выражается только в поведении простых людей России и Германии и может быть названо проявлениями инстинкта, а именно, инстинкта наличествующей между обеими нациями глубокой взаимной связи, чувство обоюдной близости и взаимодополнения, но безусловно также и опыт общих испытаний.

Но наш двадцатый век с его двумя кровавыми мировыми войнами, во время которых русские и немцы противостояли друг другу как враги, принес с собой столько перемен, что вернуться к представлениям прошлого уже будет нельзя. Германская империя, некогда то партнер, то противник империи Российской, рухнула. Даже в том случае, если воссоединятся обе части Германии, не возродится ни германская империя, ни великодержав-

ная немецкая внешняя политика. Российская империя стала советской. И мыслящие русские уже задают себе вопрос, не обернулись ли все эти успехи вовне, все эти территориальные захваты второй мировой войны, все эти всемирные амбиции московской политики в конечном итоге злом, а не благом для русского народа. Такие сомнения высказывают лучшие головы российского демократического движения, а Солженицын даже развил эту мысль и показал, что именно поражения государства способствуют трезвенным размышлениям народа, его внутреннему очищению, его освобождению.

Думая о своем будущем, ни немцы, ни русские не могут исходить из того, что сохранит свое существование та или иная великая держава, а следовательно не могут строить и расчетов на немецкий или русский империализм какого бы то ни было оттенка. Такая перспектива себя исчерпала — от Гитлера до Хонекера. Попытка превращения «ГДР» в коммунистический эрзац Пруссии, который оказывал бы вассальные услуги советской политике силы, противоречит интересам русского народа по меньшей мере так же, как интересам немецкого. До какого позора такой путь доводит, это мы увидели в августе 1968 года, когда немецкие солдаты — на сей раз это были восточногерманские — совместно с советскими войсками принимали участие в агрессивных действиях против Чехословакии.

Если и надлежит нам извлечь из всего этого урок, то скорее всего тот, что русские и немцы не должны понимать своих будущих партнерских от-

ношений так, как если бы они намеревались стать сообщниками по совместному подавлению других народов. В конце концов не важно, где пролегла бы «демаркационная линия» подобного сообщничества — по Висле или по Эльбе. Другими словами, лучшим русским и лучшим немцам пора научиться думать не об одних только интересах своей нации и не только о соблюдении интересов своего партнера, но и об уважении права на жизнь, которым обладают и все другие народы. Если они не пойдут по такому пути, то они очень скоро окажутся в сетях тех же самых противоречий, которые в прошлом уже заводили как немцев, так и русских в тупик тоталитаризма.

Немцам, империю которых разрушили победители второй мировой войны, отказ от мышления в категориях великодержавности дастся, вероятно, легче, чем многим русским, привыкшим, даже и восставая против советского режима, мыслить в категориях имперского величия. Но и здесь нельзя не заметить, что лучшие представители российского демократического движения неоднократно уже вступались за общечеловеческие права других народов, нерусских. Это свидетельствует не только об их мужестве, но и об их политической дальновидности. Народ, подавляющий других, сам не может стать свободным. Поэтому существует глубинная связь между освобождением русского народа и свободой всех остальных народов Советского Союза и Восточного блока. Свободы одних нельзя достигнуть, не осуществив свободы других.

Такая проекция в будущее может показаться преждевременной. Но исторические процессы про-

текают теперь ускоренными темпами, и ни немцам, ни русским не следует переступать порог этого будущего неподготовленными. В этом смысле и на немцах, и на русских лежит огромная ответственность перед историей и перед будущим.

От тех и от других в значительной степени будет зависеть, пойдет ли развитие Европы добрым, обнадеживающим путем, или же вновь повторятся трагедии прошлого, чего доброго еще и в более усиленном варианте.

Немцы, уже сегодня располагающие свободой решений, то есть практически все политически сознательные граждане Федеративной республики, должны понять, что после всех смут и крушений прошлого перед ними намечается возможность положить новое начало отношениям между Германией и Россией. В лице демократического движения и движения в защиту прав человека в России неожиданно возникла сила, готовая строить отношения между русским народом и его соседями на новых, нравственных и моральных основаниях. Таким образом мы видим перед собой русских, которые, в отличие от современных советских руководителей, желают по-новому судить о русско-немецких отношениях, не отталкиваясь ни от тотальной советской победы, ни от столь же тотального немецкого поражения.

Сумеют ли политические силы Федеративной республики это правильно понять и оценить? История русско-немецких отношений за последнюю сотню лет была не только историей великих возможностей, но и историей великих упущений, политической близорукости и морального верхогляд-

ства. Не имеет смысла возвращаться к вопросу, кто больше виноват в том, что история пошла таким путем, но надо наконец научиться извлекать уроки из собственных ошибок. Немцы в Федеративной республике не должны отвергнуть протянутой им российскими демократами руки, иначе неизбежно повторится трагедия прошлого. Они не имеют права, руководствуясь минутными и мнимыми тактическими выгодами, отказать в поддержке русским силам, которые стремятся к обновлению России. А поскольку это — исторический процесс, вряд ли позволяющий надеяться на быстрый и явный успех, — напротив, заставляющий считаться и с временными неудачами, — все будет зависеть от того, хватит ли у всех, имеющих отношение к этому процессу, терпения и долгого дыхания.

На немцев не выпадает при этом никакой особой «миссии», которая дала бы им какие-либо преимущества перед другими народами. Единственное их преимущество в том, что их исторический опыт более тесно связывает их с судьбой славянских народов, чем связаны с ними другие народы Запада. Быть может, следует отнести к переживаемому нами времени и слова Бисмарка о «хитоне Божиим», который в известные исторические моменты с шумом проносится по небесам, и тот, кто за него вовремя ухватится, того он и поднимает ввысь, неся его к цели.

Никому не дано заглядывать в будущее, но ясно одно: в тот день, когда русские и немцы начнут в условиях свободы свое сотрудничество, бу-

дет покончено со всяким страхом и для всех других народов Европы. Свобода обоих больших народов будет означать свободу и безопасность всех малых наций Европы. Только тогда наступит в Европе тот подлинный мир, о котором она пока может только мечтать.

ОБЩНОСТЬ НАДЕЖДЫ И ОПАСНОСТИ

Сколько тысячелетий у каждого из нас за спиной. Кто может сосчитать своих предков, разобратся в своих генах, в сложной и многоплеменной крови, пульсирующей в нас, но только твердо знаем мы, что помимо всего того, что роднит нас со всем человечеством, — неминуемость нашей смерти — есть и то, что нас разделяет не только от чужих, но и от родных по плоти. «Равного мне никого нет и в добре и в зле.» Но несмотря на это, единственная и неповторимая человеческая личность все же чувствует себя связанной с какой-то средой, страной или культурой. Мы единственны и мы соборны. У каждой страны тоже своя личность, оттого-то, хотя исторически создались большие страны и страны-континенты, центробежная сила, скажем, племенной памяти, все стремится разрушить единство больших стран и рассыпаться дробью этнических групп. Есть личность и у России с судьбой оригинальной и удивительной, страны европейской, но тесно слившейся с Азией, ставшей мостом между двумя континентами.

В ходе истории, спорадически отталкиваемая Западом или сама от него отталкивающаяся, своих истоков она забыть не может и всегда помнит свое «второе отечество». Антиномии между русской культурой — а не это ли главное — и француз-

ской, германской, английской, и т. д., нет. Говорю по опыту — принадлежа и к русской, и к французской и не чувствуя раздвоения. Все они дополнительные и взаимно влиятельны — когда границы открыты. Зародились европейские страны из одного и того же духовного источника, несколько заглушенного теперь на Западе «передовыми» влияниями, скованного в России тоже «передовой» идеей марксизма. Замечу, чтобы подчеркнуть и разницу: Западная Европа оканчивается там, куда не вступили с *Rex Romana* Римские легионы, принесшие законы, дороги, акведуки Рима. Рим цезарей оставил отпечаток и на Западной Церкви. А Россия и другие страны Восточной Европы привились к другой ветви христианства — Византийской, но и та, и другая ветвь, несмотря на отделения церкви от государства и на богоборческие волны современности, остались частью и основой европейской культуры.

Пропасть, отделяющая сейчас Россию от Европы, определяется только режимом, захватившим над ней власть, и в корне русскому народу наиболее чуждым, поскольку русский народ внутренне, инстинктивно, чувствует, — мы это можем проследить на протяжении веков, — примат духовного над материальным. Вот в этой его особенности он бы как раз и мог пригодиться Западу, более одаренному в другом плане — Западу, уже не удовлетворенному идеалом Общества Потребления, которое, кстати сказать, дало такие глубокие трещины, что грозит развалиться.

Бывает, десятилетия спит история. Так было накануне первой мировой войны, когда мир казался незыблемым, но вот она понеслась не гало-

пом, а в карьер, благодаря развитию науки. За одно поколение увидели мы, как исчезают государства и нарождаются новые, стираются границы между невозможным вчера и возможным сегодня. Прогресс перерос человека и человеческое. «Прогресс — доктрина ленивых», записал Бодлер. Уже в начале века ученый и философ о. Павел Флоренский был против плоской и наивной, по его мнению, теории прогресса, как пишет в своем очерке Евгений Модестов: «Флоренский был одним из величайших в истории мысли ясновидцев прерывности в движении не только идей, но и исторических событий и процессов в природе».*

Об этом говорит его книга «Столп и утверждение истины». Он предвидел в историческом аспекте «будущую катастрофу не только русской государственной жизни, но и всего комплекса мировой общественной системы».

Но никто на Западе голос Флоренского не услышал. Человек стал абстракцией или предметом. Прогресс же стал орудием принижения личности. Мы все еще нагружены старыми понятиями, живем мифами, но мифология нашего времени менее поэтична и менее символична, чем мифология древности, за которой таился глубокий смысл — взять хотя бы ящик Пандоры.

Во всех свободах, о которых кричат масс-медии, мы не отыщем и призрака подлинной, той, которая не зависит от тиранов — Хроноса и Власти, — внутренней свободы человека. Свобода — это прежде всего духовная способность отдельной личности противостоять злу. Кто свободнее, Сол-

* «Мосты» № 2, Мюнхен, 1959.

женицын или Брежнев? Но не об этой свободе говорят и не за нее борются, не ей учат.

Миф другой: равенство. Нет глупее и безнравственнее общепринятого понятия, рожденного, вероятно, из зависти к лучшим или более удачливым. Никто никому не равен, даже в своих страданиях, даже в момент смерти. И перед лицом закона за то же самое преступление не одна и та же кара будет справедливой. Кому больше дано, с того надо больше и взыскивать. И народы не равны, хотя все достойны уважения, но дары у всех различны. Не из одних скрипок формируется симфонический оркестр. У каждого своя роль и призвание. А вот во имя этого мифического равенства утверждают, что всем странам мира следует иметь одинаковые формы правления, не задумываясь о возможных результатах.

И так из революционного лозунга, придуманного в минуту экзальтации одним из самых умных народов мира, остается одно не мифическое утверждение братства. Каин был братом Авеля, с этим спорить нельзя. Но вот именно братство — *не миф* — трудно воспринимается человечеством.

В головокружительном движении нашего времени протаскиваем мы фразеологию прошлого века. Не решен еще спор, нужна ли идеология для государства или нет, но во всяком случае — новую идеологию пока никто не выдумал. Слова же 19-го века — не что иное, как пустые скорлупы. Теперь социализм означает совсем разное для западных стран и для восточных, и долго еще, в частности в России, будут его отвергать, как проклятье.

Задыхающееся, в точном смысле этого слова, от наших изобретений человечество плывет без руля и без ветрил в неизвестность, и нет ему опоры, потому что снижены духовные и моральные его искания. Иногда прорывается неуклюжий протест против угашанья духа материй — как в 1968 году движение западной молодежи. Нужды нет, что яростно тогда восставшая против скуки общества потребления молодежь эта, едва забрезжила опасность этому обществу, приумолкла и начала подумывать об обратных проблемах. Все же протест был. Но что меня поражало и угнетало в моих тогдашних разговорах с протестующими, это что оперировали они какими-то отрывками нашего 19-го века и, опираясь на бородатого старца Маркса, могущего быть даже и моим дедушкой, выражали мысли и идеи русских шестидесятников, мехи ветхие и никак не оригинальные для молодого вина.

Можно ведь уже подвести итог кое-каким (иллюзорным на практике) осуществлениям. Принесли ли подлинную культуру массам масс-медия? Расширили ли кругозоры туристические перемещения обывателей? Или миллионы книг, расходящихся среди них? Заменив преображенного Эроса уничтожением всех сексуальных запретов, умножили ли в мире любовь? Борьба за свои права не повела ли к игнорированию своих обязанностей? Тут следовало бы найти равновесие.

От человека можно требовать очень многое, но вошло в привычку требовать от него предельно

малого, и в этом может быть разгадка современного кризиса.

Совсем не удивительно поэтому, что голоса, идущие из страны произвола, сильнее голосов, идущих из пока счастливых стран. Будут ли они услышаны, дело другое.

ИСТОКИ

Вместо предисловия

Едва ли найдется в наше время сколько-нибудь грамотный человек, которому было бы неизвестно имя кардинала Миндсенти. Человек — символ, человек — легенда, человек — история. Четыре года гитлеровской тюрьмы, восемь венгерской советской и шестнадцать лет вынужденного подполья в посольстве иностранной державы, в столице собственного государства! И все это лишь за то, что везде, всегда, при любых обстоятельствах он говорил своему народу, своей пастве правду, одну только правду. Поучительнейший и долгий пример многим современным политиканствующим пастырям, погрязшим в лукавых играх с воинствующим тоталитаризмом.

К чести русского народа, к чести русской церкви Россия, в самую тяжкую годину своего духовного испытания имела у себя во главе такого пастыря. Имя патриарха Тихона, беззаветного мученика за свободу и достоинство родного народа навеки войдет в отечественную историю, как пример истинного святительского служения.

В истории любого народа случаются темные и горестные эпохи, когда лишь избранные остаются хранить его традиции и святыни. Одним из таких избранных для народа венгерского, на наш взгляд, и является сегодня кардинал Миндсенти.

Ниже мы публикуем обширные выдержки из его мемуаров.

ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

«Освободители»

В Шопрон Красная армия вступила в Пасхальную ночь. Незадолго до этого городской глава созвал совещание, чтобы подготовить достойную встречу для наших «освободителей». На это совещание пригласили также епископа Секешфехерварского, его брата и меня. Меня попросили произнести приветственную речь в качестве одного из освобожденных заключенных. Я ответил, что благодарность от имени Шопрона должен был бы выразить кто-нибудь из жителей этого города; что же касается меня, то меня никто не освобождал — я просто остался на месте после того, как бежали охранявшие нас полицейские. Так мы и не пошли никого встречать, остались дома.

В последующие дни я видел в окно, как «освободители» вламывались в соседние дома. Солдаты ставили мужчин к стене, разыскивали прятавшихся женщин, уносили вино, продукты, семейные сувениры, ценные предметы. Командование не препятствовало этому, очевидно, потому, что считало необходимым прежде всего унижить венгерскую нацию, к сожалению, под давлением нацистов принявшую участие в войне, дать ей почувствовать, кто победитель. Таким же налетам подверглись и окрестности Шопрона, по которым прокатилась волна грабящих войск.

Как-то под моим окном пьяные солдаты делили свою добычу. Конечно, не каждому посчаст-

ливилось найти то, чего ему хотелось или что ему было нужно. Дело дошло до ссоры, раздались громкие голоса, жесткие ругательства, были пущены в ход автоматы, прогремели выстрелы. Так сказать, инстинктивная потребность в частной собственности внесла разлад в коммунистическое сообщество. В качестве жертв на месте осталось несколько раненых и двое убитых. Наконец появилась комендантская команда. Она увела продолжавших ссориться мародеров, унесла их добычу и раненых. Трупы так и остались лежать на краю дороги.

Вслед за Красной армией вскоре появились венгерские коммунисты. Они расклеили плакаты, прежде всего обещая земельную реформу и самонадеянно заявляя, что отныне в Венгрии больше не станет бедных. Их пропагандистский материал доставлялся к нам на русских армейских грузовиках.

Я всегда сожалел, что земельную реформу в Венгрии не провели еще до первой мировой войны. Будь это сделано, не было бы так легко в 1920 году передать столько венгерской земли — под предлогом того, что она принадлежала крупным помещикам — в чешские, румынские и сербские руки. Но нынешнюю реформу проводил через своих споспешников враг, причем, насильственно, и служила она слишком уже очевидно интересам партии и оккупационной власти.

Возвращение домой

За время моего заключения случилось многое из того, чего я опасался: подверглись разрушению

города и деревни, прекратил действовать транспорт, не работали почта и телефон. Связь со своим епархиальным городом мне пришлось восстанавливать через личного посланца, что было связано с известной опасностью из-за присутствия русских и невозможности предвидеть их действия и поведение. 20 апреля 1945 года на станции Шопрон из товарных вагонов был составлен первый поезд, на котором к вечеру мне удалось наконец уехать. Шопронские железнодорожники отговаривали нас от столь рискованного предприятия, опасаясь, как бы русские не повытаскивали нас из вагонов и не увезли. Через несколько часов мы добрались до Папы, первого города моей епархии. Спросив прежде всего о судьбе моих священников и верующих, я услышал страшные вещи. Упомяну здесь только одно: со времени вступления русских, в больницу милосердных братьев было доставлено около тысячи женщин и девушек, из которых восемьсот оказалось зараженными сифилисом. Не мало женщин покончило с собой, а иные потеряли рассудок.

Надо было озаботиться каким-нибудь средством передвижения. Временный городской глава (его звали Дежё Шуйок) дал мне знать, что русский комендант безусловно согласится предоставить освобожденному из нацистской тюрьмы Веспремскому епископу автомобиль. Но епископ должен его об этом попросить сам. На такое предложение я ответил: «После того, что здесь пришлось пережить нашим женщинам и девушкам, епископ счел бы для себя позором просить у местного коменданта автомобиль».

В конце концов, удалось раздобыть повозку и лошадей. Правда, владелец опасался за судьбу сво-

их коней, но все-таки согласился запрячь их, чтобы оказать услугу «своему епископу». Я постарался успокоить его, сказав, что отвезти меня надо всего только в Фаркашдьепи, где я смогу взять собственных коней у лесничего своей епархии. Но там не оказалось ни лошадей, ни повозки. «Освободители» освободили лесничего от всего этого. Жена его накормила нас в совершенно разграбленном доме водянистой бобовой похлебкой, и мы пешком направились в Херенд, где заночевали у местного священника. На следующее утро, при прощании, священник объявил мне, что я спал в постели русского главнокомандующего — маршала Толбухина.

Когда я добрался до Веспрема, там был базарный день. Высокий крестьянин нес ягнёнка на плечах — как Добрый Пастырь. Женщины спрашивали его, почему он несёт ягненка на плечах, не повреждены ли ноги ягнёнка. Я остановился и ответил за него: «Он носит ягнёнка, чтобы и этого у него не отобрали, как остальных». Женщины засмеялись, но тут же взглянули на меня с испугом. Они узнали своего епископа, вернувшегося из тюрьмы.

Епархиальный город я застал в неопишемом состоянии. В соборе побывал отряд военных женского пола и совершенно его опустошил. Они пораскромсали облачения для престола и для священников, используя их для своих нужд. Все было перевернуто кверху дном при обысках и грабежах не только в домах обывателей, но и в церквях и в епископской резиденции, где мы обнаружили даже ампутированные части человеческого тела. Съестных припасов в доме не оказалось, а я из-

нывал от голода. Пришлось поступить наиболее естественным образом: поехать домой к матери. Она вновь поставила меня на ноги, дала с собой продуктов для моего собственного хозяйства. Ей удалось сделать так, потому что моя родная деревня пострадала значительно менее других. Войска всегда проходили этой местностью, не задерживаясь. Редкостное, счастливое исключение в годину коричневого и красного урагана.

Но насладиться радостью пребывания в родном доме мне не пришлось. Разруха, охватившая всю епархию, требовала моего возвращения. На двуколке объехал я всю область Шомодь от озера Балатон до реки Дравы. Мой верный священник Саболч Сабадхедьи временно стал моим кучером. Всюду встречал я запуганный люд, разграбленные и сожженные дома, заброшенные приходы. Шесть священников области оказались среди гражданских жертв войны. В деревне Исказ русские вломались в костел, нарядились в церковные облачения и в таком виде устроили уличное шествие. В другой деревне молодой священник попытался было протестовать против творимых зверств — его расстреляли. Жену нотариуса изнасиловали семнадцать солдат, а потом расстреляли вместе с ее сынишкой, который при виде всего этого не мог удержаться от криков ужаса и выбежал было на улицу. Мужа, который попытался отстоять свою жену от насильников, обвинили в сопротивлении Красной армии и увезли как «военного преступника». Совершая свой обезд, я всюду слышал одни и те же жалобы: везде убийства, везде — насилия. Не было пощады ни детям, ни древним старикам.

После окончания войны, в мае месяце, мы собрались на первое совещание епископов. Главы двенадцати епархий ни о чем другом не могли говорить, кроме как об ужасах и кровавых насилиях. Сотни тысяч людей оставались без крова, без пристанища, бродили по дорогам, пока их не угоняли, как скотину, куда-то на восток. Однажды я спросил в области Шомодь старого батрака в какой-то деревне: «Что ж, батюшка, и вас освободили?» На что он ответил: «Освободили меня и от шляпы, и от ботинок».

Совещание епископов

В последний год войны совещание епископов не созывалось. Связь поддерживалась через доверенных гонцов. Но вот наступил долгожданный конец войны. Однако он принес с собой только еще более тяжкие заботы и несчастья. В мае 1945 года оказалось возможным составить общую картину состояния католичества в Венгрии. Редко когда Церковь нашей страны так истекала кровью из бесчисленных тяжких ран, как ныне, после окончания второй мировой войны.

Апостолического нунция Ангело Ротту русское командование выслало за пределы страны. Оккупанты не желали иметь свидетелей своей разрушительной работы. В то же самое время оказался, к сожалению, вакантным и престол примаса-первоиерарха. Нервные переживания и отсутствие медикаментов 29 марта 1945 года положили предел земной жизни кардинала-архиепископа Шереди. Вместо него на совещании председательствовал теперь старший по чину архиепископ Калочский

Иосиф Грёс. Занимая некогда епископскую кафедру в Сомбатей, он был моим прямым начальником. Теперь он обратился ко мне с просьбой составить наше общее пастырское послание. Я постарался соблюсти необходимую сдержанность, но в то же самое время дать правдивую картину церковного положения. Я обошел молчанием огромные разрушения, которые нанесли стране советские войска, и даже проявил некоторое понимание распоряжений временного правительства. Приведу здесь выдержки из нашего послания:

«Возлюбленные во Христе!

Со времени нашего последнего обращения к вам по нашей родине прокатилась страшная волна войны, оставив после себя разрушения. Нам пришлось пережить одну из самых больших катастроф за всю историю нашего отечества. Нищими и посрамленными сидим мы у обочины дороги народов, нас давит скорбь, нас наполняет горечь.

Но, несмотря на это, мы смиренно благодарим милостивого Бога за то, что вновь можем обратиться к вам и что грохот оружия в Европе умолк. Мы не перестаем молиться, чтобы следы безумных убийств стерлись и вместо них в нашем отечестве утвердился богоблагословенный мир, а с ним и возможность мирного развития.

Все мы трудимся над устранением разрушений. Но мы не должны забывать, что ранения, причиненные душам, более тяжки, чем разрушения материальные. Меньше стали уважать Божьи законы, надломился один из главных столпов, на которых зиждется жизнь народов: уважение авто-

ритетов. Тяжкие удары судьбы обрушились на нас, в частности, и потому, что вожди наши восстали против народных традиций и порвали с унаследованной от предков верой.

Многие полагают, что люди могут объявлять недействительными божественные законы, и что в особенности государство обладает правом так поступать, если оно считает, что его цели этого требуют. И вот ни в чем не повинных людей отправляли в заточение, лишали имущества, ссылали, убивали. Те, кто отдавал соответствующие приказы, соучаствовал в их исполнении или их оправдывал, позабыли, что в случае столкновения между законом божественным и законом человеческим мы обязаны слушаться Бога, а не людей. Власти же, сами себя поставившие превыше Божьего закона, и тем самым отказавшие Богу в надлежащем уважении, очевидно не учли того, что этим они подрывают и свои собственные основы.

Седьмая заповедь остается в силе и во время войны. Наш долг — защищать чистоту брака даже в самых трудных обстоятельствах. Если, однако, женщине причинено насилие без ее внутреннего согласия на это, то она — без греха. Мы исполнены искреннего сочувствия к нашим подвергшимся тяжким испытаниям женщинам и девушкам, но в то же самое время с гордостью взираем на наш народ, который дал им силу стать подлинными героинями, защищая свою честь.

Возлюбленные верующие! Хотя нынешнее правительство, как и явствует из его названия, — временное, тем не менее, только оно одно представляет народ во вне и охраняет порядок внутри страны. Поэтому оно имеет право ожидать для себя

уважения и послушания во всем, что не противоречит Божьему закону. Однако, послушанию населения должно предшествовать сознание своей ответственности у правителей.

Изо всех распоряжений нынешнего правительства структуру общества более всего затрагивает земельная реформа. О конституционно-правовом и нравственном аспектах земельной реформы мы свои взгляды уже довели до сведения правительства отдельно. Здесь мы коснемся лишь ее предполагаемых последствий для Церкви. Семинарии, готовившие священников, и храмы до сих пор сохранились на поступления от церковных владений. Кто их будет содержать впредь? Чтобы управлять Церковью, нужны также штаты сотрудников и канцелярии, на содержание которых тоже требуются большие средства. То же самое касается наших школ и других церковных учреждений. Смогут ли верующие бедной страны, поверженной в нищету, перенять на свои плечи все тяготы по сохранению всего этого? Мы полагаемся на вашу любовь и жертвенность, возлюбленные, но тем не менее с озабоченностью взираем на будущее.

Все же наши материальные заботы не столь велики, чтобы не дать нам видеть, как велики заботы и страдания народа. Нас беспокоит и вызывает наше сочувствие судьба наших многочисленных военнопленных. По возвращении их, конечно, с нашей стороны будут ждать не презрение и упреки, а наша общая любовь и уважение. Каждый день возносится к небесам наша молитва за героев, отдавших жизнь свою за отечество. Существуют не одни только десять заповедей, но есть наряду с ними и закон любви, обязывающий нас и в от-

ношении наших врагов. Без него мы перестали бы быть христианами. Как призванные хранители божественных законов, возлюбленные верующие, мы вновь подтверждаем, что всем этим законам подобает послушание и уважение, и что законы эти вечны.

Если нам дорого будущее нашей страны, мы должны настаивать, чтобы Божьи законы соблюдались не только в жизни каждого отдельного человека, но и в жизни общества и государства. Будем твердо держаться нашей веры, которая родной стране и нашему народу служила опорой на протяжении вот уже тысячи лет, обеспечивая тем самым его существование и бытие нашего отечества в будущем. Это не пустые слова, а истина, которую подтверждает история: меч дал нам в древние времена нашу землю, но крест нам ее сохранил. Нет такого государства, которое устояло бы, не будучи утвержденным на правде и на добре. Столп же правды — Церковь...

Демократия и свобода — лозунги новой жизни. Хорошие лозунги! Демократия означает, что каждый отдельный гражданин и соотечественник, каждый класс или слой с одинаковым правом будет принимать прямое или косвенное участие в решении вопросов, касающихся всего общества. На такой правовой основе именно мы, католики, сможем строить свою жизнь. Ведь мы черпаем основы подлинной демократии из Евангелия и не злоупотребляем демократией для прикрытия каких-нибудь узко-эгоистических устремлений.

Где граждане слушаются Бога, там уважается закон, где уважается закон, там крепнет внутренний порядок, а где крепки устои внутреннего по-

рядка, там сильно государство. Разве кто-либо умел лучше удерживать людей от зла, чем вера, которая устанавливает порядок не внешними средствами и не страхом наказания, а лишь тем, что учит побеждать свои инстинкты и страсти. Храните и блюдите ваши права, необходимые для католической жизни в ограде Церкви, священно связующей вас с Богом, ваши права, позволяющие вам обеспечивать воспитание вашим детям в школе, ваши права как членов общества, которое определяет внешний порядок и рамки вашей жизни».

«Неблагодарность»

В нашем пастырском послании мы проявили сдержанность. Не легко она нам далась, поскольку нам вновь и вновь приходилось узнавать о насилиях и при этом терпеть, что навязанное нам оккупационными властями временное правительство ничего против этих насилий не предпринимает. С приходом русских вернулись в Венгрию жившие в России венгерские коммунисты. На советских машинах разъезжали они теперь по венгерской равнине и по тем восточным частям страны, которые подверглись оккупации уже осенью 1944 года. Применяя «народно-демократические» методы, они определили состав временного парламента, который 21 декабря 1944 года был созван в Дебрецене. Из назначенных ими депутатов 72 были членами коммунистической партии, 35 — социал-демократической, 12 — крестьянской и 57 — партии Мелких землевладельцев. Кроме того, депутатами были 19 представителей профессиональных союзов и 53 беспартийных. Парламент образовал временное

правительство из представителей перечисленных групп. По требованию русских на министерские посты были избраны три бывших генерала и один граф.

Национальное собрание передало партиям управление страной. Существовавшие в областях, районах, городах и селах органы управления заменялись национальными комитетами, в которые входили депутаты от признанных легальных партий и от профессиональных союзов. Само собой разумеется, что марксистские партии зависели от Москвы. Но оккупационные власти с самого начала сумели наводнить своими доверенными лицами и немарксистскую партию Мелких землевладельцев. Профессиональные союзы по своей линии производили пере выборы. Оказывалось массивное давление, чтобы кандидаты выдвигались из рядов коммунистов или их попутчиков. Из членов всех названных партий создавались и комиссии и трибуналы для рассмотрения дел о «военных преступлениях» и для расправы над «врагами народа». Их подлинная задача сводилась к тому, чтобы устранять отовсюду тех лиц, которые русским казались подозрительными. Но наказание легко отменялось, если осужденный выражал готовность впредь сотрудничать с марксистами. Теоретически было, конечно, возможно подавать апелляции местным контрольным комитетам и народному суду. Но на практике нельзя было ожидать отмены или изменения приговоров. Поэтому каждый стремился записаться в какую-нибудь партию. Без партийного билета нельзя было продвинуться вперед ни в общественной области, ни в частной жизни. Только партийный билет открывал все двери. Когда мне

по делу упомянутого пастырского послания впервые пришлось поехать в Будапешт, для меня и для сопровождающих меня лиц были изготовлены партийные билеты членов партии Мелких землевладельцев. Но на обратном пути, при выезде из столицы, русские солдаты отказались признать наши бумаги. Они принимали только коммунистические удостоверения. Нам пришлось вернуться и пробираться в мой епархиальный город иными путями, минуя главную магистраль.

Постепенно возрастала мощь политической полиции, образованной по русскому образцу. Она начинала подвергать преследованиям и невиновных, пыталась запугать население и принудить его к сотрудничеству, то есть к прямому доносителю.

Весной 1945 года временное правительство переехало из Дебрецена в Будапешт. Летом ко мне явились священники Иштван Балог и Бела Варга, принадлежавшие к числу руководителей партии Мелких землевладельцев. Они попросили меня поехать с ними в Будапешт, чтобы там выразить благодарность Красной армии и ее командованию за наше освобождение. Разговор вел по преимуществу Балог. Я еще был в заключении, когда он — будучи настоятелем прихода в Сегеде — уже примкнул к коммунистическому правительству в Дебреcene и дослужился до чина статс-секретаря. Несколько позже на пресс-конференции в Москве он заявил: «Кроме нарушений законности, которые в военное время неизбежны, вряд ли имели место более крупные преступления, заслуживающие упоминания. Мы приветствовали Красную армию, потому

что немцы нас годами угнетали и эксплуатировали».

Некоторое время я молча смотрел на своих посетителей — Иштвана Балого и Белу Варгу. Потом сказал: «Я — младший из епископов. Есть пастыри, которые более достойно могут представлять Церковь Венгрии, чем я; обратитесь с вашим делом к епископу Секешфехерварскому или к архиепископам Калочскому и Эгерскому». Мои посетители таким ответом не удовлетворились. Тогда я им объявил, что вопрос слишком серьезен и я должен его спокойно обдумать. Во время одной из моих поездок в Будапешт я вскоре повстречал Иштвана Балого на улице, возможно — благодаря подстроенной им «случайности». Он вновь напомнил мне о своем предложении. «Я всё продумал, — ответил я ему, — в этом деле на меня не рассчитывайте».

Если бы у меня были хотя бы малейшие основания надеяться, что такой двусмысленный шаг с моей стороны может привести к облегчению людских страданий, я бы согласился на это предложение и совершил бы требуемую поездку. Но я опасался, что подобный шаг, совершенный епископом, введет в заблуждение народ относительно природы и подлинных целей коммунизма.

«Церковь и новый мир»

Переступая границы исторической Венгрии, Красная армия попыталась показать себя нашей нации с лучшей стороны. В октябре 1944 года русское командование выпустило воззвание, в котором говорилось: «Венгры! Красная армия призывает вас оставаться на своих местах и продолжать свой

мирный труд. Священники и верующие могут беспрепятственно продолжать соблюдать свои религиозные обряды».

Это заявление красноречиво показывало, что коммунизм под свободой религии понимает всего только свободу совершения богослужений, «отправления культа». Что представляет собой подобная «свобода», которой пользовалась и подчиненная митрополиту Сергию Русская Православная Церковь, в достаточной мере известно. Всякое воздействие Церкви на развитие культуры, всякая общественная или благотворительная деятельность Церкви исключались. Венгерские коммунисты, хорошо усвоившие теорию и практику Москвы, утверждали (учитывая место, которое Церковь занимала тогда в Венгрии), что они не ставят себе целью вытеснения Церкви из областей, в которых она развивала свою деятельность. Они кроме того заявляли, что для всех спорных вопросов, которые могут возникнуть между Церковью и государством, они постараются найти решение по существу, в духе подлинной демократии. Но в узких партийных кругах по-прежнему сохраняло свою действительность положение: «Религия — это вредная идеологическая надстройка, служащая обману поработаемого и эксплуатируемого народа». Но о том, что марксизм сохраняет свою безоговорочную враждебность к любой религии, подобную враждебности материализма энциклопедистов в 18 веке или враждебности Людвиг Фейербаха в 19 веке, об этом знали только члены партии. Правда, исполнителям воли Москвы передавалась и директива Ленина, согласно которой борьбу против религии по тактическим соображениям в известных

случаях надлежит проводить так, чтобы не отпугивать от себя верующих, а духовенство по возможности следует использовать для достижения целей коммунизма.

Поэтому марксистские партии вначале действовали в соответствии с этими тактическими установками Ленина. Им приходилось так держаться еще и потому, что в противном случае они настроили бы против себя широкие круги венгерского народа. Вряд ли еще когда-нибудь за все время своей истории приходилось венграм — как католикам, так и протестантам — так твердо отстаивать свою верность христианству, как именно в эти дни. Приносил свои плоды добрый пример тех духовных руководителей, которые имели случай проявить свое мужество и свою решимость незадолго до этого — во время владычества нацистов.

Глубокий след оставило после себя исполненное драматизма воззвание моего предшественника, кардинала-примаса Шереди, призвавшего священство и монашество не покидать свою паству, оставаться на своем посту хотя бы даже и ценою мученичества. Благодаря этому в заключительной стадии войны десятки тысяч людей смогли найти пристанище в церковных учреждениях и храмах и тем самым спасти свою жизнь. Впоследствии именно монастыри, семинарии и дома приходских священников предоставляли убежище женщинам, за которыми охотились русские солдаты. Всего этого венгерский народ не забывал.

Верующие везде тесно объединялись вокруг Церкви. В условиях полного развала государства и общества наиболее неотложные задачи жизни решались при содействии Церкви. Обнищавший, до

самых костей исхудавший народ, подвергавшийся угрозе эпидемических заболеваний, через церковную организацию «Каритас» снабжался продуктами, одеждой, топливом. С другой стороны, верующие добровольцы безвозмездно трудились над восстановлением разрушенных храмов, церковных школ, монастырей, церковных домов культуры и приходских домов. По всей стране стремительно росло число посещающих храмы богомольцев и причащающихся. Больше чем когда-либо в прошлом стремились родители записать своих детей в католические школы. По-новому расцветали прицерковные общества. Крестные ходы и паломничества проходили с участием десятков и сотен тысяч людей. С воодушевлением присоединялись они к этим процессиям, чтобы открыто исповедовать свои христианские убеждения. Издаваемые хоть и в недостаточном количестве, а часто всего лишь гектографированные церковные издания передавались из рук в руки.

Такое все более возрастающее влияние Церкви не могло не беспокоить коммунистов, тем более, что им самим тогда удавалось объединить вокруг себя лишь незначительные группки и они отдавали себе отчет в том, что сплочение народа вокруг Церкви кроме всего прочего означало и его твердое «нет» материалистическому мировоззрению. Таким образом, уже первый большой крестный ход, проведенный 20 августа 1945 года, означал недвусмысленный отказ народа примириться с коммунизмом.

500.000 верующих проследовали в этот день за нетленной десницей Святого Стефана. Сотни тысяч окаймляли путь процессии. Будапешт исповедовал свою веру так внушительно, что услышать это

должны были все: «Величайшее сокровище нации — это наследие, оставленное нам нашим святым королем. Поэтому мы останемся верными христианству и не позволим атеизму и материализму закрепиться на нашей земле».

При таких обстоятельствах коммунистам оставалось только инфильтрировать церковные приходы. Даже члены партии присутствовали на богослужениях, подходили к причастию, с партийным значком участвовали в процессиях. Бригады коммунистов приходили работать по восстановлению разрушенных бомбами церквей. За свою помощь они испрашивали письменные удостоверения, а потом публиковали их в печати как доказательство своего благожелательного отношения к религии.

Но в течение этого же самого времени Церкви было нанесено три тяжких удара. Земельная реформа лишила церковные учреждения их материальной основы. Хотя и было объявлено, что за конфискуемые угодия будет выплачена компенсация, но урегулирование этого вопроса так и не было поставлено на обсуждение парламентов. Правда, они соглашались на выплату вспомоществований, но окончательное решение вопроса вновь и вновь откладывали с тем, чтобы впоследствии, в ходе прямых переговоров Церкви с государством, располагать возможностью оказывать на Церковь большее давление. Несмотря на это нарушение принципа взаимного доверия, епископат принял земельную реформу без протеста. В своем первом окружном послании после войны епископы преподали новым хозяевам церковных угодий свое благословение и выразили надежду, чтобы это мероприятие новым владельцам принесло Божиим бла-

гоизволением столько добра, что Церковь могла бы позабыть о своих собственных потерях и заботах. Вторым тяжким ударом были стеснения, которым начала подвергаться католическая печать. До войны Церковь располагала хорошо налаженной печатью. Теперь ее заставили заново ходатайствовать об издательских правах. Соответствующие разрешения выдавал только главнокомандующий Красной армии. Он разрешил лишь два католических еженедельника, сославшись на нехватку бумаги. И это несмотря на то, что коммунисты выпускали 24 ежедневных газеты, пять еженедельников и целый ряд журналов. Было ограничено количество страниц католических изданий, им препятствовали выходить регулярно и кроме того подвергали цензуре. Цель была ясна — вытеснение Церкви из жизни общества, ограничение ее влияния в области информации, подавление всех видов ее деятельности.

Новая опасность для Церкви и для религии вообще возникла с провозглашением Дебреценской партийной программы. Она предотвратила возможность образования и существования партии на четкой христианской основе. В Венгрии, как и в других странах Европы, католические и христианские партии долгое время играли существенную роль в политической жизни своих стран. Христианская партия пользовалась влиянием в парламенте и среди народа после крушения 1919 года, в период между обеими мировыми войнами. Теперь христианские политические деятели сделали в Дебрецене попытку добиться разрешения воссоздать свою партию. Но в силу марксистских интриг была разрешена только фракция так называемых прогрес-

сивных католиков, с которой епископы не в состоянии были сотрудничать.

Очень скоро — летом 1945 года — коммунисты изменили и законы о браке. Фактическое разлучение супругов признавалось достаточной причиной для развода, причем даже в том случае, если разлучение произошло вопреки воле самих супругов, например — в силу непредвиденных обстоятельств, из-за призыва на военную службу, вследствие плена, заключения в тюрьму, — такое фактическое разлучение сроком свыше шести месяцев, становилось, таким образом, достаточным основанием для развода супругов, не желавших вновь соединять свои судьбы. Затем, в августе месяце, по всей стране прокатилась волна нападков на великих людей нашей истории. Их заслуги перед нацией ставились под сомнение и подвергались критике. Началось с того, что министр народного благосостояния опубликовал в газете коммунистической молодежи статью, очерняющую память Святого Стефана. Учителям были даны указания строить свою воспитательную работу не на «устаревшем христианском мировоззрении», а на базе марксизма. Дома католической молодежи конфисковались и передавались марксистским организациям молодежи. На государственные средства их ремонтировали и превращали в клубы. Они должны были отныне служить отчуждению юношей и девушек от идеалов христианства. Надо заметить, что все это проводилось постепенно, что солдаты Красной армии не производили планомерных разрушений церковных учреждений и что венгерские коммунисты тоже воздерживались от открытой борьбы против

Церкви. На это было обращено внимание в окружном послании епископов от 24 мая 1945 года:

«Распространялся слух, что русская армия намерена уничтожить Церковь. Этот слух не подтвердился. Напротив, командование проявило большое внимание к нуждам церковной жизни. Наши храмы по-прежнему стоят на своих местах, совершению богослужений никто не препятствует. Но возможно, что нас ожидают трудные времена».

Эти последние слова должны были, по нашему замыслу, предупредить верующих и обратить их внимание на двойственность поведения коммунистов.

Мое возведение в сан первоиерарха

Совершив поездку по Шомодьской области, я 8 сентября 1945 года вернулся в свой епархиальный город Веспрем. Там меня ожидал Йозеф Грёс, архиепископ Калочский, который председательствовал на нашем епископском совещании. Он объявил мне волю Святого Отца*, чтобы я перенял кафедру архиепископа Эстергомского и тем самым стал бы примасом Венгрии. Он выразил надежду, что сможет на следующий же день выехать в Рим, заручившись моим согласием на это. Я размышлял до полуночи. Потом попросил об отсрочке на сутки. Мне не трудно было бы отказаться, и для этого я мог бы привести достаточно доводов. И если за сто лет до меня Йозефу Копачи пришлось долго бороться с самим собой, когда ему предлагали произвести тот же самый шаг и поменять Веспрем на Эстергом, то знающему все обстоятельства будет

* То есть папы Римского Пия XII. — Прим. перев.

не трудно понять, что свое согласие я смог дать не без колебаний.

Через двое суток я все-таки согласился. Решающим для моего согласия было доверие, которое мне оказывал Пий XII. Он знал мой характер, знал, что душепастырство занимало в моей деятельности больше места, чем какая бы то ни было политика. Именно он некогда предложил назначить меня на Веспремскую кафедру, хотя правительство и тогда вставляло палки в колеса. Через своего нунция Святой Отец следил за состоянием дел в моей епархии, знал о моем пребывании в тюрьме. К тому же время не ждало. Передавший мне предложение епископ считал, что католицизму в Венгрии может быть нанесен значительный урон, если и впредь останется вакантным место первосвященителя, вдовствующее и так уже целых полгода. Объявляя ему о своем согласии, я в глубине своего сердца возлагал надежду на наш народ, столь мужественно отстаивавший свою веру и уже не раз доказавший свою преданность христианству. В небольшой степени рассчитывал я и на поддержку Контрольной комиссии союзных держав, которая после заключения перемирия стала верховной инстанцией, вершившей судьбы нашей побежденной нации. В состав этой комиссии наряду с русскими входили и главы военных миссий западных держав.

Неделю, которая последовала за моим решением, я использовал для поездки в окрестности Папы, чтобы посетить там приходы и совершить таинство миропомазания. Я ощущал потребность уделить побольше внимания вновь назначенным в те места пастырям, о которых я впредь уже не мог бы так заботиться. Еще во время этой поездки со

Святым мирро узнал я определенно о том, что Пий XII назначил меня примасом Венгрии. Йожеф Грёс, архиепископ Калочский и местоблюститель первосвятительской кафедры, опубликовал это известие утром 15 сентября 1945 года. Временное правительство сочло за благо в тот же самый день предоставить мне для обеспечения моей безопасности и в знак уважения украшенный национальными флагами военный автомобиль. Этой автомашиной я сразу же воспользовался, чтобы поехать в Папу, где я 16 сентября преподавал таинство миропомазания 800 мальчикам и девочкам. Начав свою проповедь с краткого слова, обращенного к детям, я затем направил призыв к нации, предлагая верующим содействовать примирению противоречий и добросовестно относиться как к своим гражданским обязанностям, так и к своим правам: «Церковь желает и требует от каждого верующего христианина, чтобы он, не страшась ничего, пользовался своими правами гражданина так, как учит его вера. Каждый венгр-христианин обязан использовать свои права гражданина страны. Каждый венгр-католик, пользуясь своими правами и исполняя свой гражданский долг, да поступает так, как учит его совесть. Только тогда можно будет добиться, чтобы наша общественная жизнь и впредь зиждилась на христианских основаниях. Католическая Церковь на протяжении своей тысячелетней истории пережила немало бурь. Она не прячется новых испытаний, но всегда стоит вместе с венгерским народом и защищает венгерский народ на самом переднем фронте борьбы. Церковь не испрашивает для себя защиты светских сил, ибо ее прибежище — под крылами Божиими». Запрестольный образ церкви

в Папе изображает побивание камнями Святого Стефана. Я указал на этот образ и призвал венгров не побивать друг друга камнями, а следовать добродетелям этого Первомученика святой Церкви — прощению и любви.

И друзья, и враги могли из этих слов заключить, что новый примас вполне отдает себе отчет в том, насколько тяжело положение Церкви и страны, и хорошо знает, что приняв на свои плечи обязанности высшего церковного руководителя нации и носителя конституционно-правовых функций в такое время, стоит перед задачами, почти превосходящими силы человеческие.

В тот же самый день пополудни я поехал на предоставленном мне автомобиле, которым управлял солдат в форме, в Миндсент к моим родителям. Меня сопровождал старший лейтенант — мой бывший ученик — и младший священник, состоявший при епископе. В течение недолгих часов, проведенных мною дома, мои старенькие родители пролили немало слез. Это были слезы, вызываемые заботой. Мать моя обещала постоянно поддерживать меня в предстоящие трудные времена своей молитвой, да и отец при прощании дал понять, что он сознает, какие опасности на нас надвигаются.

Они не заставили себя ждать. Прошло всего десять минут, как мы покинули Миндсент, а уже оказались в смертельной опасности. В деревне Чипкерек, у самой шоссеиной дороги Будапешт—Сентготхард, мы очутились посреди толпы пьяных советских солдат, занятых грабежом. Они только что задержали и опустошили грузовую машину. Показали и нам, чтобы мы остановились. Наш шофер начал было тормозить, но я дал ему знак не

останавливаться, он нажал на газ и мы пронеслись мимо русских. Вслед нам прогремело несколько очередей, которые, к счастью, не причинили нам вреда.

На следующий день я сообщил об этом случае Контрольной комиссии союзных держав, но председательствовавший в тот день русский даже не удостоил жалобы какого-либо ответа. Мое заявление было задумано как попытка обратить внимание комиссии на недопустимость подобных порядков и, тем самым, помочь не только самому себе, но и другим. Каким же опасностям подвергался каждый простой путник, если даже примас страны не мог рассчитывать на безопасность в своих передвижениях!

Я закончил свои дела в прежней епархии и начал готовиться к переезду в Эстергомскую архиепископию. Визит мне нанес и генеральный викарий этой епархии, Янош Драхош, чтобы обсудить подготовку моего возведения на новую кафедру. Сам я направился в Будапешт, но до этого съездил еще к Лайошу Чвои, епископу Секешфехерварскому, со стороны которого всегда мог рассчитывать на дружеский совет и понимание. Мы вместе обсудили мои заботы и планы. Я передал ему также для газеты «Уй Эмбер» давно задуманную мною принципиальную статью о роли церковных приходов в новых условиях. Основные мысли статьи я начал обсуждать с этим епископом-другом еще в заключении. Он тоже видел задачу иерархии в том, чтобы собрать верующих в четко организованные церковные приходы. Текст статьи показывает, что мы уже тогда, за полтора десятилетия до созыва II Ватиканского собора, преподали венгерским ка-

толикам, «народу Божьему», душепастьерские указания, исходящие из схожих духовных установок. Заглавие статьи говорило само за себя: «Наша главная задача в год бурь». Привожу выдержку:

«Бури разрушают человеческие институты и хоронят идеи. Новые веянья рождаются или выходят на передний план. Охватывая широкие поля деятельности, венгерские католические епархии образуют существенный фактор общественной жизни. Они крепят католическое самосознание, они обеспечивают органическое единство церковного народа, осуществляют благотворительную работу, образовательную деятельность, распространяют информацию, проводят миссионерскую работу и направляют работу церковной печати.

Четкие церковно-приходские организации и объединения существовали в Венгрии и до 1919 года, например в Шопроне или в Кёсеге. Но только после этого года они начали распространяться вширь. С тех пор, можно сказать, вокруг каждой церкви и вокруг каждой римо-католической общины, располагавшей своей школой, возник свой церковный приход. Трагический 1919 год потребовал такого более тесного объединения. Того же требует и 1945 год по схожим причинам. Надо увеличивать число приходов. Обстановка в новых поселениях требует, чтобы там создавались и новые церковные приходы. Даже в областях, где в 1919 году можно было еще не спешить, 1945 год нас побуждает к этому. Но этот год бурь, кроме того, требует и углубления жизни уже существующих церковных приходов.

Одна из главных задач церковного прихода — осуществлять объединение и примирение разбитого на партии и классы общества во Христе.

Сегодня над всем преобладает лозунг: демократия, народная власть! В церковном приходе мы не осуществляем демократии ни в ее восточной, ни в западной форме; но мы стремимся, вопреки всем противоречиям, к соединению, к единству народа Божия, к единству семьи. В приходе мы объединяем все слои народа, не исключая никого, не отстраняя ни одного класса.

Структура общества подразделяет нас на крестьян, горожан, рабочих и так далее. Церковный же приход объединяет нас с Христом и приобщает нас к Его мистическому Телу — Церкви. В противовес к только что рухнувшему тоталитарному режиму, Церковь всегда неустанно провозглашала права каждого — права человека, семьи.

И ныне, в атомный век, венгерская Церковь в своих приходах продолжает выполнять волю Учителя, «да вси едино будут» (Иоан. 17, 11). За это, как распавшееся общество, так и каждый отдельный верующий должны быть благодарны Церкви. Церковь осуществляет соборность в пределах отдельных местностей и приходов.

Сама жизнь показывает приходам их задачи: обеспечение богослужений, устройство школ, домов культуры, кладбищ, заботу о многодетных семьях, о бедных, больных, страждущих, боримых, обесилевших — обо всех тех, кто так близок был Господу нашему в дни его пребывания на Земле».

В Будапеште я побывал у своего генерального викария, а затем посетил «Католическое дело», чтобы посоветоваться с руководителями этой орга-

низации. Беседовал я и с патером Иштваном Борбей, начальником «провинции» иезуитов и с кармелитским монахом патером Марселем Мартоном. С одним обсудил деятельность католических организаций, действующих в областях культуры и социальной помощи, с другим — затронул вопросы, касающиеся религиозной жизни верующих и содействия ей.

Для моего возведения на Эстергомскую кафедру было выбрано 7 октября 1945 года.

Возведение на кафедру в Эстергоме

Вечером 6 октября 1945 года я прибыл в свой новый епархиальный город. Из родной деревни приехала моя мать. К числу близких родственников в Будапеште присоединился и мой двоюродный брат доктор Миклош Зриньи, судья Верховного суда. Возглавляемая председателем церковно-приходского совета Йожефом Турчаньи Шипошем, депутатом парламента Кристофом Ташши и председателем объединения профессиональных союзов Иштваном Хорватом, явилась также делегация от старых, верных моих сотрудников из Залаэгерсег. Веспрем направил на торжества членов соборного причта и настоятеля собора Сомбатей — ректора семинарии Дьюлу Гефина и группу моих старых друзей. Вечером встречу в Эстергоме мне устроили причт тамошнего собора, руководители и сотрудники отделов епархиального управления, духовенство города, бенедиктинцы, францисканцы, монахини многочисленных женских орденов. Будапешт прислал представителей центральных органов католических организаций страны, объединений и

церковных учреждений. На следующий день заявила о себе и делегация временного правительства во главе с министром обороны Яношем Вёрёшем.

Город Эстергом производил тогда удручающее впечатление. Базилика, возвышающаяся над городом, как мать и заступница, в стенах которой нашло защиту столько ее чад, тяжело пострадала от артиллерийского обстрела. Были разбиты все окна. В то время как я произносил свое слово в связи с возведением меня на эту кафедру, в горах Верхней Венгрии возник ураган, понесся по стране и через проемы окон ворвался в собор. Мне пришлось говорить в глубину громадного собора, как бы состязаясь с бешеной силой и завыванием бури. Пострадали от войны также и архиепископский дворец, всемирно известный музей христианства, семинария, учительский институт, школы, монастыри, приходские центры и множество частных домов.

Но и в городе, величие которого — в прошлом, жизнь не останавливается, а пускает новые ростки среди развалин.

Предки наши называли Эстергом жемчужиной страны. Живописность окружающей город природы, удобное расположение на верхнем течении Дуная с выходом в прикарпатскую равнину, значение, которое Эстергом приобрел в течение своей тысячелетней истории для духовного и государственного бытия нашей страны, — вполне оправдывают такое определение. Оттокар Прохаска сравнил Эстергом с пылающей чистым огнем точкой пересечения христианства и венгерской национальной сущности. Здесь был рожден Стефан — наш святой король. Здесь он был крещен. Здесь он был

венчан короной, дарованной ему папой Сильвестром. Здесь — истоки венгерской государственности.

Стольным городом Эстергом стал уже при отце Стефана, князе Гезе, по приказу которого на замковой горе был построен королевский дворец, а рядом с ним — величественная трехнефная базилика в честь святого епископа и мученика Адалберта. Столицей Венгрии Эстергом оставался еще два с половиной столетия. Пребывал здесь и двор Белы IV, хотя этот король, наученный опытом татарского нашествия, решил выбрать для столицы более безопасное место, перенеся ее в Буду. Тогда он и подарил свой королевский дворец архиепископу. Этот архиепископский дворец, в который мне теперь предстояло вселиться, был весь покрыт ранами, нанесенными ему войной. В Средние века Эстергом оставался наиболее значительным городом Венгрии. Здесь издавались законы. Город этот показывал всей стране пример своей культурой, своим зодчеством, своим искусством. Здесь соединялись нити венгерских торговли и ремесел. Здесь чеканили монеты. Город служил средоточием архитекторов, ученых, поэтов и художников. Многие из них навсегда оставались жить в этом городе. В то же самое время Эстергом служил выражением средневекового христианского понимания государственности, взаимодействия священства и власти, папы и императора. Воплощением этой традиции в Венгрии считались король Венгрии и архиепископ Эстергомский. Примас-первосвяtitель венчал короля короной, которую некогда носил святой Стефан. Только с момента этого венчания становился король главой своей нации. Священная корона рассматривалась как источник вся-

кого права и всякой власти в стране. Перед священной короной склонялась нация как таковая — коронованный монарх точно так же, как и его народ; священная корона объединяла короля с народом, она — символический источник нашего национального суверенитета.

Именно потому, что архиепископ Эстергомский обладал правом венчания короля, он считался примасом, то есть первенствующим среди высших государственных чиновников и церковных иерархов. Он замещал короля, когда король находился за пределами страны; король пользовался его советами. Если король нарушал конституцию, архиепископ Эстергомский обязан был сделать королю наставление и призвать его к соблюдению закона. Как повествует история, исполнение этого долга не раз стоило архиепископам Эстергомским тяжких преследований и даже заточения. Достаточно вспомнить живших в Средние века архиепископов Лукача Банфи, Иова, Роберта, Ладомера, Яноша Канижай при короле Жигмонде, Яноша Витеза при Матфее. Дьёрдь Липпай вынужден был выступить против Леопольда I, Йозеф Баттьяни против Леопольда II, а Янош Ситовский против Франца Иосифа. Но именно этого и ожидала нация от своих первоиерархов. Не только католики, но и представители других исповеданий видели в этом их самую собою разумеющуюся обязанность.

Положение, права и обязанности примаса остались в действенной неприкосновенности и тогда, когда в 1920 году, после первой мировой войны новая венгерская конституция должна была определить правовые полномочия замещающего короля Местоблюстителя королевского престола.

Мой предшественник, знаменитый ученый-юрист кардинал Шереди, высказал свое мнение об обязанностях примаса в 1942 году, в выступлении по радио, где, помимо всего прочего, сказал:

«В лице каждого князя-примаса Венгрии счастливым образом соединяются высшая власть католической Церкви и венгерского публичного права, в чем и отражается христианское, а также, в частности, венгерское понимание сущности королевской власти.

Такое редкостное привилегированное положение восходит к историческому акту нашего первого короля, Святого Стефана, который с согласия Святейшего Престола объявил архиепископа тогдашней столицы Эстергома князем-примасом и митрополитом всех епархий Венгрии. Вскоре после этого Римский папа перенес на князей-примасов также и обязанности папских легатов, благодаря чему они переняли на себя и высшую церковную судебную власть на территории всей страны. В силу законодательного акта короля Стефана князь-примас, таким образом, представляет собой первую инстанцию государственно-правовой власти после короля или главы государства...

Двоякие обязанности князя-примаса заставляют его постоянно тяжело и добросовестно трудиться для выполнения как тех, так и других. Он как бы обязан умереть в самом себе, чтобы служить и трудиться на благо венгерской католической Церкви, на благо венгерского отечества».

Что же касается собравшегося в 1945 г. в Дебрецене временного парламента, то вопроса о конституционно-правовом положении примаса он так и не коснулся. Тем самым государственно-правовые

функции примаса Венгрии оставались неизменными не только в глазах народа, но и по обязательной для временного правительства действующей конституции. Отвечая на приветственную телеграмму премьер-министра временного правительства, я в своей ответной телеграмме указал на государственно-правовое положение примаса Венгрии, что без возражения было принято к сведению правительством, временным парламентом, печатью и общественным мнением всей страны. Моя телеграмма гласила:

«Искренне благодарю за добрые благопожелания. Первый государственно-конституционный савонник страны предоставляет себя в распоряжение родины».

В своей проповеди при моем возведении на кафедру я постарался показать, чего нация в целом в 1945 г. вправе была от меня ожидать: «Я готов выполнить свой долг».

Приведенный краткий исторический обзор мне показался необходимым для того, чтобы читатель лучше мог понять смысл моей проповеди при возведении на архиепископскую кафедру, текст которой далее следует:

«Возлюбленные верующие!

Благодатью Божиею я отныне — ваш первоиерарх. Мысленно я переносусь в Рим, к главе нашей всемирной Церкви, к правящему в скорбях и величии папе Пию XII. К ногам его повергаю я нашу верную, борющуюся венгерскую душу. Ныне человечество из развалин взирает к камню Петрову. С покаянием и доверием. Провозглашаемые оттуда вечные истины могли бы исцелить смертельно раненное человечество, вставшее на путь в Иери-

хон. Успокоительно знать, что есть на этой Земле сила, над которой никакие врата ада власти не имеют (Матф. 16, 18).

Спускаюсь я мысленно и ко гробу своего предшественника, архиепископа Шереди. Пока он был жив, он указывал нам истинный путь, охранял святость таинств, защищал достоинство каждого человека и учил нас бодрствованию в вере. Но ослепление кучки вождей и ломающее всякое сопротивление насилие ее споспешников воспрепятствовали многим из нас следованию по указанному им пути. Его голос оказался гласом вопиющего в пустыне (Иоан. 1, 23). И когда плоды зла созрели, в дни великой разрухи пал и он сам. Я покрываю его тело знаменем всех истинных воинов Христовых, а также знаменем нашей страны. Воистину был он человеком Божиим, человеком родины и Церкви.

От вечного камня и от свежей могилы прихожу я теперь к вам, мои верующие, и в эту смутную годину приношу вам пасхальное приветствие вечного Пастыреначальника: «Мир вам»!

Я обращаюсь к самому себе и, как некогда святой Бернгард на пороге монастыря, спрашиваю себя: «Зачем ты пришел сюда?» Ответ мой гласит: «Судя по историческому преданию, в котором, правда, есть пробелы, я — девятый первоиерарх, приходящий сюда из города королевы — Веспрема. Первым в этом ряду был мученик. За ним последовал архиепископ Роберт, который отлучил от Церкви отпавших политических руководителей страны. Пришел сюда Ференц Форгач, вождь католического обновления. Вижу я перед собой и богатого 93-летнего Дьёрдя Сеченьи. Вижу, как он входит сюда, чтобы стать примасом и совершить, в

качестве архиепископа, чудеса благотворительности. Вижу также графа Имре Эштерхази, с неимоверным политическим умением добившегося введения в Венгрии прагматической санкции*, благодаря чему народ более чем на два столетия обрел спокойствие и политический мир. С благоговением взираю я, наконец, на архиепископа Йожефа Копачи, который поднял из развалин нашу общенациональную святыню, в стенах которой мы теперь возносим наши молитвы за отечество.

Итак, князь-примас страны стоит на посту своих предшественников. Если мудрость и разум народа постараются теперь перебросить мост через обрыв недавнего прошлого, то и его Понтифекс (Священнослужитель, лат. — прим. перев.), а в дословном переводе это слово ведь значит «строитель мостов», ваш Архиепископ, согласно девятисотлетнему праву занимающий также пост первого сановника государства, не уклонится от своего участия в этом.

Но даже в том случае, если в его лице соединилась бы вся мудрость, вся энергия всех епископов Веспремских — чего безусловно нет на самом деле — ныне, в 1945 году, перед лицом зияющих под нами пропастей этого было бы слишком мало. Кровь струится из многочисленных ран Венгрии, разбитой страны, переживающей самое низкое свое падение в нравственном, правовом и хозяйственном отношении за всю свою историю. Наш псалом, поэтому: — «Из глубины [воззвах к Тебе, Господи]»,

* Закон о престолонаследии, изданный в 1713 году, устанавливавший нераздельность наследственных земель Габсбургов. — Перев.

наша молитва — «Смилуйся!», наш пророк — Иеремия с его плачем, наш мир — Апокалипсис. Сидим мы на реках Вавилонских и заставляют нас, на разбитых органах (струнных инструментах, — прим. перев.) наших разучивать песни чужие.

Даже не война была самым большим злом. Врачи указывают на бóльшее: ввиду недостаточности питания половина заболеваний дизентерией у детей и стариков оканчивается смертельным исходом, число больных туберкулезом выросло вдвое, а количество случаев венерических заболеваний — даже впятеро. Но вместо звуков жалобной свирели мы слышим скрипку цыгана. С легкомысленного стремления к наслаждениям началось совершенно чуждое нам влияние. Новая и жалкая молодежь в такое горькое и ответственное время зовет нас танцевать и веселиться. Быть может, по крови, по языку, по именам своим они — венгры, но между страждущей Венгрией и этой, веселящейся, лежит целый океан. Посреди крови и слез, среди нищеты и развалин веселятся лишь те, кто не знает, что творит.

Подобное разрушение всех сдерживающих нравственных препон может быть исправлено только усиленной душепастырской работой. Там, где в сердцах людей поколебался врожденный, данный Богом закон, там остается одно последнее средство, чтобы положить преграду нравственному хаосу: углубление веры. Сам я вот уже более четверти века — пастырь. Желал бы я быть пастырем добрым, способным, если надо, и душу свою положить за паству свою (Иоан. 10, 15), за Церковь, за свою родную страну.

Возлюбленные верующие! Станем вновь народом молитвы. Научившись опять молиться, мы будем иметь в себе неисчерпаемый источник силы и веры.

Если поможет мне Бог, наш отец, и мать наша Мария-Дева, я готов быть глашатаем совести народной, в качестве призванного стража буду стучаться в ваши души, нести вам — вопреки всем распространяемым ныне ложным учениям — древние, вечные истины, к новой жизни воскрешая священные предания нашего народа.

Когда О'Коннель почувствовал приближение своего конца, он направил свои стопы к вечному городу. Но сил его хватило только до Генуи. Тогда он написал в своем завещании: «Сердце мое после моей смерти отнесите в Рим, но тело погребите в возлюбленной земле моей родины». Рим и родина — это и для меня путеводные звезды, цели моей жизни. Буду счастлив, если все мы станем руководствоваться этими дорожными указателями, если наша родная Венгрия обновится и нравственное пробуждение приведет нас к блаженным берегам вечной жизни. Аминь».

Нищета и «Каритас»

Кафедра примаса оставалась незанятой полгода. Именно в это критическое время католичество в Венгрии оказалось лишенным центрального руководства. Трудность положения усугублялась тем, что военные события парализовали исполнение примасом Шереди его функций уже задолго до его кончины. Он не мог поддерживать связь со страной. Не было надежных контактов ни с осажден-

ной столицей, ни с восточными частями страны, ни с районами большой Венгерской равнины. У него прервалась связь даже с областями к западу от Дуная, после того как советское командование перенесло туда свои боевые операции. Такое положение создало небывалые трудности для церковного управления. О планировании чего бы то ни было, вполне обычном в мирных условиях, не могло быть и речи. Можно было только с грехом пополам решать проблемы данного момента и данной местности. В городах и рабочих поселках царила горькая нищета. Люди голодали. Особенно тяжелым было положение в Будапеште. Во время боевых действий здесь было разрушено около тридцати процентов всех строений столицы, а из уцелевших жилых домов четверть была в нежиллом состоянии. В развалинах лежал район Буда с его королевским замком.

В своей речи при возведении меня на кафедру примаса мне пришлось коснуться и всего этого. Через неделю я отправился в Будапешт, где выступил со своим словом в соборе святого Стефана:

«Мои возлюбленные верующие столицы!

Возведенный благодатью Божиею в сан вашего первосвященника, поспешил я сразу же после своего возведения на кафедру к вам, в главный и столичный город Венгрии. Ведь здесь живут 750.000 верующих моей епархии. Я вижу, какая чаша страданий возвысилась над всем городом. Именно здесь больше всего разрушений причинено зданиям и более всего ранены сердца людей. Население столицы вынесло свои страдания с героическим терпением, показав пример того, как следует отвергать все соблазны зла.

Я приехал сюда, чтобы мы могли взглянуть друг другу в глаза, — пастырь и пасомое им стадо, чтобы мы могли научиться читать друг у друга в сердце и чтобы испросить сил у Господа Бога. Более полугода теперь прошло с тех пор, как грозные тучи войны рассеялись. Мы радуемся, что гроза прошла. Но если долина Дуная теперь не может больше быть названа долиной крови, она все-таки остается еще долиной страданий, слез и воздыханий. Подобно мощному коршуну смерти, обрушивается на нас близящаяся зима, которой, возможно, суждено стать самой тяжелой зимой за всю тысячелетнюю историю Венгрии.

То, что нас ожидает предстоящей зимой, до глубины души потрясает мои человеческие, христианские и венгерские чувства. Уже летом мы подверглись эпидемиям, таким как дизентерия, которая унесла в могилу половину заболевших этой болезнью. Что же нас ожидает, когда наступит голод, мороз, инфляция, развал общественных учреждений? Картина будущего такова, что перед ней содрогнулось бы даже перо такого описателя исторических крушений, как Иосиф Флавий.

Я знаю, что наш уважающий себя, благородный и гордый венгерский народ не любит ни о чем просить и лишь с тяжким сердцем решается показать кому-либо свои раны. Поэтому я, князь-примас страны, вместо него беру в руки суму нищего, обращаюсь ко всему великому миру, становлюсь перед лицом народов и наций, и во все стороны света вопию о помощи: «Спасите венгерский народ от гибели!»

Одновременно я направил личных уполномоченных и письма с призывами о помощи римо-ка-

толическим епископам и различным организациям на Западе. 18 ноября 1945 года я обратился по радио к венгерским католикам в Соединенных Штатах. Приведу несколько выдержек:

«Братья-венгры в Америке!

Едва вступив на первосвятительский престол и переступая порог зимы, которая может стать самой тяжелой за всю нашу тысячелетнюю историю, я обратился 14 октября из собора святого Стефана к людям всего света. Я просил их проявить благородство своих сердец и спасти венгерский народ от нависшей над ним опасности.

Страна стоит накануне голода, не хватает мяса, масла, жиров. Согласно официальным данным, 400.000 младенцам угрожает рахит. Мой призыв во многих частях света был услышан. Но вновь и вновь приходилось не без основания слышать вопрос, дойдет ли посылаемая помощь до своего назначения. Я могу заверить, что помощь будет хорошо организована и что каждое учреждение, да и каждый частный жертвователь, могут поставить условие, чтобы их пожертвования поступали в распоряжение Церкви. Вы можете пересылать нам ваши пожертвования через Красный крест или любым иным не вызывающим сомнения путем. Более чем когда-либо соответствует сейчас действительности пословица, что вдвое дает тот, кто дает быстро. Слезы благодарности родителей и детей, благословение Отца Небесного будут вашей наградой за вашу отзывчивость, за ваше доброе отношение».

Опасения относительно распределения поступающей помощи отнюдь не были необоснованны.

Марксистские партии добивались контроля над распределением помощи. Им это якобы было нужно для того, чтобы воспрепятствовать попыткам Церкви оказывать из этих средств поддержку также и бывшим членам партии «Скрещенных стрел», «врагам народа» и «военным преступникам». Подлинная же причина заключалась в том, что с советской стороны практически не поступало никакой помощи, а помощь Запада показывала венгерскому населению, откуда оно могло ждать братского, христианского сочувствия и готовности помочь.

Чтобы компенсировать это, коммунисты начали распространять сведения о помощи, якобы поступающей с советской стороны. В газетах стали появляться сообщения с публикацией неподдающихся никакой проверке данных о великодушной помощи, которую будто бы оказывает Красная армия. То Диошдьёр, то Мишкольц, то Озд принимали от Красной армии подарки в 50.000 центнеров муки. Это было полной неправдой. Газеты «забывали» упомянуть, что зерно, из которого была смолота эта мука, так же как и часто фигурировавший в печати «картофель для Будапешта», были венгерской, а не русской земли.

Мы не ограничивались тем, чтобы просить милостыню, но призывали и свой народ к организации взаимопомощи, к максимальному напряжению своих усилий. У крестьян, владевших небольшими наделами, все еще оставались излишки продовольствия, которые им удалось сохранить от реквизиции, а кроме того, благодаря напряженному труду тех, кто поспешил им на помощь, крестьяне в конце первого лета по окончании войны собрали хоро-

ший урожай — кроме тех районов, где военные действия не дали произвести посев. Перед Рождеством я обратился с просьбой к крестьянам: «Подарите каждый по продовольственной посылке голодающему Будапешту!» Кроме того, я попросил их на время принять к себе будапештских детей. В ответ на этот призыв зимой 1946 года поступило 74.742,57 кг продуктов питания, а 1.500 истощенных детей, особенно подверженных опасности, смогли поехать в деревню. Выражая свою благодарность, я писал: «Верующие епархий Речк и Пронайфальва образовали авангард этого благотворительного похода. Но и все остальные епархии приняли участие в этом соревновании любви, и притом — верующие из всех слоев населения. Молодые «гвардейцы» священнейшего Сердца Иисусова, объединения, посвятившие себя служению пресвятой Деве Марии, союзы молодых девушек и многие другие показали трогательные примеры жертвенности. Они поделились тем немногим, что у них было, потому что к этому понуждала их любовь к своим соотечественникам и единоверцам. Не раз продовольственная посылка означала спасение человеческой жизни, осушала слезы, вселяла мужество для преодоления тягот жизни».

15 ноября я созвал будапештское духовенство, а на следующий день — центральный комитет церковных приходов столицы. Обращаясь к духовенству, я сказал помимо прочего:

«Мы собрались здесь, чтобы совместно обсудить главные вопросы нашей жизни как священнослужителей. Для всей тысячелетней истории Венгрии всегда было характерно, что священники и народ никогда не разлучались. Как об этом го-

ворил Пазмань, венгерский священник в условиях каждой эпохи никогда не топтался на месте, всегда умел заглянуть вперед и сделать необходимые выводы после великих событий. Выводы, которые он делал, рождали в нем новые мысли, приводили к новым решениям, побуждали к новым видам деятельности. После поражений при Мухи и Мохаче венгерские священники вместе с остатками народа ушли в болота, в дикие дебри. Вместе они молились, вместе питались кореньями и плодами лесов.

Год назад повсеместно ставился вопрос: как следует поступить трем миллионам людей, живущим в столице и в западной части Венгрии? Лучше ли, чтобы они стали беженцами, ушли на Запад, или — чтобы остались на венгерской земле? Решила Церковь: «Мы остаемся на месте». Остался на месте священник, остался и венгерский народ!»

К руководителям церковных приходов я зывал: «Надо объединить все силы. Важнее всего другого — помощь нуждающимся. Наша вера и наша любовь измеряются спасением несчастных, успехом наших операций по оказанию помощи. Ограничиваться распределением помощи, поступающей из-за границы, нельзя. Мы должны бросить в дело все свои резервы. У кого две одежды, пусть отдаст одну тому, у кого нет и одной. У кого лопоть хлеба, пусть половину отдаст тому, у кого его нет».

Через два дня после этого я выступил на торжественном заседании будапештской организации «Каритас». Я сослался на пример святой Елизаветы из дома Арпадов и обратился ко всему населению с призывом энергично участвовать в работе «Каритас». Оба католических еженедельника пуб-

ликовали мои выступления. Таким образом мой голос проникал во все концы страны:

«Мы не имеем права рассчитывать на одну только помощь извне. Как ни велика нужда в каждом отдельном доме, надо, тем не менее, распахнуть свои двери и почувствовать то великое единство, к которому нас понуждает сама судьба. Сколь ни приходится каждому экономить муку, дрова, одежду, все равно у него остается возможность оказывать помощь другим. Ведь источник действенной помощи вовсе не самый кошелек, не кухонный шкаф, не корзина для дров, не вешалка с одеждой, но в первую очередь сердце человеческое, исполненное милосердия. Сердце знает, как добыть денег и добра для ближнего. Многие на венгерской земле погибли, но венгерское сердце в ответ на доброе слово способно отдать и рубашку, оно, слава Богу, еще живо».

Во время своего путешествия в Рим в декабре 1945 года мне удалось мобилизовать для венгерской «Каритас» очень значительные средства. Святой Отец, папа Пий XII, принял меня с такой любовью, что этого нельзя описать словами. После того, как я рассказал ему о тяжком положении венгров, он расчистил мне пути к источникам помощи. В Ватикане мне указали гостиницу, в которой остановились четверо кардиналов из Америки. Знал я их только по имени, в том числе и старшего из них по сану, столь же благородного, как и любезного кардинала Стрича. По телефону я осведомился, могут ли они меня вечером принять. Они охотно согласились и я в двухчасовой речи полатыни описал им нужду, царящую в Венгрии, прежде всего в Будапеште. Они слушали меня с

большим интересом и теплым сочувствием. Американо-русский союз им уже не внушал особенного доверия. Потом все четверо встали, поблагодарили меня за информацию из первоисточника, обещали мне помощь со стороны всемирной католической организации взаимопомощи и наконец выложили передо мной на стол свои собственные кошельки. На их пожертвования я купил в Риме четыре грузовых автомашины, которые потом оказали неоценимые услуги работе «Каритас» в нашей стране, главным образом для транспортных перебросок между столицей и деревней.

Американские пожертвования у нас были восприняты как знак всеобъемлющей солидарности вселенской Церкви. Это вовсе не устраивало большевиков. Поэтому нам не показалось неожиданным, когда марксист — министр путей сообщений отказал нам в перевозке американских вещевых и продовольственных пожертвований из Вены в Будапешт, ссылаясь на мнимую нехватку товарных вагонов. На самом деле за этим скрывался шантаж. Венгерские коммунисты требовали, чтобы часть американской помощи передавалась им, поскольку на аналогичную помощь из Советского Союза они рассчитывать не могли.

23 октября 1946 года я опубликовал по этому вопросу заявление в «Мадьяр курир»:

«С нетерпением ожидают венгерские католики решения вопроса о дальнейшей переброске накапливающихся в Вене продуктов, пожертвованных американцами. 8 августа начала свою деятельность первая столовая организации «Католическое действие» с целью непосредственной передачи голодающим собранных в Америке продовольствен-

ных продуктов. За это время были созданы и другие такие столовые, где доброкачественными горячими обедами было накормлено 14.000 голодающих. Но их отчаянная надежда на продолжение такой помощи окажется напрасной, если не удастся своевременно доставить сюда застрявшие в пути 750 тонн пожертвованных продуктов, а тем более, если эти продукты будут переправлены не по назначению, в какое-нибудь иное место. Крайне необходимо, чтобы пожертвования американских католиков немедленно были доставлены в страну.

Временно вопрос удалось уладить. Опасности, которые угрожали деятельности «Каритас», несколько ослабли, потому что будапештский корреспондент газеты «Оссерваторе романо» проявил инициативу и сумел поставить дело так, что вся заграничная католическая печать немедленно осуждала каждую попытку коммунистов подвергнуть пожертвования, собранные для «Каритас», каким бы то ни было манипуляциям.

Через два года коммунистам удалось однако парализовать деятельность церковной благотворительной организации «Каритас». Они обвинили ее и служащих американских организаций помощи в злоупотреблениях, в шпионаже и заставили наших друзей прекратить операцию по оказанию поддержки венгерским католикам.

Неделя в Будапеште

Как я уже упомянул, через несколько дней после своего возведения на архиепископский престол я направился в Будапешт и провел там неделю. Мои предшественники управляли епархией,

почти не покидая Эстергома. Вероятно это было обусловлено их преклонным возрастом. Я же и впоследствии много времени проводил в Будапеште, поскольку там сходились нити церковной жизни и культурной деятельности всего венгерского католичества. Там живет большинство верующих моей непосредственной епархии. Перво-святительский дворец, на самом деле всего лишь городской жилой дом, довольно вместительный, во время войны сильно пострадал. В нем осталось всего две комнаты, в которых можно было жить. Но я был доволен, что есть хоть это. Жилищные условия в столице в то время еще были в неопишимо жалком состоянии. Когда профессор университета Михай Марцел начал было мне сочувствовать, я его утешил: «Вполне естественно, чтобы примас страны, лежащей в развалинах, жил в тех же развалинах».

14 октября в соборе я выступил в проповеди о нужде Будапешта. Несколько часов спустя я должен был принять участие в собрании молодежи. Секретариат «Католического действия» по делам молодежи созвал съезд молодежи страны и встретил при этом полную поддержку епископата. На призыв откликнулись тысячные толпы молодежи. Съезд молодежи превратился в свидетельство верности религии, в недвусмысленное исповедание верности Церкви, в ясный отказ молодежи следовать призывам коммунизма. Удалось обратить внимание самой молодежи, родителей и педагогов на грозящие нам опасности. Марксисты в течение довольно продолжительного времени пытались привлечь молодежь к себе распутными удовольствиями, что им сразу после окончания войны

кое-где и удалось. Я коснулся этого вопроса уже в своей речи при возведении на кафедру и поднял его вновь теперь, когда передо мной на громадной предсоборной площади собрались десятки тысяч молодежи столицы:

«Прошел по Земле тот Единый, кто один только мог о себе сказать: «Я — путь, и истина, и жизнь. Кто за Мною последует, тот не будет ходить во тьме». Христос — путь, по которому вы должны идти. Он — истина, которую вам надлежит принять. Он — жизнь, которой вам следует подражать и в самые смутные времена. Святой апостол Павел говорит: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», и если бы даже ангел сошел бы с неба и захотел бы отторгнуть нас от этого основания, мы не должны были бы его послушаться. Я не полагаю, конечно, что венгерскую молодежь в наши дни вводили бы в соблазн крылатые ангелы. В искушение вводят смешение духовное и злорадия, вышедшие на поверхность, как будто разверзся вулкан. Несмотря на это, я верю в конечную победу любви и с твердым упованием провозглашаю поэтому: наш идеал — Венгрия, зиждущаяся на вере — нравственной жизни; опора ее — любовь к родине венгерских юношей и девушек, исповедующих свою веру. Каждый из вас да станет краеугольным камнем, твердой опорой родины, а все вместе будьте тем, о чем вы пели в своей песне: «молодежью чистой, способной на подвиг, святой».

Через два дня после этого я совершил таинство миропомазания над девочками в церкви доминиканцев и при этом тоже призывал молодежь хранить свою веру и свою чистоту.

17 и 18 октября мы созвали в Будапеште первое совещание епископов под моим председательством. Нам пришлось рассмотреть множество тяжких вопросов, касающихся всей страны и всего католичества. 21 октября, в воскресенье, я побывал в братстве святого Луки на съезде католических врачей. Я совершил для врачей Будапешта святую литургию и был очень рад предоставившейся мне возможности высказать несколько мыслей о взаимосвязи между врачом и больными:

«Подлинный врач считает служение свое страждущим — делом священным, служением Богу — богослужением. О покровителе врачей, святом Луке, мы знаем из церковного предания, что он был для апостолов «весьма возлюбленным врачом, верным спутником и помощником». Три добродетели определяют собой врача: милосердие, верность и готовность помогать. Каждая из них — светоч, путеводная звезда для врача-христианина. Добрый врач не только хорошо обучен наукам, но у него и большое сердце, сострадающее больным, которых он, быть может, и не знает. Скольким врачам уже приходилось жертвовать собой во исполнение своего долга. Деятельность врача, это — как бы материнство: внимательно выслушать больного, быть с ним терпеливым, помочь ему. Сколько искалеченных душ, сколько охладевших сердец благодаря сочувственному слову врача в последний час жизни примирилось с Богом!»

Совещание епископов

На первое совещание епископов под моим председательством прибыли все епархиальные

епископы. Они сердечно приветствовали меня, заверяя в своей готовности по-братски со мной сотрудничать. Особенно я хотел бы выделить имена архиепископа Йожефа Грёса, епископов Лайоша Шхвой, доктора Йожефа Петери, доктора Иштвана Мадараса и аббата бенедиктинцев доктора Криштома Келемена.

Надо было обсудить обычные дела по церковному управлению, но главное — принять меры по увеличению эффективности работы «Каритас» на уровне всей страны. Многие планы, которые нам впоследствии удалось осуществить, зародились на этом совещании. Мы внимательно отнеслись также к вопросу, который принял теперь известную остроту: о финансовом обеспечении духовенства и церковных учреждений. Земельная реформа, приказ о которой был издан русским главнокомандующим и которая по его приказу радикальным образом проводилась в жизнь, создала для Церкви чрезвычайно трудное положение. Перед нами стояли серьезные заботы. После проведения земельной реформы во владении каждой епархии и каждого церковного учреждения было оставлено всего по пятидесяти семи гектаров. Ясно, что этим нельзя было обеспечить существование соборов, епархиальных управлений, семинарий. Были лишены прочной финансовой основы и все остальные области душепастырской работы и церковного управления, например — церковная печать, издательства, союзы, объединения.

Мы никогда не восставали против самого замысла земельной реформы. Но мы выражали свое несогласие с тем, как иностранная держава нам ее навязывала. Мы осуждали то, что при осуществ-

влении реформы были учтены одни лишь интересы партии, и порицали нерадивость, беззаботность правительства в вопросе компенсации Церкви за владения, которых ее лишили. Я сообщил участникам совещания, что в знак протеста против антицерковной политики коммунистов я уже в Веспреме отказывался принимать свою заработную плату епископа и что я отказался от «государственного вознаграждения», став и архиепископом Эстергомским. Мои собратия высказали намерение поступить так же. Однако я просил их этого не делать.

Приблизительно год спустя центральный орган коммунистической партии выдвинул утверждение, будто министерство финансов выделяет огромные средства на восстановление разрушенных храмов и будто Миндсенти, архиепископ Эстергомский, будучи откровенным врагом демократии, получает от этого демократического государства месячное содержание, во много раз превышающее содержание премьер-министра.

Только прочитав мое опровержение этого наскока, узнала страна, что я отказался принимать содержание от государства: «Вас неправильно осведомили. Несмотря на то, что государство в законе о земельной реформе обязалось компенсировать стоимость конфискованных церковных владений, оно до сих пор ничего не заплатило. Суммы, которые министерство культуры выплачивает Церкви в качестве «личного содержания» духовенства, не поддаются никакому сравнению с доходами, которые ранее поступали от эксплуатации церковных угодий. Правда, государство оказывает некоторую финансовую поддержку церковным учреждениям,

но во всяком случае совершенно недостаточную. Йозефу Миндсенти, епископу Веспремскому, а впоследствии архиепископу Эстергомскому, государственное содержание, действительно, предлагалось. Однако, он так и не принял ни копейки. Наверно также, что архиепископ — «откровенный враг демократии». Он — приверженец подлинной демократии, но не друг того, что само себя называет демократией, на самом же деле является слегка подновленным тоталитарным режимом, еще не объявившим о своем банкротстве».

На самом деле, финансовый крах церковным учреждениям пока не угрожал. Этому противодействовали, главным образом, сами верующие, поддерживавшие приходских священников, монастыри, семинарии, церковные школы не только продуктами питания, но и денежными средствами. Пусть послужат памятником для всех этих мужественных и жертвенных людей мои слова, сказанные в связи с окончанием столь трудного первого послевоенного учебного года: «29 июня 1946 года я участвовал в заседании Союза родителей в монастыре Сердца Иисусова. Я был потрясен отчетным докладом. Я узнал, что ремесленники-родители безвозмездно восстановили тяжело поврежденные во время войны монастырь и школу. После этого мужчины и женщины из всех слоев населения произвели в здании полный внутренний ремонт. Мне показали заготовленные уже на будущий учебный год запасы школьных тетрадей. Было всего только 29 июня, но уже был собран запас топлива, достаточный на весь учебный год. В углу сада была устроена школьная столовая, в течение предыдущего года обеспечивавшая пятиде-

сяти одной неимущей школьнице горячий обед. Для детей бедных родителей было собрано сорок семь пар обуви. Я сказал себе тогда: «Нет, мы не погибнем, какие бы испытания нам не пришлось еще перенести. Там, где удары судьбы пробуждают такое великодушие и такое душевное благородство, вызывают такой подъем чувств, там остается только благодарить Бога за них». Во время нашего совещания нам пришлось также заняться вопросом об организации Союза родителей. Мы стали создавать их для защиты нашей молодежи и сохранения церковных школ. Были выработаны соответствующие инструкции на общегосударственном и епархиальном уровнях. Местные группы создавались и действовали при каждом церковном приходе. Благодаря их общим усилиям удалось, несмотря на все нападки коммунистов, сохранить наши католические школы еще в течение трех лет.

Наше окружное послание к выборам

На второй день совещания нам предстояло, согласно повестке, обсудить наше окружное послание к предстоящим выборам. Я привез с собой проект такого послания и предложил теперь епископам обсудить этот проект предложение за предложением. Все мы считали необходимым высказаться подробно и были за то, чтобы были приведены данные и примеры, подкрепляющие наше утверждение, что при подготовке выборов имеют место тяжкие злоупотребления. Все согласились также с тем, что послание должно отличаться большой открытостью и высказаться за политическую программу на христианской основе. Русский главно-

командующий, маршал Ворошилов, грубо вмешивался во внутреннюю политику страны, расчищая дорогу марксистским партиям. Перед самыми выборами в парламент он попытался навязать нам общий список кандидатов всех партий, потому что проведенные незадолго до этого выборы в районные советы в Будапеште, вопреки всем их надеждам, принесли коммунистам поражение. Единственной «буржуазной» партии, партии Мелких землевладельцев, которую поддерживала и Церковь, обещали из этого общего котла выделить сначала 40, а потом даже 47,5 процента мандатов. Давление с советской стороны оказывалось чрезвычайно сильное. Только после того, как западная печать начала критиковать русское вмешательство, руководство партии Мелких землевладельцев решилось ответить на предложение Ворошилова отказом. Нам казалось необходимым в своем архипастырском послании четко объяснить верующим создавшееся положение и положить конец широко распространенному отсутствию ориентировки. Так что я распорядился напечатать наше окружное послание и 1 ноября огласить его во всех церквях страны. Это воззвание оказало решающее воздействие на исход выборов. Мне передавали, что даже в кальвинистском Дебрецене, по требованию народа, архипастырское послание католических епископов оглашали на площадях города и на рынке. По всей стране это послание было воспринято как первое смелое разоблачение злоупотреблений в политической жизни страны, как демаскировка тайных поползновений коммунистов на установление своей диктатуры. Приведу выдержки из этого послания:

«Во Христе возлюбленные верующие!

Мировая война окончилась. Лязг оружия повсюду умолк. После такой страшной катастрофы и удручающего одичания человечество стоит перед решением трудных задач. Оно должно отрешиться от исполненного ненависти и ужаса прошлого и путем многих жертв построить себе новое будущее. Доля этой задачи ложится и на нас — венгерских католиков.

В нашем последнем окружном послании мы уже коснулись вопроса о том, как может быть преодолено прошлое. Нынешнее наше обращение будет посвящено вопросу, каким образом добиться наступления ожидаемых всеми с надеждою более мирных и более упорядоченных времен. Мы стоим перед решающими выборами, они определяют наше будущее. Это — причина, заставляющая нас вновь возвысить наш голос. Мы не намерены вмешиваться в предвыборную кампанию; мы не оказываем поддержки ни одной партии в отдельности, но мы желаем провозгласить принципы истины и долга, чтобы каждый верующий католик получил возможность в соответствии с этими принципами сделать свой выбор.

Предстоящее обновление нашей государственной жизни станет возможным только на основах демократии. Уже в прошлом нашем архипастырском послании мы с доверием приветствовали идею демократии. Довольно мир страдал от всякого рода тираний. Одна из таких тираний затянула кровавую войну до пределов полной бессмыслицы. Она долгие годы попирала самые священные пра-

ва человека, подавляла всякое право на совесть, разрушала семью и отрицала права родителей.

Демократы хотят положить предел такому человеконенавистничеству. Но они никак не стремятся к тому, чтобы ничем не сдерживаемое самовластие одного фюрера заменить столь же необузданным самовластием другого. Не той демократии они желают, при которой на смену эгоизму и неограниченной власти одной группы людей пришли бы те же инстинкты — другой. Основа подлинной демократии — признание прав личности за каждым человеком. Никакая власть человеческая не смеет их нарушать.

Велика была бы наша радость, если было бы принято то понимание демократии, которое папа Пий XII столь мудро обрисовал в своем Рождественском послании 1942 года, выдвигая его в качестве основы грядущего общественного порядка. Мы убеждены, что принятие этих принципов приблизило бы человечество к цели построения гуманного общества, а потому верим в то, что они отвечают святой воле всемогущего Бога. Такие радость и доверие побудили нас в нашем последнем окружном послании приветствовать возникновение венгерской демократии. Но уже тогда у нас на основании некоторых происшествий зародились сомнения, как бы развитие не потекло в ином направлении. Однако, мы отгоняли их от себя, стараясь, прежде всего, видеть положительные стороны возникающего нового. Мы проявили доверие к заверениям представителей демократии в их понимании наших нужд, к их вежливым словам, к их обещаниям, к их делам, которые в некоторых случаях как будто бы свидетельствовали об их поло-

жительном отношении к Церкви и ее деятельности. Недостатки мы старались объяснить перегибами, которые с укреплением нового порядка рано или поздно должны прекратиться сами собой. Мы этого ждали долго и терпеливо. Неоднократно мы ощущали потребность высказаться, но не желали мешать естественному развитию событий. Но теперь, накануне выборов, мы не можем молчать больше. Мы обязаны ясно заявить, что избиратель-христианин не может поддерживать своим голосом партию или группу, которая несет с собой новое подавление и господство насилия, зачастую не считаясь ни с правами человека, ни с естественным правом. С большой горечью вынуждены мы присоединиться к заявлению английского министра иностранных дел, впечатление которого сводится к тому, что в Венгрии на смену одному тоталитарному режиму приходит другой. Мы весьма сожалеем, что вынуждены подтвердить это высказывание; довольно с нас уже того позора, который обрушился на нашу страну год назад, когда малодушие тогдашнего правительства послужило причиной того, что полная свобода действий была предоставлена гитлеровским оккупантам. Такие ошибки прошлого не должны повториться.

В частности, мы весьма болезненно воспринимаем то обстоятельство, что временное правительство подняло руку на нерасторжимость брака, за которую Церковь испокон веков боролась и которую она до сих пор считает надежным залогом возрождения Венгрии. Правительство превысило свои полномочия, не посчитавшись с убеждениями верующих христиан в этом вопросе.

Мы также вынуждены упомянуть, что декрет об аграрной реформе выявил стремление ликвидировать определенные классы общества. Не подвергая критике существо земельной реформы, мы вынуждены отметить, что в ней отражается дух мстительности. Еще большую озабоченность вызывает у нас настроение умов, порождаемое новой системой и ее склонностью к насилиям. По всей стране, особенно же в определенных областях, вдруг приходится констатировать наличие стремления на основании недоказанного подозрения, из-за частной ссоры, личной обиды или закулисных партийных махинаций хватать и арестовывать людей. Так, например, совсем недавно отправили в тюрьму священников, произнесших проповеди о святом Стефане. Начальник политической полиции заявил, что их отправят в Сибирь, если они впредь попытаются прямо или косвенно высказываться против нынешней системы. Если это перегибы со стороны отдельных лиц, то такие перегибы во всяком случае все учащаются. И таких случаев не было бы, если бы партии были проникнуты духом уважения к закону.

Поэтому мы призываем вас, возлюбленные верующие, отдать свои голоса кандидатам, которые борются за нравственность, право, справедливость и порядок, и которые в нынешних плачевных обстоятельствах способны устоять, сохранив верность своим убеждениям. Не бойтесь никаких угроз. Насилие и произвол всегда произрастают там, где им не оказывают сопротивления. Такова природа тирании: сегодня она требует от гражданина его голоса и поддержки, завтра направит его на прину-

дительные работы, послезавтра погонит на войну и, наконец, предаст его смерти.

Отец-венгр, мать-католичка, признающие свою ответственность за благо своих детей на Земле и в вечности, не могут показать себя перед этими выборами нерешительными.

От имени венгерских епископов

Йожеф Миндсенти
Князь-примас, архиепископ
Эстергомский».

На выборах победительницей оказалась партия Мелких землевладельцев, собравшая 57,7 процента общего числа голосов. В своих программных положениях она обещала защиту и претворение в жизнь принципов христианства. Как следствие этого, со стихийной силой прозвучал протест против претензий коммунистов на руководство. Коммунистическая партия получила только 17 процентов поданных голосов, но и то, лишь опираясь на подкуп, фальсификацию бюллетеней и на террор.

Будучи посрамлены в своих надеждах, коммунисты после выборов начали резко атаковать архипастырское послание епископов. Они выдвинули против всего епископата в целом обвинение, будто он стремится к срыву демократического преобразования страны. Утверждалось, будто епископы мечтают о том, чтобы вырвать из рук мелкого крестьянства переданные ему церковные земли и угодия. Мы были крайне удивлены, когда увидели, что и центральное руководство партии Мелких землевладельцев поддерживает эти ни на чем не ос-

нованные инсинуации коммунистов. Проявившаяся здесь бесхребетность центрального руководства этой партии оказалась присущей ей и в дальнейшем.

Новое правительство

Побуждаемые к этому Ворошиловым, руководители партии Мелких землевладельцев заранее обязались согласиться после выборов 4 ноября на образование коалиционного правительства. После того, как был избран новый парламент, русские объявили, что в силу указанной «договоренности» они признают только такое правительство, в котором министерские посты будут распределены между партией Мелких землевладельцев и левыми в пропорции 50 к 50. Кроме того, они потребовали, чтобы министерство внутренних дел было отдано коммунистам. Это должно было обеспечить им контроль над всем внутренним развитием страны. Партия Мелких землевладельцев уступила советскому нажиму. Премьер-министром стал Золтан Тильди. Наряду с восьмью представителями партии Мелких землевладельцев в кабинет вошли три социал-демократа, три коммуниста и один член Крестьянской партии. Такой состав правительства всей страной был воспринят, как неожиданность. Многие только теперь поняли, в какое опасное положение мы попали, допустив к руководству единственной «буржуазной» партией не испытанных, а в некоторых случаях просто-таки неопытных политических деятелей. Очень скоро ко мне начали поступать сведения о том, что политическая полиция ищет и «находит» компрометирующие материалы, чтобы обвинить кое-кого из руководи-

лей партии Мелких землевладельцев в «военных преступлениях» и объявить их «врагами народа». Затем их шантажом и угрозами привели в такое состояние, что они уже очень скоро начали санкционировать любые решения, расчищающие путь к власти для коммунистов.

16 ноября 1945 года Золтан Тильди в качестве премьер-министра нанес мне официальный визит. Его сопровождал Бела Варга. Я встретил их сдержанно и в разговоре коснулся слабости руководства партии и проистекающих от этого возможных опасностей. Они оправдывались, ссылаясь на угрозы Ворошилова, и высказывали мнение, что после заключения мирного договора политику можно будет вести более независимо.

Затем Тильди справился о сроках моей поездки в Рим и попросил меня передать папе Пию XII, что правительство желало бы восстановить дипломатические отношения и хотело бы просить о том, чтобы в Венгрию вновь был назначен нунцием всеми уважаемый Ангело Ротта. Поскольку русские именно этого нунция при занятии ими страны выслали, мне такая просьба показалась странной и я не мог отделаться от впечатления, что кто-то старается произвести в Ватикане хорошее впечатление и ослабить действие информации о враждебности правительства религии, которую, как они должны были ожидать, я туда отвезу. Но я не дал им почувствовать своих подозрений, а обещал, что я их пожелания передам по назначению. Мне показалось, что Тильди это обрадовало и он почувствовал явное облегчение. Я сказал, что до меня дошли слухи, будто марксисты намереваются отменить монархию и провозгласить республику. Тиль-

ди знал, что такие шаги предпринимаются. Я изложил свою принципиальную позицию и предложил ему не поддаваться слишком уж опрометчиво советскому давлению, а ссылаться на то, что ни одна из партий во время предвыборной кампании не заикалась об изменении конституции. Если же коммунисты хотят добиться решения этого вопроса, то надо провести всенародный плебисцит. «Они требуют провозглашения республики, в расчете на то, что ее введение принесет им еще бóльшие выгоды», — сказал я, глядя в лицо Тильди, который мне ответил: «Я разделяю вашу точку зрения». Вместе с Белой Варгой он обещал мне, что руководство партии Мелких землевладельцев всеми силами будет противиться осуществлению этих планов коммунистов.

Поэтому я 30 ноября направился в Рим с несколько более спокойным сердцем. Я там задержался недели на три. А за время моего отсутствия Тильди успел рекомендовать руководству партии, вопреки всем данным мне заверениям, принятие закона о введении республики. Группа парламентариев заявила свой протест, который нашел поддержку со стороны многих организаций партии на местах. Как только я вернулся из Рима, ко мне явился Бела Миклош, который был премьер-министром временного правительства и которого теперь выдвинули кандидатом на пост президента республики. Он попросил меня поддержать его кандидатуру. Я изложил ему свою **точку зрения** по этому конституционному вопросу, с которой он согласился настолько, что даже снял свою кандидатуру и перестал принимать участие в политической жизни.

Главное же, я письменно напомнил Тильди и Беле Варге о том, что они мне обещали. Подлинного текста моих писем у меня не сохранилось, а потому я могу процитировать лишь то, что сама политическая полиция в 1949 году опубликовала в направленной против меня «Черной книге». Судя по этому материалу, я писал тогда Тильди:

«Господин Премьер-министр!

Официально мне ничего об этом не сообщалось, но поскольку ходят соответствующие упорные слухи, я должен коснуться этого вопроса, а если слухи окажутся верными, то и выразить свой протест. Мне сообщают, что народное представительство намерено уже в самом ближайшем будущем произвести реформу Конституции, объявить об отмене просуществовавшей тысячу лет монархии и провозгласить республику. На тот случай, если эти слухи соответствуют действительности, я, до сих пор не будучи об этом информирован официально, на основании конституционного положения, занимаемого князьями-примасами вот уже 900 лет, заявляю о своем протесте против подобного поползновения.

Эстергом, 31 декабря 1945 года

Йожеф Миндсенти
Князь-примас, архиепископ
Эстергомский».

Конечно, мои усилия не увенчались успехом. Не было принято во внимание и возмущение, ох-

вадившее всю страну. Тильди хотелось стать президентом государства. Его семья уже в 1919 году оказалась послушной коммунистическому режиму. Будучи тогда протестантским проповедником, он дал себя выбрать в Совет священников. Его тесть, директор школы, после падения режима Белы Куна, был казнен. Быть может, именно эти обстоятельства и объясняют, почему коммунисты предложили Тильди, а не кому-нибудь иному, стать президентом республики и почему он сам проявлял готовность выполнить их пожелание. Так или иначе, сомнения в конституционности таких изменений у него отпали и отныне он преследовал только лишь свои личные цели.

Встреча с Пием XII

В прежние годы жизни мне редко представлялась возможность выезжать за границу. Молодым священником я в 1924 году побывал в Лурде и это, особенно посещение места чудесных исцелений, произвело на меня огромное впечатление. Когда я стал приходским настоятелем, мне было некогда ездить по чужим местам. Я хотел было съездить в Рим в связи с возведением меня в 1937 году в сан папского прелата, но над нашей страной тогда как раз нависли тучи национал-социализма. А когда Пий XII назначил меня епископом Веспремским, пять лет уже бушевала всемирная война. К тому же в те дни в Венгрии распоряжались немецкие оккупанты. Теперь я стал примасом и архиепископом Эстергомским. Это обязывало меня, невзирая ни на какие трудности и не считаясь с подозрениями русских, как можно скорее установить связь

с Римом. 30 ноября 1945 года генерал Ки, начальник американской военной миссии, взял меня и моего секретаря до Бари с собой на самолете. Оттуда мы направились в Рим на автобусе. Прибыли мы с большим опозданием. Святой Отец уже начал молитвенную подготовку к празднику Рождества Христова. Но узнав о нашем прибытии, он прервал свои духовные бдения и принял меня 8 декабря с величайшим благожелательством. Я и раньше уважал Пия XII как в высшей степени неординарную личность и преклонялся перед ним, теперь же я смог сам на себе почувствовать, сколь любвеобильного Святого Отца нам в его лице подарил Господь Бог. Церковь Венгрии и католичество в нашей стране были ему хорошо известны. Кардинал Пачелли в 1938 году побывал в качестве папского легата на евхаристическом конгрессе в Будапеште и с тех пор у него сохранилась сердечная привязанность к нам. Поэтому его радовала возможность обновления и углубления отношений между Римом и Венгрией.

Благодаря моим отчетам папскому государственному секретариату и отдельным конгрегациям, Святому Отцу было известно, в каком плачевном состоянии пребывала венгерская Церковь. Он проявил озабоченность и милосердие к нашему народу и выразил глубокое удовлетворение тем, что я смог приехать. Он выразил свою похвалу венгерскому народу, который во мраке всех бед и страданий так твердо хранит верность своей вере. Когда я заметил, что Венгрия радуется невредимости Святого Отца, Ватикана, собора святого Петра и Рима в целом, не испытавших на себе наиболее страшных следствий войны, Пий XII спросил меня: «Вы,

столько пережившие, откуда вы берете силы, чтобы радоваться этому?» Я ответил: «Мы воистину радуемся, ибо надеемся, что отсюда израненному человечеству и поверженной Венгрии придут помощь и спасение». Затем я рассказал ему о состоянии церковной жизни Венгрии, высказал свои соображения о замещении двух вакантных епископских кафедр и передал просьбу премьер-министра Тильди о восстановлении дипломатических сношений. Папа хотел было тотчас отдать распоряжение о возвращении нунция Ангело Ротты в Будапешт. Но после того, как я высказал свои опасения и подозрения, описал ему антирелигиозные мероприятия коммунистов, а также выразил убеждение, что немедленное возвращение в страну нунция вряд ли отвечало бы сложившейся обстановке, мы приняли решение, что я по возвращении в страну извещу общественность о своей поездке в Рим и также сделаю сообщение о возможном восстановлении дипломатических отношений, а затем буду выжидать последствий этого моего сообщения. Под конец я попросил Святого Отца оказать действительную помощь венгерским гражданам, прозябающим в беженских лагерях Австрии и Германии.

В Риме я и сам встретился с венгерскими эмигрантами и провел беседу по вопросам, касающимся их судьбы, с бароном Габором Апором и его сотрудниками. 9 декабря я совершил в часовне папского Венгерского института святую литургию для наших беженцев. В своей проповеди я сказал им: «Любите друг друга, любите Церковь, столп истины, любвеобильную мать, любите кровоточащую из тысяч ран родину. Будем помогать друг другу, чем только можем. Буря, пронесшаяся по Земле,

нанесла опустошения также и ветвям венгерского дерева и разнесла по миру его листья. Храните каждого осиротевшего венгра».

Впоследствии эти слова часто приводились беженцами. После своего возвращения я переслал премьер-министру ответ Святого Отца по вопросу о нунции.

В конце дарованной мне аудиенции Святой Отец сообщил мне, что в списке лиц, выдвигаемых на возведение в сан кардинала, который будет предложен ближайшей Консистории (пленарному заседанию коллегии кардиналов. — П е р е в.), будет значиться и мое имя. В феврале следующего года я и был назначен кардиналом. Я сразу же запросил власти об оформлении заграничного паспорта. Но выдача его затянулась. Мы почти каждый день напоминали властям о необходимости быстрого выполнения этой формальности. Намеченный день отъезда все приближался, когда было получено извещение, что для получения паспорта кардиналу надлежит лично приехать в столицу. Оттяжка была не чем иным, как попыткой придать себе важность. Никто никогда не пытался так нагло обращаться с кем-нибудь из моих предшественников. Поэтому я не поехал в Будапешт и не переменял этого своего решения и после того, как мой викарный епископ Янош Драхош сделал попытку меня переубедить, приводя в качестве аргумента соображение, что если я не поеду в Рим, то я, быть может, лишу венгерскую Церковь оказываемой ей великой чести. Намечавшийся день отъезда, 17 февраля 1946 года, наступил. Поскольку паспорт не был получен, я выехал в ближайшие окрестности Эстергома и начал объезжать

приходы и школы. В это же самое время мне по телефону позвонил премьер-министр Ференц Надь и, не застав меня, спросил монсиньора Драхоша: «Неужели примас так и не поехал в Рим?». Генеральный викарий ответил ему: «Как же он мог поехать, если он не получил паспорта?». На это Надь сказал: «Пожалуйста, немедленно пошлите гонца к примасу и сообщите ему, что правительство его просит сразу же направиться в Рим. Паспорт он получит, как только вернется к себе в Эстергом». С оттенком иронии Драхош позволил себе вопрос: «А разве он не должен для получения бумаг лично явиться в Будапешт?». На что получил ответ: «Конечно же нет, только сделайте, пожалуйста, все так, как я вас просил». Гонец настиг меня в Вышegraде. Поспешное решение правительства покажется неожиданным, если не знать, что венгерский посланник в Риме, можно сказать, в последнюю минуту протелеграфировал в Будапешт, что из вновь назначенных 32 кардиналов 31 уже прибыл в Рим. Нет только примаса Венгрии и мировая печать задает вопрос, что бы это значило?

Генерал Ки, который выручил меня и во время моего первого путешествия в Рим, сумел в доверительном порядке проследить весь ход дела с моим заграничным паспортом. Поэтому, когда я вернулся в Эстергом, он уже ждал меня на лугу на окраине города со своим самолетом. На нем нас с моим секретарем Закаром и доставили в Рим. Там мы приземлились в полдень 18 февраля 1946 года. Встретить меня собрались члены венгерской колонии в Ватикане и многочисленные журналисты. Мы остановились в папском Венгерском институте. После обеда я нанес несколько официальных

визитов. На следующий день Святой Отец предоставил мне частную аудиенцию. Я вынужден был объяснить ему причину своего опоздания.

Вероятно, этот мой рассказ, давший ему представление об условиях нашего существования, и побудил его к тому, что на Консистории он меня обнял и воскликнул по-венгерски: «Да здравствует Венгрия!». Возлагая на меня кардинальскую шапку, он сказал дрогнувшим голосом: «Между этими тридцатью двумя ты станешь первым, который претерпит мученичество, которое и символизируется этим красным цветом».

В качестве кардинала римской церкви, в которой я должен был стать по титулу настоятелем, я попросил мне предоставить, вместо базилики святого Григория, которую имел в виду Святой Отец, храм Санто Стефано Ротондо, посвященный памяти святого архидиакона Стефана, некогда окормливавший живущих в Риме венгров. Пий XII охотно выполнил мою просьбу. 28 февраля он лично передал мне мой архипастырский омофор. 4 марта он вновь принял меня для часовой аудиенции. Это была моя последняя встреча с Пием XII. Но его отеческая доброта и сочувствие сопровождали меня и далее на моем пути. В трудную минуту он всегда заступался за меня, где только мог, обличая и со всей решительностью отвергая инсинуации коммунистов и так называемых «передовых католиков». С великой благодарностью вспоминаю я о том, как он заботился обо мне, когда меня посадили в тюрьму и судили, а также об исполненных любви словах телеграммы, которую он мне прислал в 1956 году, как только меня освободили.

В Риме я посетил также всех съехавшихся кардиналов. Кардинал Розарио был тяжело болен и лежал в одной из римских больниц. Я посетил его и мы заговорили о положении Венгрии. Умирающий, отличавшийся особенным почитанием Божией Матери, утешал меня: «Как хорошо, что Венгрия вот уже почти тысячу лет находится под покровом Девы Марии. Она даст венгерскому народу силу, надежду и утешение».

Не раз обсуждал я в Риме свои будущие планы и дела наших беженцев с руководителями венгерской колонии. Побывал я и в беженских лагерях в Болонье, Реджио Эмилии, Римини и Сан Пасторе. Изгнанники встречали меня с любовью и доверием, и я старался добиться для них от учреждений и организаций помощи и всего, чего только можно было добиться для оказания им такой помощи.

С сокрушением обошел я растянувшиеся на многие километры кладбища венгерских героев в окрестностях Удине, где такое множество павших венгров покоится в итальянской земле вдали от родины и от своих близких.

18 марта 1946 года американский самолет доставил меня на родину. Какое возвышающее чувство — после месячного отсутствия лететь над зеркальной голубой поверхностью озера Балатон, возвращаясь в родную Венгрию!

Преследуемые

На нашем осеннем совещании мы, кроме всего прочего, обратили внимание на судьбу так называемых «военных преступников» и арестованных «врагов народа». Некоторым из них вынесли при-

говоры народные трибуналы, других отправили в лагеря безо всякого судебного постановления. Бóльшая часть этих лиц была ни в чем не виновна. Их подвергали заключению, только чтобы их терроризировать и превратить в послушные орудия коммунистов. Но вместе с тем, конечно, сидели в тюрьмах и темные деятели предшествующего режима, которые были виновны в злоупотреблениях властью, в исполнении противозаконных приказов или в передаче таких приказов своим подчиненным.

Летом 1945 года три державы-победительницы на Потсдамской конференции распорядились о выселении немецкого меньшинства. Ворошилов требовал, чтобы временное правительство издало соответствующий указ. Как только стало известно о существовании такой угрозы, многие стали пытаться избежать возможной высылки тем, что записывались в марксистские партии. А кто этого не делал, против того выдвигалось обвинение в том, что он был «военным преступником» или нацистом, а там уже недалеко и до реквизиции имущества, лагеря для интернированных или тюрьмы.

Мы, епископы, не могли взирать на все это сложа руки, мы считали своим долгом довести такое положение вещей до сведения нашего народа и мировой общественности. В окружном послании 17 октября мы заявили:

«В соответствии с нашим христианским долгом мы в свое время возвысили свой голос в защиту крещеных и некрещеных евреев. Поэтому мы не можем молчать и теперь. Мы будем говорить о несчастиях, которые возникли теперь не как следствие войны, а вызываются ненавистью и стремле-

нием к мести, возникшим уже в послевоенное время.

Мы обязаны откровенно высказаться в пользу верных нашей родине немцев — граждан Венгрии. Мы не намерены обелять преступлений и умалять вред, причиненный нашему государству немцами извне, а также и немцами, жившими в Венгрии. Их действия мы осудили ранее других и осуждаем их точно так же и поныне. Но мы обязаны высказаться против обобщений.

Всеобщее изгнание лиц немецкого происхождения из их насиженных мест и лишение их всего их имущества несовместимо ни с общечеловеческими, ни с христианскими принципами. Мы молчим, когда наказанию подвергаются виновные. Но виновными объявлено много сограждан, за которыми в действительности нет никакой вины. Более того: преступлением против венгерской нации было объявлено употребление ими их родного языка. К этому следует заметить: когда подобная судьба обрушилась на живущих в Чехословакии венгров, каждый воспринял действия тамошних властей как возмутительные и невыносимые».

После моего возвращения из Рима я принял приглашение рабочих из Чепеля и 23 декабря служил там литургию в тамошнем огромном приходском храме. Чепель — типичный фабричный город с 50.000 жителей. Власти считали его своей цитаделью. Мой приезд в этот город и исключительно воодушевленная встреча, которую мне устроили десятки тысяч рабочих, были поэтому горькой неожиданностью для коммунистов. Впрочем, жители Чепеля и ранее не раз свидетельствовали о своей приверженности христианству. В 1945 году

здесь было создано две новых средних школы, руководство которыми город доверил ордену бенедиктинцев и монахиням из Шопрона. Поскольку коммунисты так любили подчеркивать свою гегемонию в этом городе, якобы поддерживаемую рабочими, я счел за благо именно из Чепеля обратить внимание общественности на судьбу преследуемых и произнести именно здесь проповедь, в которой противопоставил слепоте и ненависти христианскую любовь. Помимо прочего, я сказал:

«Возлюбленные верующие, мои дорогие братья!

Я охотно последовал вашему приглашению. Мир да будет с вами. Я прибыл сюда в Чепель на территорию епархии епископа Секешфехерварского, но ведь я и здесь — у себя дома, как были бы у себя дома на любом клочке нашей земли все мои семьдесят восемь предшественников на посту князей-первосвященников на протяжении тысячи лет, вне зависимости от того, крестили они народ, воздвигали меч, издавали законы или обличали в своих пастырских посланиях злоупотребления государственных, а зачастую и церковных властей. Как любой католический священник, я прихожу к вам, прежде всего, как посланец Христов. Проповедуя же Христа распятого (1 Кор. 1, 23), я несу вам не слова ненависти, но любви. Как раскаленная лава, разлилась ненависть в течение последнего десятилетия по всей Земле и продолжает и поныне угрожать жизни каждого из нас. Мы противопоставляем ей весть любви Христовой и церковной. Основа и источник этой любви — сам Господь Бог, который по слову апостола Иоанна (1 Иоан. 4, 16) и есть любовь. Как это отражается в молитве «Отче наш», все мы — творение и чада единого Отца, братья и

члены таинственного Тела, верховный Глава которого — Иисус Христос (1 Кор. 6, 15). Кто ненавидит, тот не Христов и не обладает подлинным достоинством человека. Мы любим и врагов наших, как нас этому учил Иисус и в чем пример нам показал святой архидиакон Стефан. Где еще, как не в такой установке, дано человеку показать свое внутреннее величие, победить самого себя?»

В рождественские дни я посетил два больших лагеря для интернированных, один в Буде, другой в Чепеле. Я сделал это по пастырским побуждениям, но также и в надежде, что мое посещение поспособствует облегчению участи заключенных. Помимо милосердия, я руководствовался и чувством благодарности. Ведь всего за год до этого, как раз на Рождество, я сам находился в заключении вместе с моими 26 священниками и семинаристами.

О своем предстоящем посещении и о его дне и часе я заранее письменно сообщил, указав, что если указанный мною час не удобен, я прошу сообщить мне более подходящее для этого время. Ответа я не удостоился. И вот я непрошеным гостем явился к воротам лагеря и заявил, что намерен стоять перед ними и ждать, пока меня не впустят. Как только кругом стало известно, что примас Венгрии стоит перед лагерными воротами и ждет, когда ему их откроют, со всех сторон начал сбегаться народ. Начальству лагеря это было крайне неприятно и оно меняпустило. Я сначала обошел массовые помещения, а затем осмотрел немало одиночных камер. В Буде по моей просьбе громадное число заключенных вывели на лагерную площадь и я мог обратиться к ним с кратким словом. Сломленные судьбой люди вновь приподняли свои взоры, в глазах

их засветился огонек радости и надежды. В моем лице к ним явилась сама Церковь, чтобы посетить их в их нужде и унижении.

Там, где мне удавалось получить соответствующее разрешение, я и в самом Будапеште ездил в тюрьмы и ходил там из камеры в камеру. В одной из этих темниц я застал в плачевном состоянии и престарелого бывшего епископа венгерской армии Иштвана Задравеца.

Благодаря этим тюремным посещениям кое-где возникли новые сердечные отношения между людьми. Родственники некоторых заключенных приезжали ко мне в Эстергом или в Буду, чтобы меня поблагодарить. И, хотя я не стремился ни к какому прозелитизму, некоторые из заключенных стали католиками.

После своего посещения лагерей и тюрем я письменно обратился к правительству, предлагая, в зависимости от степени вины заключенных, амнистировать их, отпустить на поруки или хотя бы обеспечить им достойное человека обращение. Поскольку в тюрьмах находились и сторонники недавно павшего прежнего режима и коллаборанты немецких оккупантов, члены партии «Скрещенные стрелы», мое ходатайство распространялось и на них. Используя это обстоятельство, мое письмо вскоре опубликовали в печати, приписав мне мотивы, которые мне были совершенно чужды.

Нападки на молитву

Структура коммунизма не проста, а весьма сложна. Движение это образуют, прежде всего, идеология, партийная организованность, убежден-

ность в правильности своего пути. Коммунизм — своего рода религия, правда религия в отрицательном смысле, обладающая своей собственной догматикой и иерархией. Идеологию коммунизма вкратце можно обрисовать так:

Единственная реальность — материя, существующая изначально и вечно. Из нее образовались вселенная, растительный и животный мир. В завершение процесса развития возник человек. Коммунистическое мировоззрение не знает ни Бога, ни бессмертной души. Материя обладает бытием сама, не нуждаясь в Творце. Существующие в мире порядок и целесообразность — необходимое следствие диалектического развития, а вовсе не воплощение замысла какого-нибудь «Мирового Духа». Развитие необходимо идет по все восходящей линии, движет им диалектическое напряжение, возникающее вследствие присущих самой материи противоречий. При помощи прилагательного «диалектический» коммунисты подчеркивают разницу между своим материализмом и так называемым «механистическим материализмом» энциклопедистов 18 в. Согласно этой прежней теории, вселенная, жизнь и человек возникли путем растянутых во времени постепенных количественных изменений и перемещений материальных частиц. В противовес механистической теории детерминистов, марксисты защищают однако точку зрения, что материи помимо количества и пространственного распространения присуще и движение. Бесперывное движение придает материи способность к эволюции и преобразованию. В зависимости от своего состава, материя осуществляет различные виды движения. На нижней ступени ей присуще лишь движение хи-

мической реакции и движение, обусловленное законами физики. На более высоких ступенях дифференциации материя начинает жить. На еще более высокой ступени она приобретает способность к осознанию самой себя. Однако, новые ступени бытия, жизнь и сознание, возникают не вследствие постепенного и размеренного процесса развития, а образуются скачкообразно в подходящий для этого момент, когда накопившиеся количественные изменения переходят в качественные. Если поинтересоваться тем, какими доводами коммунисты стремятся обосновать свой диалектический материализм, то легко убедиться в том, что многие из своих положений они просто считают не подлежащими доказательству аксиомами. Помимо этого они полагают, что тезисы их в достаточной степени находят опору в естественных науках. Но никаких завышенных требований они науке не предъявляют, а просто при нужде ссылаются на то, что многие вещества воспроизводятся при помощи химии, что вода при кипении превращается в пар, и так далее. Обладая практическим опытом целого столетия, пропагандисты коммунизма знают, о чем мечтает человек, и считаются с этим в своей пропаганде. Рабочим они обещают национализацию заводов, сельским батракам — раздел земли. Они организуют и пропагандируют помощь для недовольных и угнетаемых. В любых слоях общества можно встретить людей, готовых стать на сторону бедных и страждущих и стремящихся к справедливости в общественных отношениях. Такие люди невольно становятся иногда пособниками коммунистов. Их сотрудничество приносит коммунистам и пропагандистскую пользу. Часто подобных симпатизирую-

щих они привлекают пустыми откровениями о равенстве людей, о полном устранении всякой нужды на Земле, о построении благоденствия и счастливов бесклассового общества и мира свободы. Но коммунистическая идеология лишь там способна пустить корни, где слабеют религиозные основы жизни того или иного народа и где коммунистические идеи не встречают сопротивления со стороны доводов рассудка, веры в Бога и нравственного чувства.

В христианской среде марксистское учение только тогда может приобрести какую-то почву, если Церковь перестает быть определяющей силой в данном обществе. Общеизвестно, что люди, сомневающиеся в истинности своих убеждений, начинают искать новых твердых основ для своей жизни. Марксизм в таких случаях может показаться спасительным, потому что колеблющийся надеется, что диалектический материализм сумеет ответить ему и на такие вопросы, которые религия и метафизика оставляют под покровом тайны и на которые они не отвечают. С нацией же, по-прежнему прочно укорененной в своей вере, коммунизму трудно что-нибудь поделать и добиться своих целей. Наши вышколенные в Москве и вернувшиеся из России в Венгрию соотечественники-коммунисты прекрасно отдавали себе отчет в том, что наш народ к их учению отнесется отрицательно. Поэтому они постарались умолчать о своих планах захвата власти и утверждали, что они вовсе не намереваются навязывать марксистское учение насильно кому бы то ни было. О правах человека и свободе совести они говорили таким же тоном и в той же самой манере, что и западные буржуазные деятели. Поэтому посланцам Советов удалось

вести в заблуждение даже и людей религиозных. Свой коммунизм они замаскировали под подлинно-демократическую партию. Из их речей и письменных заявлений можно было вывести заключение, что даже строгие католики с чистой совестью могут сотрудничать с коммунистами и поддерживать их на выборах. Возникшее в связи с этим трудное положение стало предметом нашего обсуждения на епископских совещаниях. Советовался я и с руководителями «Католического действия». Надо было научить людей распознавать соблазны коммунизма и предотвратить захват власти крайне левыми партиями. С образованием нового правительства и постановкой вопроса о провозглашении республики мне стало ясно, что времени у нас остается мало. Поэтому я решил обратить внимание народа на предстоящее время тяжких испытаний, нужды, затруднений и подготовить его к ним. Я попросил прелата Жигмонда Михаловича, руководителя «Католического действия», разработать планы мероприятий, которые позволили бы укрепить религиозную жизнь и христианское сознание всего народа. Мы решили попытаться вызвать к жизни покаянное движение в духе чудесного свидетельства в Фатиме. Мы хотели, поскольку десница Божия так тяжело на всех нас опустилась, покаяться, вымолить у Неба милости и испросить сил для перенесения грядущих ударов судьбы. Кроме того, возникла необходимость ответить на необоснованные обвинения, часть которых поступила из-за границы, и которые коммунисты использовали для попыток оправдать советские акты произвола и насилия. В канун Нового, 1945 года, 31 декабря, я обратился к народу по радио:

«В последний день года надлежит нам дать отчет, отчет о допущенных ошибках, о невыполненных нами благих намерениях. Весь народ призываю я к такой проверке совести каждого. Но в течение года, который теперь близится к концу, нам вновь и вновь напоминали и о грехах нашего прошлого. Могло возникнуть впечатление, что мы — не только подонки Европы, но и отбросы человечества, порочный народ, живущий в окружении сплошных ангелов. Эти обвинения нам пришлось услышать, хотя во время войны мы проявили больше желания помочь поработленным Германией странам — Бельгии, Франции, Дании, Голландии, Греции — чем кто-либо другой, и хотя мы, к возмущению национал-социалистов, попытались так же обеспечить французским и польским военнопленным достойное человека обращение. Может быть, следует напомнить и о том, что у нас, в Балатонбогла-ре, продолжала существовать единственная свободная гимназия, оставшаяся в распоряжении польского народа. Слишком уж фальшиво звучат пластинки со списками наших прегрешений, в которых нас обвиняют некоторые круги за границей. Передаваемый венгерскими газетами своему народу этот список обвинений искажает нашу историю и сеет среди нас рознь, что очевидно отвечает интересам определенных кругов. Моя совесть христианина и моя совесть венгра не позволяют мне принимать за чистую монету такие огульные обвинения...».

Три недели спустя, 20 января 1946 года, в проповеди в церкви доминиканцев, на торжественном богослужении в честь святой Маргариты из дома Арпадов, я вновь призвал собравшихся к покаянию

и к подражанию этой любвеобильной святой, принесшей себя в жертву за родину:

«Велики наши испытания. Предстоит заключение мирного договора, решение трудных вопросов в демократическом мире. Да обратятся же взоры всего народа на нашу многоценную «Жемчужину» (латинское имя Маргарита значит — жемчужина), чтобы дело искупления, которому она себя посвятила, стало очищением и для современной Венгрии, источником благодати, смывающим все следы крови и слез. Многое проходит. Но Христос живет, побеждает и царствует. Сила веры и молитвы не сломлена. Венгрия кающаяся, искупающая, очищающая, Паннония святая, прииди и освободи Венгрию грешную».

В своем архипастырском послании к началу Великого поста я высказал такие же мысли:

«Покаяние требуется везде, где только проявляется себя и распространяется грех, и где наступают последствия греха — грозная кара Божия. Выразим свое сострадание страждущему, подвергающемуся издевательствам и высмеиванию Христу молитвой, покаянием и добровольно взятыми на себя делами добра. Как некогда Вероника подала Ему свой плат, чтобы Он мог отереть пот со Своего лица, так и мы ныне утешим Его любовью и состраданием. Дадим удовлетворение божественному правосудию, восстановим нарушенный нравственный порядок! Искупление — в общении с Иисусом Христом — начинается с прощения грехов, находит свое продолжение в страдании, а свое завершение — в жертве. После своего разгрома под Седаном кающаяся Франция возвела в Париже, на горе святых мучеников, величественный собор,

посвященный священнейшему Сердцу Иисусову, Сакре Кёр. Мы сегодня слишком бедны, чтобы построить роскошный храм. Хотя восстанавливая наши разрушенные войной церкви, мы вправе считать посвящаемые этому огромные усилия некоей жертвой искупления. Но пусть местом покаяния станет и каждая уцелевшая часовня, каждый устоявший храм, каждая семья, каждая душа человеческая. Вместо терновника и крапивы греха да произрастут, как об этом пишет пророк Исайя (55, 13), кипарис и мирт искупления».

Не впадая в самомнение, можно все же утверждать, что взывающий к покаянию голос Церкви был услышан по всей стране. Множество людей, в том числе и некатоликов, присоединилось к нашему движению покаяния. Народ показал, что он готов, следуя за Христом, взять на свои плечи тяжелый крест и понести его. Именно в те времена я часто пользовался в своих проповедях, насколько я это сейчас припоминаю, образом молота и наковальни. Ребенком я часто любил смотреть, как работает наш деревенский кузнец. Но внимание мое привлекал не молот, который только все бил да бил, а наковальня. Мне казалось, что с каждым принятым на себя ударом она лишь становилась несокрушимее и тверже. Мое слово — «Чем жестче молот, тем непоколебимее наковальня» — в связи с этим стало в Венгрии как бы даже поговоркой.

Отклик на наш призыв к покаянию превзошел все ожидания. Между 2 и 9 февраля во всех церквах страны читались новены (особые молитвы перед важными жизненными решениями, читаемые, в подражание девятидневной совместной молитве апостолов между Вознесением Христовым и днем

Сошествия Святого Духа, в течение девяти дней подряд. — П е р е в.). В некоторых городах храмы не могли вместить всех желающих принять участие в этих молитвах. Положенные на девятый день молитвы я сам читал в Будапеште, в церкви «Вечного поклонения». В своем слове я сказал: «Только человечество, объединенное молитвой, может построить лучший мир. Я не имею в виду одно только внешнее устройство жизни — постройку жилищ, мостов, дорог, проводку электричества, — а думаю о взаимоотношениях между людьми и о их внутренней жизни. Составляя свои планы и трудясь над их осуществлением, мы должны учитывать и жертвенный подъем, и силу молитвы. Молитва способна умножать телесные и душевные силы человека, она — эта сила, способна преодолевать даже законы природы.»

После окончания богослужения меня при выходе из храма тепло приветствовали верующие, которые не могли попасть в церковь и простояли всю службу на улице. Но тут же раздались одиночные выкрики: «Салаши! Салаши!». Это — фамилия вождя партии «Скрещенных стрел». Политическая полиция подослала в толпу верующих своих провокаторов, выкрики которых должны были создать повод для арестов. Вечерние газеты тут же сообщили, что, де, примас при поддержке членов партии «Скрещенных стрел» и под прикрытием церковной службы устроил демонстрацию, направленную против демократии, против республики. Это вызвало, якобы, возмущение в самых широких кругах населения. Рабочих столицы погнали на улицы Будапешта, изображая контр-демонстрацию. В ряды молча и удрученно шествую-

щих рабочих пристроились платные подстрекатели, которые выкрикивали: «Работы и хлеба — Миндсенти веревку!». В печати появились статьи об этой «стихийной» демонстрации, якобы, спровоцированной моей вызывающей антидемократической позицией.

Наступило время, когда нападки на меня в печати и на массовых собраниях стали непрерывными. Подлинной причиной этого озлобления был расцвет религиозной жизни, рост христианского самосознания. Когда обвинения против меня начали появляться и в заграничных газетах, я решил высказаться в нашем церковном органе «Уй эмбер». Повторю здесь часть моего заявления, опубликованного 10 февраля 1946 года:

«Духовенство и миряне католической Церкви Венгрии ожидают от журналистов, чтобы они писали свои статьи для отечественной и заграничной печати, соблюдая истину, и в соответствии с фактами. Этого от них требует и Церковь, и страна, и народ. Однако, в последнее время этот принцип стал нарушаться настолько часто, что приходится подозревать за этим злой умысел. Князь-примас вовсе не стремится к конфликту со светскими властями. В меру своих сил он полностью отдает себя выполнению своего апостольского и гражданского долга. Во имя этого своего долга он бдит, трудится, борется, ведет бои, но всегда — стоя на страже истины. Поэтому общественное мнение так внимательно следит за каждым его шагом. Если светская власть будет в соответствии с демократическими принципами уважать независимость и права Церкви, никакой конфликт, призраком которого нас

пытается запугать пресса, просто не может возникнуть...».

«Заговор школьников»

Итак, с 1 февраля 1946 года Венгрия стала республикой. Пост президента государства занял Золтан Тильди, пост премьер-министра — Ференц Надь. В составе правительства было сделано еще одно существенное изменение: вместо более человеческого Имре Надя министерство внутренних дел возглавил Ласло Райк. Три левых партии объединились в парламенте и образовали левый блок. Это было сделано под давлением русских тотчас же, как только выяснилось, что многие депутаты от социал-демократической и крестьянской партий вовсе не соглашались играть навязываемую им роль марионеток в парламенте. Образование блока повлекло за собой усиление партийной дисциплины. О свободном высказывании мнений и независимой позиции не могло более быть и речи. Коммунисты оказывали нажим на правительство, требуя, чтобы оно предложило парламенту принять закон об охране государственного строя и республики. Они очевидно надеялись, что такой закон может послужить легальной основой для усиления полномочий полиции и для применявшегося ими шантажа. Недаром народ вскоре прозвал этот закон «палаческим». Он дал возможность выдвинуть обвинения против огромного числа общественных деятелей. Когда впоследствии меня самого поволокли на суд, прокурор тоже построил свое обвинение на положениях этого закона и добился того, что народный трибунал приговорил меня к пожизненной каторге.

Группа депутатов, руководимая Дежё Шуйоком, пыталась воспрепятствовать утверждению этого закона. Провозглашение Венгрии республикой было связано для данного политика с горьким разочарованием. Он начал с того, что объявил себя противником введения новой формы государства. Но коммунисты перехитрили его, дав ему понять, что они готовы видеть в нем будущего премьер-министра. Тогда он отказался от сопротивления и начал убеждать других депутатов парламента, что, при сложившихся обстоятельствах и принимая во внимание недвусмысленный нажим со стороны русских, переход к республиканской форме государственности неизбежен. Он даже не постеснялся сам огласить соответствующий законопроект в парламенте. Добившись своего, коммунисты не сочли однако нужным вспомнить о своем обещании и премьер-министром сделали не Шуйока, а Ференца Надя. Этот скромный человек, вышедший из кругов мелких сельских хозяев, в государственных делах не располагал никаким опытом и русским нетрудно было уговорить его предложить парламенту на утверждение проект закона о «защите государства и республики». Сопротивление, на которое он натолкнулся в рядах собственной парламентской фракции, ему удалось подавить при помощи давно испытанного приема. Он распустил слух, будто в случае провала этого закона страна подвергнется опасности русских репрессий. Принятие же закона, наоборот, поможет-де выиграть драгоценное время и сохранить позиции партии большинства до лучших времен. Когда же, мол, будет подписан мирный договор, мы сможем отменить все, что нам теперь навязывают силой. Посеяв

подобные иллюзии, Ференц Надь добился того, что 12 марта 1946 года «палаческий» закон был, наконец, принят. Небольшая группа депутатов, возглавляемая Дежё Шуйоком, попыталась было возражать против этого. В ходе парламентских прений она атаковала главу политической полиции Ласло Райка и выразила возмущение применяемыми им бесчеловечными методами. Результат был лишь тот, что под давлением советов Дежё Шуйока и двадцать других депутатов исключили из партии Мелких землевладельцев.

Поскольку все труднее становилось найти настоящих «военных преступников» и «врагов народа», круг «достойных наказания» расширили. Были определены новые категории антиреспубликанских прегрешений. Министр внутренних дел Райк в апреле 1946 года распорядился о проведении обысков даже в средних школах. Полиция врывается в классы во время занятий, просматривала книги и тетради школьников, рылась в их ранцах. Потом она уводила с собой человек двенадцать школьников и угрозами заставляла их подписывать протоколы, в которых преподаватели Закона Божия — миряне, а также учителя-монахи — обвинялись в антигосударственной деятельности. Во время обысков полицейские прятали в зданиях школ винтовки, патроны и тут же «обнаруживали» их в присутствии руководителей школы. Конечно, в левой печати тотчас же начали появляться статьи о «недопустимой обстановке» в школах и нападки на учителей. Церковные школы представлялись как «рассадники реакции».

Как только я услышал о такого рода происшествиях, я распорядился, чтобы дирекция като-

лических школ произвела тщательнейшее расследование каждого отдельного случая. Министр народного просвещения Дежё Корестури сам оказал мне содействие в этих расследованиях и, таким образом, с официальной стороны пришлось установить то, что общественности было ясно и так: все это дело было не чем иным, как подстроенной провокацией, направленной против католических школ и против преподавания Закона Божия. Мы, епископы, 4 мая огласили окружное послание, в котором привели для всеобщего сведения наши инструкции по всем школьным вопросам и дали свой ответ всем тем, кто старался усмотреть в существовании наших церковных школ опасность для демократии. Мы заявляли:

«...Вы можете быть спокойны: ни школы, ни преподавание Закона Божия не повредят подлинно демократическим убеждениям. Своими стипендиями Церковь дала многим детям, лишенным средств, возможность приобрести высшее образование и подняться на высшие ступени общественной лестницы. Среди тех, кто ныне стоит далеко от Церкви, немало таких, кто своим жизненным успехом и положением в культурной жизни страны обязан именно ей. Разве это — не доказательство того, что католическое воспитание ни на кого не налагает никаких пут? Духу демократии соответствует свобода. Но разве существует подлинная свобода там, где католикам не позволяют более обладать своими собственными школами, где существовать могут только государственные школы, то есть школы, в которых зачастую меньшинство пытается навязать свое мировоззрение большинству? Сегодня у власти одна партия, завтра другая, но каждая мечтает

о том, чтобы при помощи школы укрепить свою власть. Это — не демократия, это — не свобода...»

По этому же вопросу генеральная дирекция католических школ 11 мая 1946 года опубликовала следующее заявление:

«В связи со все учащающимися нападками на католические средние школы нами повсеместно проведены официальные расследования. В большинстве случаев они проводились до того, как появлялись какие бы то ни было сообщения в печати. В пяти случаях расследование уже доведено до конца, а именно: в гимназиях бенедиктинцев в Эстергоме, норбертинцев в Кестее, пиаристов в Надьканиже, цистерцианцев в Пече и пиаристов в Ваце. Обвинения оказались лишенными всякого основания. В будапештской гимназии пиаристов и гимназии францисканцев в Эстергоме расследования еще не закончены. Однако, уже теперь можно сказать, что обвинения и здесь были, по меньшей мере, преждевременными и преувеличенными. Несмотря на это, мы обращаемся к директорам католических школ и предлагаем им тщательно следить за тем, чтобы доверенная им молодежь вела себя в соответствии с требованиями, предъявляемыми гражданам государства, а наши интернаты, как это было и доселе, служили бы образцом дисциплинированности и порядка, не предоставляя никакого повода для вмешательства извне».

Велико было возмущение действиями полиции. Тем не менее полицию это не удержало от проведения дальнейших обысков, которые, конечно, тоже привели к соответствующим «находкам». Становилось очевидным, что коммунисты добиваются согласия партии Мелких землевладельцев на пере-

дачу всех школ в ведение государства и на запрещение преподавания Закона Божия. Но действия полиции и прессы не всегда четко согласовывались. Таким образом, могло случиться, что в будапештской печати сообщение о «заговоре» и об обыске в гимназии цистерцианцев в Бае появилось до того, как этот обыск вообще был произведен. А поскольку это опубликованное в печати сообщение было достаточно пространное и изобиловало большим количеством «точных» деталей, дело приняло характер скандала, который стал известен всей стране. После этого тема «заговора школьников» исчезла со страниц печати.

Союз родителей

После того, как полиция, в связи с неувязкой в Бае оказалась дезавуированной, подобных издательских налетов больше не повторялось, но школьный вопрос с повестки дня снят отнюдь не был. Теперь тактика заключалась в выдвигании тезиса о необходимости единой системы воспитания, и при этом добавлялось, что для этого требуется отменить обязательное преподавание Закона Божия и передать в руки государства церковные школы. Делались ссылки на то, что в демократических странах Запада подобные реформы давно уже осуществлены. То же самое необходимо, мол, провести и в Венгрии, поскольку церковные школы, в отличие от государственных, применяют «антидемократические, реакционные» приемы воспитания.

У нас были основания опасаться, что руководство партии Мелких землевладельцев вновь проявит

податливость, а потому решили на защиту наших школ мобилизовать самих родителей.

Мы начали проводить доклады, совещания, курсы для родителей и для преподавателей школ, находящихся в ведении монашеских орденов. На массовых народных собраниях мы опровергали нападки левых партий и печати. Успех этой работы среди родителей вынудил марксистов пересмотреть свою тактику. Они постарались свести школьный вопрос на уровень узкой проблемы, касающейся только политических партий. Этим им удалось внести разлад в ряды партии Мелких землевладельцев. Чем дальше, тем больше они стремились узаконить практику, при которой большинство вопросов государственной важности решалось бы простым сговором лидеров отдельных партий между собой. Это должно было обеспечить правительству возможность, опираясь на межпартийные соглашения, принимать решения в обход парламента. Руководители партии Мелких землевладельцев не были в состоянии распознать ни роковой роли, которую именно в то время начали играть коллаборанты коммунистов в их собственных рядах, ни махинаций, проводимых во много раз лучше, чем они, вышколенными марксистами. Но подобная практика возмущала избирателей. Областные организации партии Мелких землевладельцев стали требовать, чтобы практика межпартийных сговоров была прекращена и чтобы вопросы законодательного порядка были предоставлены на усмотрение парламента, который один только и уполномочен их решать. Такие требования еще более усилились после того, как стало известно, что Союз родителей

отверг домогательства коммунистов в области культурной политики.

Союз родителей был очень активен. Он начал делать соответствующие заявления сразу же после того, как были выдвинуты первые обвинения в «заговорах школьников». Представители этого союза принимали участие во всех проводимых нами расследованиях и это давало нам возможность опровергать необоснованные нападки. Я сам не раз присутствовал на митингах протеста, созванных Союзом родителей, и выступал на них по вопросам права Церкви на воспитательную деятельность и достоинств христианских учебных заведений.

21 мая 1946 года в своем выступлении на заседании Академии святого Стефана, объединяющей христианских ученых, деятелей искусств и писателей по вопросу о христианском воспитании, я сказал следующее:

«Право и обязанность воспитания детей самим Творцом даны семье. Права родителей имеют приоритет перед правами любой другой общественной институции. Никакая земная власть, никакое государство не полномочны оспаривать это право родителей. В вопросе о воспитании детей сама Церковь с древнейших времен стала на позицию признания естественного права, а это право настолько связывает своими обязательствами саму Церковь, что даже она не может подвергнуть его никаким изменениям. Право на воспитание — одно из основных, первоначальных прав, проистекающее из самой природы отношений родителей и ребенка. Этого права родителей оспаривать не смеет никто. Самое большее, о чем может идти речь, это о том, чтобы институции, находящиеся за пределами семьи, ока-

зывали родителям содействие в исполнении их воспитательских обязанностей. Крещеное дитя в этом отношении принадлежит, однако, не только своим родителям, но и Церкви, ибо оно в таинстве крещения стало и ее чадом. Церковь, Невеста Христова, совершением над ним этого таинства, взяла на себя по отношению к нему и материнские функции. Церковь занимает место матери в духовном порядке вещей, так же как родители занимают свое место в естественном порядке. Отсюда протекают задача и право Церкви учить и воспитывать, и она отвергает любую попытку воспрепятствовать выполнению ею этого своего права, урезать или нарушить его. Государство существует для того, чтобы заботиться о земном благосостоянии человека. Школьное образование — не только неотъемлемо от понятия о благосостоянии человека, но даже должно служить его предпосылкой. По мере развития цивилизации и на государство легли обязательство и право участвовать в родительском воспитании и его поддержке. Неоспоримо, поэтому, что и Церковь, и государство обязаны проявлять заботу о школах. Но полномочия этих двух институтов часто весьма расходятся между собой, даже противоречат друг другу, в особенности с тех пор, как историческим фактом стало идеологическое и вероисповедное дробление всех народов. Теперь все зависит от того, чтобы деятели Церкви и государства уважали права друг друга в данной сфере деятельности. Нас прежде всего беспокоит, как этот вопрос будет разрешен в Венгрии. Мы не желаем, чтобы отменялось то, что у нас родилось из самой нашей истории, и вынуждены были бы оказывать сопротивление попыткам произвести перемену

ны, нарушающие наши традиции. Мы пошли бы на это в сознании, что христианский народ всей нашей страны с крайней решимостью встал бы на защиту этих традиций. В вопросе о школах вся христианская Венгрия едина».

Это был намек на солидарность с нами, которую намеревались занять реформаты, о чем мне стало тогда уже известно. По этому вопросу я навестил епископа кальвинистов, Ласло Раваса, обсудил с ним общее политическое положение в стране и положение христиан в Венгрии. Мы с ним оказались совершенно едины в нашем намерении отвергнуть поползновения коммунистов изменить образовательную политику страны так же, как и в решимости оказать поддержку и ободрить политических деятелей, стоящих на этих национальных позициях. Епископ Равас в связи с этим положительно высказался о деятельности католического Союза родителей. Вскоре епископ нанес мне ответный визит, что дало мне повод упомянуть в своей проповеди 25 мая 1946 года в монастыре цистерцианцев в Буде, что и венгерские протестанты с глубоким уважением относятся к «уделу Марииному» святого Стефана. Обратившись к истории, я сказал об этом: «После разгрома нашего народа в битве при Мохаче, после того, как множество мужчин, женщин и детей было уведено в плен, уцелевшие венгры покинули открытую равнину и скрылись в необитаемых болотах или в лесных дебрях. Часто не было у них ни одежды, ни обуви, не было ни скота, ни хлеба. Питались они кореньями и тем, что они находили в лесу. Свою память о благополучном прошлом, свои страдания и нужду настоящего и свою надежду на лучшее будущее они вы-

разили в новом песнопении, в песнопении, которое дошло к нам через поколения и века и которое никогда не замолкнет, пока есть на Земле венгры:

«О Матерь, Пристанище грешных,
Услыши Твоих стенания чад!
Заступница, преклоняем колена,
Предел положи страданиям отчизны,
Вымоли ей милосердие Неба!
О бедных, униженных венграх Ты вспомни».

Все это хорошо, мог бы кто-то сказать, но разве почитание Девы Марии не разделяет наш народ надвое? Не думаю. Как мать в семье, так и Матерь Божия в жизни целой нации не разделяет, а связывает узами объединяющей любви. Я глубоко удручен тем, что история знала кровавые войны между протестантами и католиками. Лучше было бы, если достоинство вероисповеданий измерялось бы только благородным соревнованием их в служении своему отечеству. Почитание Девы Марии для каждого вдумчивого верующего, даже если он и не католик, — отнюдь не камень преткновения, а источник мощного религиозного и нравственного воодушевления».

Протестанты правильно поняли мои слова и намерения. В большом числе они стали приходить на наши собрания, в особенности на съезды, и участвовать в паломничествах, посвященных Деве Марии.

30 мая 1946 года я принял участие в массовом собрании, которое Союз родителей устроил в Калочче. Часть своего обращения к участникам собрания я посвятил тому, чтобы опровергнуть обвинения в

адрес школ, руководимых монашескими орденами, что они будто бы оставляют без внимания детей неимущих слоев населения. Я сказал:

«По пути сюда из Будапешта эти нападки продолжали звучать в моих ушах. Как только я сюда приехал, я попросил директоров здешних католических школ предоставить мне все данные, необходимые для проверки этого вопроса. Факты свидетельствуют о следующем:

а) В гимназии иезуитов сорок процентов школьников — дети семей с достатком выше среднего, к которым я отношу и семьи государственных служащих. Шестьдесят процентов — дети бедных семей — рабочих, мелких сельских хозяев и так далее.

б) В римско-католической Главной школе это соотношение выражается цифрами 35 к 65.

в) В римско-католическом педагогическом институте — 17,5 к 82,5.

г) Школу руководительниц детских садов за пять лет окончило 233 девушки из обеспеченных семей и 366 из более бедных.

д) В римско-католическом женском педагогическом институте и в женской гимназии это соотношение выражается цифрами 104 к 488.

Вот как обстоит дело в Калоче на самом деле. В прошлом мы стояли на страже естественного права, беря под свою защиту преследуемых тогда евреев. Никто не может поэтому упрекнуть нас за то, что теперь мы требуем соблюдения законов естественного права и по отношению к нашим собственным детям. Мы твердо уверены в том, что нас поддержат и лица других исповеданий. Пред-

ставители реформатской и евангелической общин уже выразили мне свою солидарность».

От имени 12.000 родителей собрание в Калоче направило премьер-министру Ференцу Надю следующую памятную записку (привожу по тексту, опубликованному в «Уй эмбер» 9 июня 1946 года):

«Господину премьер-министру Ференцу Надю,
Будапешт.

После окончания массового собрания 12.000 католических родителей в Калоче, 30 мая 1946 года состоялось совещание Союза католических родителей с участием членов союза. Совещание постановило довести до Вашего сведения нижеследующее:

1. Мы обязуемся и торжественно обещаем все свои силы отдать делу материального восстановления и нравственного возрождения родины.

2. Мы требуем непоколебимо, чтобы было покончено с преступлениями и заблуждениями недавнего прошлого.

3. Мы будем стоять на страже того, чтобы каждый венгр соблюдал и уважал те нравственные ценности, которые уже не раз позволяли нашему государству преодолеть наиболее трудные времена своей истории.

4. Именно поэтому мы с озабоченностью констатируем, что вероисповедные школы — в первую очередь католические — а также преподавание Закона Божия подвергаются все более планомерным и все более недостойным нападкам, несмотря на то, что и закон, и союзные державы га-

рантировали гражданам гражданские свободы и свободу вероисповедания.

5. Мы выражаем, поэтому, протест против любых попыток лишить наши школы их католической сущности и сделать необязательным посещение уроков Закона Божия.

6. Мы предлагаем Вам, господин премьер-министр, защитить наши католические школы, которыми гордится и которые любит подавляющее большинство населения страны, от безосновательных нападков, которым они подвергаются.

7. Наши школы мы так решительно поддерживаем, в частности, и потому, что они воспитывают для Венгрии надежных носителей подлинно демократического развития».

Мы попросили депутата парламента от нашего города и от нашего округа, Йожефа Шишитку, лично вручить нашу записку премьер-министру.

Три дня спустя, 2 июня 1946 года, я выступил в Будапеште. Свой юбилей отмечал педагогический институт ордена Пресвятой Девы Марии. Я вновь выступил по школьному вопросу и сказал: «Если за последние пятьдесят, в особенности же за последние двадцать пять лет в Венгрию приезжали иностранные педагоги и желали ознакомиться с нашими достижениями, то министры просвещения направляли их всегда, а иногда и исключительно, в школы, руководимые монашескими орденами, и это несмотря на то, что в стране было немало государственных школ. Это не нуждается ни в каких комментариях».

На юбилейных торжествах присутствовал также мой бывший ученик из Залаэгерсег, Дежё Керестури, который к тому времени успел стать ми-

нистром народного просвещения, видным писателем и значительным политиком по вопросам культуры. Встретили его очень тепло. Все мы знали, как мужественно он борется против происков марксистов в области культурной политики. Для меня было большой радостью, что 12 июня 1946 года его посетила делегация Союза родителей и передала ему памятную записку, на которую он потом, защищая принципы демократии и вступая в конфликт с указаниями собственного партийного руководства, мог сослаться. Вот текст этой записки:

«Господин министр культуры!

Подписавшиеся ниже глава и члены Католического союза родителей в Будапеште:

1. Заявляют свой протест против непрекращающихся тенденциозных нападок на католические школы. Мы не намерены брать под свою защиту никого, кто оказался бы виновным на самом деле. Но мы полагаем себя вправе надеяться, что по окончании всех расследований господин министр культуры огласит подлинное состояние дел в этом вопросе и опротестует перед министром внутренних дел и в печати имевшие место лживые инсинуации и акты произвола. К сожалению, этого не было сделано. В связи с этим мы просим принять во внимание, какой моральный и педагогический вред наносит подобная кампания клеветы.

2. Католическое большинство населения страны, да и каждый верующий человек, убеждены, что вероисповедные школы, воспитывающие подрастающее поколение в вере, нравственности и уважении к ближнему, должны быть сохранены

хотя бы уже потому, что необходимо считаться с процентным составом населения.

3. Мы вправе ожидать поэтому, что в школах государственных и коммунальных Закон Божий останется общеобязательным предметом и что там обучение и воспитание будут строиться в соответствии с христианским миропониманием.

4. Мы требуем, чтобы учебники, а также высказывания и поведение преподавателей, не оскорбляли бы религиозных чувств. Не должна подвергаться осмеянию и наша венгерская история.

5. Как родители мы возражаем против обязательного участия школьников в шествиях, митингах и собраниях, которые устраиваются для того, чтобы настроить молодежь против мировоззрения, которого мы придерживаемся.

6. Мы требуем, чтобы из средств, поступающих в порядке помощи из-за границы, пропорциональная доля выделялась и на католическую молодежь.

7. Мы протестуем против того, что в городском театре, который содержится на налоги, взимаемые также и от католических граждан, ставятся пьесы, противоречащие фактам нашей истории и служат одним только пропагандным целям. Такого рода пропаганде место на партийных собраниях».

Подобными мерами Союз родителей сумел обратить внимание общественности на приближающуюся опасность и сплотить родителей для защиты руководимых монашескими орденами школ и христианской воспитательной работы. Признаком успеха жертвенных трудов Союза родителей оказалось то, что в новом учебном году еще большее число венгерских родителей, чем это было до того,

направило своих детей в школы, руководимые монахами. Это явилось своего рода плебисцитом в пользу наших школ и в пользу наших, якобы, столь устаревших методов воспитания. По мере активизации родителей возрастала воля к сопротивлению и в рядах партии Мелких землевладельцев.

Руководство партии Мелких землевладельцев пошло было на уступки коммунистам в их решимости объявить посещение уроков Закона Божия необязательным, а также согласиться на унификацию учебников. Однако, опираясь на протесты Католического союза родителей, рядовым депутатам этой партии удалось все же, хотя бы на время, предотвратить осуществление коммунистических планов.

Нельзя умолчать, что министр народного просвещения Керестури в те трудные дни занял достойную позицию, а впоследствии даже предпочел отказаться от своего министерского портфеля, чтобы только не выполнять роли марионетки в так называемом коалиционном правительстве.

Убийство на улице Терез-Кёрут

В середине лета 1946 года в столице был убит русский солдат. Первое сообщение об этом передали по радио. На следующий день об этом под крупными заголовками сообщили газеты. Если верить опубликованной ими информации, дело обстояло так, что в районе Терез-Кёрут был найден убитый советский солдат, а сразу после этого на чердаке разрушенного дома полиция обнаружила труп молодого человека в форме организации католической молодежи КАЛОТ. Расследование якобы по-

казало, что выстрел, жертвой которого стал храбрый солдат, раздался из окна именно этого разрушенного дома. Убийца, совершив преступление, спрятался на чердаке, но был обнаружен полицией и, во избежание ареста, покончил с собой.

Ни одна газета не посмела описать данное происшествие так, как это было на самом деле. На оживленной улице Терез-Кёрет русские солдаты пристрелили собственного товарища, причем — на глазах у прохожих. Примерно в то же самое время в тюрьме на улице Андрашши под пытками политической полиции скончался молодой заключенный. Его труп поспешно был доставлен в развалину дома на Терез-Кёрет. Затем оба трупа были «найжены», а замученный молодой человек был превращен в убийцу. Русский же солдат — объявлен его жертвой. Утверждение, что «убийца», якобы, являлся членом «реакционной католической организации молодежи», послужило поводом для репрессивных мер против данной организации. Но грубая фальсификация фактов не могла укрыться от внимания общественности. Одно то, что мнимый убийца был обнаружен в форме, раскрывало весь замысел: члены организации КАЛОТ никогда в форме не ходили.

Премьер-министра Ференца Надя 7 июля 1946 года вызвал к себе русский комендант Свиридов. В качестве меры возмездия он потребовал роспуска всех юношеских организаций. Правительство послушалось и тотчас же выпустило указ под номером 2333/1946 МЕ, согласно которому слепо следовавший партийной линии министр внутренних дел Ласло Райк обязывался осуществить все требуемые от него репрессии.

20 июля 1946 года мы созвали епископское совещание, чтобы обсудить положение, создавшееся в результате упомянутого правительственного указа. Мы приняли решение выразить решительный протест. Я написал письмо Ференцу Надю, обратил его внимание на незаконность административных указов и предложил ему дать всему этому делу ход по справедливости и согласно порядку, предусматриваемому законом. Привожу текст своего письма премьер-министру Ференцу Надю:

«Господин премьер-министр!

Совещание епископов принуждено возвысить свой голос против нового тяжкого нарушения свободы вероисповедания, укорененной как в отечественных законах, так и в ряде международных соглашений, и, кроме того, являющейся неотъемлемым свойством демократической формы правления. В первую очередь, наш протест касается мероприятий, направленных против религиозных объединений, и угроз, которым они подвергаются. Венгерское правительство своим Указом ME № 2333/1946 подчинило все организации контролю и управлению министра внутренних дел. Это дает последнему полномочия одному, без привлечения других министров, применять статью XVII закона 1938 года о пресечении злоупотреблений в союзах общественного характера. Министр внутренних дел в соответствии с этим распорядился о роспуске организаций, в том числе и католических. Приведенный выше указ вносит в существующее законодательство изменение лишь в том смысле, что меняются полномочия министра, которому поручается исполнение предусмотренных законом ме-

роприятий. Во всех остальных отношениях остается, таким образом, в силе первоначальный закон. Согласно этому закону запрещению и роспуску могут подвергаться только такие зарегистрированные и действующие в соответствии со своими уставами организации, которые были уличены в «тайных действиях, не соответствующих уставу организации» (статья 2, часть 2).

Элементарная справедливость требует, чтобы каждый случай тайных действий, не соответствующих уставу той или иной организации, тщательно расследовался и доказывался бы неопровержимыми уликами. Если после этого государственный прокурор потребует, может быть, роспуска такой организации, его действия ни с чьей стороны не вызовут возражений.

В данном же случае не известно, было ли вообще проведено необходимое тщательное расследование и доказало ли оно наличие злоупотреблений, которые оправдывали бы столь тяжкое наказание, как роспуск организации. Крайне беспокоит нас и то, что общественное мнение толкует эти мероприятия правительства совсем иначе и видит в них совсем иные побуждения.

Совсем недавно была сделана попытка возбудить в общественности подозрения относительно католических школ и интернатов. Проведенные разными сторонами расследования или вообще не смогли доказать этих заведомо преувеличенных обвинений, или же сумели доказать наличие таких ничтожных упущений, на которых нет смысла даже останавливаться. Это обстоятельство не может не удручать, не может не беспокоить общественное

мнение, от имени которого в данном случае по долгу своего сана говорим мы — епископы.

Успокоить общественность — и не мы несем ответственность за ее возбуждение — можно только, если деятельность каждой организации, на которую по тем или иным причинам падет какое-либо подозрение, будет подвергаться тщательному и объективному расследованию, прежде чем против нее будут предприниматься какие бы то ни было репрессивные меры, и если общественность будет в соответствующих формах ставиться в известность о результатах такого расследования. В противном случае, административные мероприятия будут отличаться чертами произвола и будут означать нарушение свободы. Во всяком случае, произвольные репрессии под расплывчатыми предложениями и на основании искусственно выдвигаемых обвинений, ничем конкретно не доказанных, до сих пор считались примерами позорной и достойной осуждений практики всяких диктаторских режимов. Против этого католическая сторона всегда протестовала. Мы и теперь вынуждены протестовать самым настойчивым образом. Столь далеко идущие репрессивные мероприятия проводятся на основании ничем не доказанных подозрений, выдвигаемых против наших организаций или хотя бы только против отдельного члена той или иной организации. В этом вопросе мы не можем молчать перед широким общественным мнением.

Но прежде всего мы считаем своим долгом сообщить нашу точку зрения господину премьер-министру. Мы просим урегулировать этот вопрос по справедливости и посредством закона.

Примите, господин премьер-министр, заверения моего совершенного к Вам почтения.

От имени венгерских епископов:

Йожеф Миндсенти
Кардинал, князь-примас
архиепископ Эстергомский».

Никто в стране не сомневался в том, что «мера возмездия» была вызвана на самом деле тем, что венгерская молодежь не шла в организации, созданные марксистами и финансировавшиеся за счет государства. Наши союзы подверглись роспуску, их имущество, дома и клубы были у них отняты и переданы в распоряжение марксистских юниоров. Руководителей наших объединений заставили сотрудничать с молодежью при политических партиях. Первый удар был направлен против Объединения венгерских скаутов. Под схожим названием «Союза венгерских скаутов» была создана совсем иная организация, во главе которой оказались лица, во всем послушные воле властителей. Нас же поставили в известность, что новая организация приветствовала бы присоединение нашей молодежи к ней. «Приглашение» сопровождалось, однако, декларацией, из которой следовало, что цели вновь созданного союза весьма существенно отличались от принятых до тех пор основ скаутского движения. Поэтому я через «Католическое действие» объявил, что прежде чем решиться на сотрудничество, мы должны выяснить для себя целый ряд вопросов:

1. Будут ли нам предложены основы окончательного, утвержденного министром внутренних дел устава новой организации?

2. Должно ли быть получено подтверждение, что Международный союз скаутских организаций примет вновь созданную венгерскую организацию в состав своих членов?

3. Будут ли признаны за основу католические принципы воспитания?

4. Будут ли даны гарантии, что в рядах нового союза и вообще при работе со скаутами не будет подвергаться нападкам Церковь?

5. Число руководителей должно соответствовать числу членов входящих в союз организаций;

6. Соответствующая церковная власть должна дать разрешение на слияние существующей организации с новым союзом.

В рамках «Католического действия» мы создали одновременно с этим объединение всех католических скаутских групп. Это объединение должно было облегчить им совместное противодействие поползновениям коммунистов. Но министр внутренних дел запретил его — этого объединения — деятельность. Кроме того, послушные властям скаутские руководители активизировали различные, лишь на бумаге существующие скаутские группировки, которые дружно стали ходатайствовать о своем приеме в состав нового Союза. Это должно было дать меньшинству большинство голосов на созываемом общегосударственном съезде руководителей скаутских организаций.

Узнав обо всех этих манипуляциях, я отдал распоряжение, чтобы наши скауты заняли выжидательную позицию и продолжали настаивать на

выдвинутых «Католическим действием» условиях. Год спустя новый «Союз венгерских скаутов» объявил о своем присоединении к организации коммунистических юных пионеров. Это означало конец скаутизма в Венгрии.

Разгром и ликвидация юношеской организации КАЛОТ дались коммунистам еще легче, поскольку здесь они с самого начала заняли более выгодную исходную позицию. Сразу после окончания войны венгерские коммунисты заявили, что они закроют КАЛОТ наряду с фашистскими организациями. Чтобы это предотвратить, один из иезуитов — руководитель КАЛОТа — направился к русским и предложил им сотрудничество. Это на год отсрочило ликвидацию КАЛОТа. Но правительственный указ 1946 года об организациях молодежи вновь поставил под угрозу само существование КАЛОТа. Иезуитский патер попробовал вновь вступить в переговоры. Ему предложили следующие условия:

1. Организация должна изменить свое название. Определение «католическая», должно было исчезнуть из официального названия.

2. Организацию должны возглавить новые лица, кандидатуры которых должны быть согласованы с коммунистами.

3. Организация должна внести изменения в свой устав, учитывая наступившие в стране изменения политического и общественного характера.

4. Организация должна вступить во взаимодействие с созданной коммунистами организацией МИОТ.

Руководители КАЛОТа не запросили мнения своих епископов, а стали действовать по собственному усмотрению. Несмотря на протесты и резкое сопротивление отделений организации на местах, они приняли эти условия. Это был конец многообещающего и цветущего ранее объединения молодежи.

(Продолжение следует)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

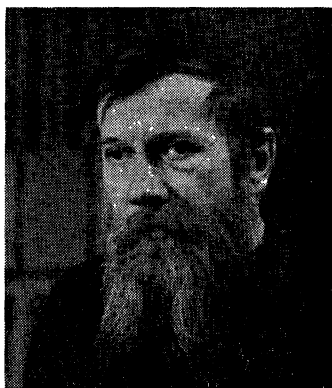
Комментарий на тему года

«Уезжаете, уезжайте...» — писал когда-то Александр Галич в твердой уверенности, что минует его «чаша сия».

Но минная зона общественной глухоты, вызывающей враждебности, смертельных угроз, наподобие петли, все плотнее стягивалась вокруг замечательного певца и стихотворца современной России: уезжали ближайшие друзья, унося родину «на подошвах своих башмаков», все молчаливее становился телефон и все крикливее власть имущие, дорогие сердцу книги и вещи постепенно перекачивались в цепкие руки чутких на легкую добычу скупщиков. И он не выдержал — решился. Но над ним еще поизголялись, потешились, погоняли с больным сердцем по этажам самодоволь-



А. Солженицын



А. Синяевский

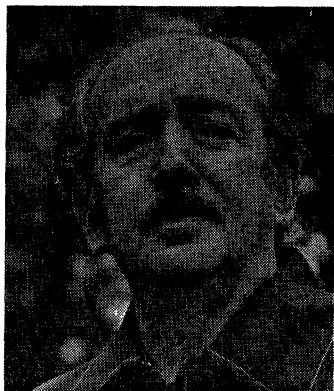
ных канцелярий, прежде, чем он, с единственным чемоданом в руках и с зачехленной гитарой под мышкой, провожаемый близкими и филерами, поднялся по трапу самолета, чтобы уже через три с небольшим часа очутиться в Венском аэропорту.

А до Галича — Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Наум Коржавин. И каждый из них украсил бы собой литературу любой страны. Они не судят тебя, родная земля, ибо не ведаешь ты, что творишь!

Того же, кто стоял до конца, кого не сумели вынудить к «добровольному» отъезду ни травлей, ни бездомностью, ни угрозой смерти, кем до скончания века будет гордиться мировая культура, трусливо выманили из дому, воровски, под покровом ночи упрятали в каталажку, чтобы уже ранним утром, пока не продрала глаза ленивая, но все же любопытная столица, впихнули в самолет



Н. Коржавин



А. Галич

и отправили за кордон — с ненавидящих глаз долой, а из черного сердца вон! Долго тебе еще краснеть от стыда, моя

страна, когда очнешься ты, наконец, от злых чар своего державного Черномора, при одном воспоминании об этой позорной ночи!

Но куда худой конь с копытом, туда и тощий рак с клешней: не отставали от нас и в сопредельных социалистических епархиях. Какой еще там гроссмейстер? Какой еще Пахман? Вытряси из него душу и долой! Лешек Колаковский? Не знаем такого и знать не желаем! Долой! Кардинал Миндсенти? В тюрьме не забили? Гони!

Теперь наступил черед Некрасова. Того самого Виктора Некрасова, книга которого о войне «В окопах Сталинграда» имеется в доме у каждого бывшего фронтовика от рядового до маршала. Бывший теперь уже лауреат Государственной премии, бывший член двух творческих союзов, в одном



В. Некрасов

из которых являлся многолетним членом правления, бывший член партии, но зато настоящий писатель, настоящий гражданин, настоящий Человек.

Но ни он, никто другой из нас не покинули родины, родину мы привезли сюда, с собой, в своей душе и в своем сердце. И она уже никогда не покинет нас, ибо мы остались верны ей до конца в самом высочайшем смысле этого слова!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Г. Подъяпольский ЗОЛОТОЙ ВЕК Vers libres

Автор этой книги известен как деятельный участник демократического движения в Советском Союзе: он — член Инициативной группы по защите прав человека в СССР и Сахаровского Комитета прав человека. Та активность, с которой Г. Подъяпольский относится к общественным проблемам, безусловно, сказывается и в его творчестве: в остром интересе к вопросам современности, ярко выраженном гражданском пафосе, определенности авторского мировоззрения. Многие произведения Г. Подъяпольского подчеркнуто полемичны: таков его спор в «Бедном Генрихе» с марксистом-либералом, таков его «Ответ поэту Юлии Друниной», таковы его «комментарии» к некоторым высказываниям Б. Пастернака и В. Маяковского.

Проблемы, интересующие Г. Подъяпольского, весьма разнообразны и дают представление о том широком круге вопросов, которые стоят перед творческой интеллигенцией в СССР.

Книга снабжена кратким «Комментарием», в котором автор разъясняет некоторые термины и намеки на политические и исторические события, дает ссылки на цитируемых или пародируемых им авторов и т. д.

Изд-во «Посев», 1974,
174 стр., цена 14.50 н. м.

А. Авторханов ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАРТОКРАТИИ

т. I. ЦК и Ленин
т. II. ЦК и Сталин

Делая выводы в основном в результате анализа советских партийных документов, автор рассматривает историю создания, триумфа и гибели ленинского ЦК.

Цель этой книги — восстановить историческую правду о действительной роли Ленина в созданной им партии (автор считает, что «история большевизма — это перманентная борьба между ЦК и Лениным за гегемонию в партии») и о природе внутренних конфликтов в ЦК; раскрыть внутреннюю механику дра-

матических перипетий междоусобной борьбы в верхушке партии за трон Ленина, а также **показать** духовные истоки, историческое становление и закономерность торжества сталинского уголовного большевизма в СССР.

«Происхождение партоткратии», будучи, безусловно, глубоким научным исследованием, написано живо и беспретенциозно, что делает книгу весьма интересной для самого широкого круга читателей.

Изд-во «Посев», 1973,
т. I — 728 стр., цена 32 н. м.
т. II — 536 стр., цена 23 н. м.

Александр Г а л и ч

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

В основу сюжета книги положена история запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина» после состоявшегося зимой 1958 года просмотра ее генеральной репетиции в Студии Московского Художественного театра.

Останавливаясь на фактах и эпизодах, имевших решающее значение для формирования его мироощущения, автор вскрывает

происходящий в нем процесс переосмысления своего видения действительности. Этой идее — прозрению писателя — и подчинен (отнюдь не хронологический) порядок чередования его воспоминаний, органически переплетающихся с текстом пьесы.

Живые сценки, описывающие собрание в Доме Кино, посвященное «избиению космополитов от кинематографа»; занятия в Студии К. С. Станиславского; исключение А. Галича из членов СП; разговор автора с инструктором ЦК КПСС по поводу запрета пьесы; воспоминания его о последних встречах с Михоэлсом и Перецем Маркишем, о Лие Канторович и Эдуарде Вагрицком, — все это окрашено мягким юмором и грустной лирической интонацией человека, долгое время жившего иллюзиями и, наконец, их утратившего.

Изд-во «Посев», 1974,
244 стр., цена 16.50 н. м.

Абрам Т е р ц

ГОЛОС ИЗ ХОРА

«Моей жене Марии посвящаю эту книгу, составленную едва ли не полностью

из моих писем к ней за годы заключения».

Вот все и сказано: перед нами не роман, не повесть, не томик стихов, не собрание афоризмов, а книжка про все, что виделось, слышалось и приходило в голову, остриженную по-арестантски:

«О Декларации Прав Человека начальник отряда сказал: — Вы не поняли. Это не для вас. Это — для негров».

Или: «Очень смешно купаются воробьи: нагибаясь, мочат брюшко, а потом долго отряхиваются. И в это время заметно, что у них нету рук».

Книжка не «написана», а «составлена», как составляют справочники. Ведь письмо всегда справка. О здоровье, о родственниках, о знакомых, о всяком житье-бытье. В том числе и о мыслях.

Вот почему ее надо читать не подряд, и не сидя; а стоя в трамвае или лежа в постели. Так прочитывается жизнь, не поднятая на принципиальную высоту.

В своем роде очень замечательная книжка! Зря

только проставлен псевдоним «Абрам Терц». Зря потому, что автор ее — Андрей Синявский. Андрей Донатович. Тот самый, которого спрашивали:

«— Донатович! Что такое негоциант?»

— Донатович! Что такое дуализм?

— Донатович! Что такое похоть?»

Абрама Терца не спросишь. Абрам — выдумщик и сочинитель. У Абрама «женщина идеальной конструкции недвижно лежала рядом», а «лиса, не теряя скорости, перестроилась на колеса и поехала велосипедом без участия всадника, лишь пустые педали крутились автоматически». У Абрама: «ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП!» — человек-кактус. Абрам — яркая личность. Абрам — особенный.

А Донатович — негромкий голос из хора. И книжка его, как справочник по затронутым в ней вопросам. От воробьиной безрукости до негритянских прав.

Изд-во «Стенвалли», Лондон, 1973.

328 стр., цена 32.— н. м.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич. Родился в 1918 году. Русский писатель. Лауреат Нобелевской премии.

ИОНЕСКО Эжен — выдающийся современный драматург. Член французской Академии. Родился в 1912 году.

БРОДСКИЙ Иосиф. Родился в 1940 году. Русский поэт. На родине за свою литературную деятельность подвергался гонениям и почти не печатался, выступая в основном как переводчик. В 1972 году был вынужден покинуть Советский Союз. За рубежом опубликовал несколько книг стихов. Переводится на многие иностранные языки.

КОРНИЛОВ Владимир Николаевич — талантливый русский поэт. Родился в 1928 году в Днепропетровске. Учился в Литературном институте имени Горького. Первые стихи опубликовал в 1953 году. В 1961 году в сборнике «Тарусские страницы» напечатал свою поэму «Шофер». Автор двух стихотворных сборников. Как прозаик выступает впервые. В настоящее время живет в Москве.

СТРАННИК — Иоанн, архиепископ Сан-Францисский (князь Дмитрий Алексеевич Шаховской). Родился в 1902 году. Автор широко известных богословских трудов. Его радио-беседы на эту тему составили сборник «Московский разговор о бессмертии», вышедший в 1972 г. Как поэт начал печататься еще в двадцатых годах. Опубликовал ряд стихотворных сборников.

СИНЯВСКИЙ Андрей Донатович — русский писатель и литературный критик. Родился в 1925 году в Москве. Окончил Московский университет. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института Мировой литературы. Один из ведущих критиков журнала «Новый мир», автор работ по русской поэзии 20-го века.

С 1955-го года под именем Абрама Терца начинает печататься за рубежом, где опубликованы: «Фантастические повести», «Любимов», статья «Что такое социалистический реализм», за что в 1965 году исключен из Союза писателей, арестован и осужден. Шесть лет провел в Мордовских лагерях строгого режима. Работал грузчиком. В 1973 году выехал во Францию. Уже за рубежом издал свою книгу «Голос из хора». В настоящее время — профессор Сорбонны.

ГОЛОМШТОК Игорь Наумович — искусствовед. Родился в 1929 году. Окончил отделение истории искусств Московского университета. Работал старшим научным сотрудником Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Преподавал также в МГУ, работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте технической эстетики. Состоял членом Союза советских художников. Автор ряда книг и монографий по вопросам истории и теории западноевропейского искусства. С 1972 года проживает в Англии. В настоящее время преподает в университете Сант-Андрюс (Шотландия).

ПЯТИГОРСКИЙ Александр Моисеевич — русский буддолог и исследователь восточной философии. Родился в 1929 году в Москве. Окончил Московский университет. Кандидат философских наук. Старший научный сотрудник Института народов Азии и Африки, затем преподаватель МГУ. С начала 60-х годов вместе с Лотманом, Ивановым, Топоровым работал над созданием новой школы семиотики и структурализма. Автор ряда монографий и статей по вопросам философии, индуизма и буддизма, переведенных на многие европейские языки. С 1974 года проживает в Англии.

ДЖИЛАС Милован — выдающийся литературный и общественный деятель Югославии. В прошлом — один из основателей югославской коммунистической партии, член ее руководства и первый вице-президент ФНРЮ. Впоследствии перешел в оппозицию, за что был исключен из партии, снят со всех постов и неоднократно подвергался репрессиям. В настоящее время проживает на родине.

ПАХМАН Людек — выдающийся чехословацкий гроссмейстер и общественный деятель. Родился в 1924 году. Семикратный чемпион Чехословакии. Победитель четырнадцати международных шахматных турниров. Активный деятель «Пражской весны». После вторжения войск Варшавского пакта в Чехословакию, в августе 1968 года, подвергался преследованиям и был заключен в тюрьму. В результате протестов западной общественности и голодной забастовки, ему в 1972 году разрешили выехать за границу.

ШТРЕМ Карл Густав — немецкий публицист. Родился в 1930 году в Эстонии. Окончил Тюбингенский университет. Защитил диссертацию по теме «Гражданская война в России в 1917-1920 годах» и получил звание доктора философии. С 1958 по 1966 год — член редколлегии немецкого еженедельника «Крист унд Вельт». Совершает многочисленные поездки в Советский Союз, Югославию, Китайскую Народную Республику, Албанию, Румынию и другие восточноевропейские страны. С 1966 по 1972 год — руководитель отдела стран юго-восточной Европы радиостанции «Немецкая волна». С 1972 года — корреспондент газеты «Ди вельт» в Мюнхене. Автор двух книг: «Между Мао и Хрущевым» (1964 г.) и «От царской империи к советской власти» (1967 г.).

ШАХОВСКАЯ Зинаида Алексеевна — писательница и публицистка. Кавалер Почетного легиона. Автор 18-ти книг: романов, исторических работ и стихотворных сборников, которые удостоены ряда литературных премий и наград. Пишет на русском и французском языках. Последний сборник стихов «Перед сном» вышел в 1972 году. С 1968 г. — главный редактор еженедельной газеты «Русская мысль», выходящей в Париже.

МИНДСЕНТИ — кардинал. До самого последнего времени — примас Венгрии. В настоящее время проживает в Вене, ведет разностороннюю религиозную и общественно-просветительскую деятельность.

САХАРОВ Андрей Дмитриевич — русский академик, физик, трижды Герой социалистического труда.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

СЛОВО К ЖУРНАЛУ

Александр Солженицын	7
Эжен Ионеско	8
Андрей Сахаров	11

Иосиф Бродский — Стихотворения	13
Вл. Корнилов — Без рук, без ног. Повесть	19
Странник — Два стихотворения	123
Александр Солженицын — Неопубликованная глава из «В круге первом»	125

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Абрам Терц (А. Синявский) — Литературный процесс в России	143
Игорь Голломшток — Парадоксы Гренобльской выставки	191
Александр Пятигорский — Заметки о «метафизической ситуации»	211

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Милован Джилас — Беседа	225
Людек Пахман — Новая «Пражская весна» — вопрос и задача	231
Редакция журнала «Культура» — «Как я понимаю «Письмо вождям»	245
Вниманию читателей: Справка о журнале «Культура»	273

ВОСТОК — ЗАПАД

Карл Густав Штрём — Россия, Германия
и будущее Европы 275

Зинаида Шаховская — Общность надежды
и опасности 285

ИСТОКИ

Кардинал Миндсенти — Мемуары 292

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Комментарий на тему года 401

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 404

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 407



Континент

Ежеквартальный журнал, выходящий
на пяти языках:
русском, немецком, французском,
итальянском, английском.

В журнале принимают участие:

**Иосиф Бродский, Александр Галич, Ежи Гедройц,
Густав Герлинг-Грудзинский, Милован Джилас,
Эжен Ионеско, Роберт Конквист, Наум Коржавин,
Людек Пахман, Андрей Сахаров, Андрей Синяв-
ский, Александр Солженицын, Странник, Иозеф
Чапский, Зинаида Шаховская, Александр Шмеман,
Карл-Густав Штрём и другие авторы.**

На страницах журнала современная
проза, поэзия, публицистика
авторов Восточной Европы.

Главный редактор журнала
Владимир Максимов

Цена номера в розничной продаже - 10 нем. марок

Стоимость подписки на год - 40 нем. марок

Пересылка за счет подписчика

Заказы направлять по адресу:

Ullstein Verlag GmbH
1000 BERLIN 61 - Lindenstr. 76
Tel. (030) 259 15 01

